КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Любовь по переписке



КОНСТАНТИН
ВАНШЕНКИН





рассказы

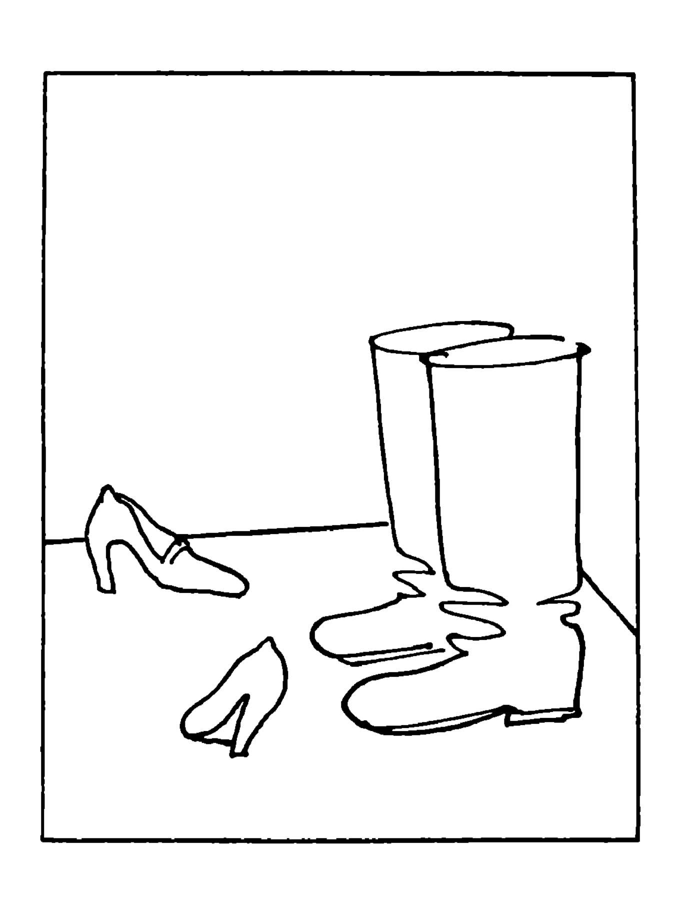
Москва
«Современник»
1988

ББК84Р7
В17

Рецензент
Л. ВУКОЛОВ

В $\frac{4702010200-226}{М106(03)-88}$ 36-88
ISBN 5—270—00030—8

Вскоре после войны



КОРАБЛЕВ

Из немецкого дота выбросили через амбразуру гранату. Она лежала шагах в трех от Кораблева и дымилась детонатором. Сперва Кораблев хотел схватить ее и метнуть в сторону их же траншеи, но побоялся, что не успеет. Он вжался за крохотный бугорок, складочку, чтобы, как только рванет, под прикрытием поднятой земли перебежать дальше. Он так и сделал, но тут же, следом, разорвалась другая, которой он не заметил,— его словно схватили за полы шинели, да еще бесцеремонно сорвало шапку. Касок им почему-то не выдали. Ему бы нужно сразу сигануть дальше, но он, как дурак, стал искать шапку, нашел с вывороченной во все стороны ватой, нахлобучил на голову, а за это время рвануло там, куда он хотел только что упасть, и он броском достиг того места и упал в уже готовую воронку.

Полы его шинели сзади были густо посечены осколками, висели клочьями, и он после обеда, приводя себя в порядок, отмахнул их финкой. Потом он докладывал ротному о бое на своем участке, под высотой, а когда повернулся, чтобы идти, ротный захохотал и сказал вслед:

— Сержант, чего это у тебя шинель без задницы? Как фартук!

Кораблев объяснил:

— А чего ошметки таскать, там одни дыры.

— Взял бы у кого,— хмуро бросил ротный. Действительно, потери были большие.— Хотя стой, кто докладывал, что обмундирование прибыло? — И приказал старшине: — Выдай шинель и шапку...

Кораблев набросил на плечи, поверх ватной фуфайки, нереально новую, болотно-зеленого цвета шинель тонкого сукна,— его слегка познабливало. Землю, лишь кое-где припорошенную снежком, схватило морозцем, но подлая речонка, которую им предстояло утром фор-

сировать, почему-то не замерзала. Одно утешало — она была неглубока.

Кораблев с тоской посмотрел на свое отделение. Один Колька Рысцов был давний, бывалый, на него можно было вполне положиться. Остальные — из пополнения, держались молодцами, но необстрелянные, соображали неважно.

В вещмешке у Кораблева лежали валенки,— им выдали, когда начались морозы этой последней военной зимы. Он намотал две пары байковых портянок, переобулся. То же самое сделал Рысцов. Их примеру последовало еще двое. У остальных в отделении валенок не было.

— Там у них минировано будет, где пойдем,— объяснил Кораблев.— Но земля твердая, они не углубили, все видно.

— Халтурная работа, не тот немец,— усмехнулся Колька.

— Да. Так вот смотрите. Там коробочки такие будут на земле, не наступать — это и есть противопехотные мины.

— И еще будет попадаться, ну, точно как мыло, тоже руками не лапать,— не унимался, помогая командиру, Рысцов.

— Так что и под ноги успевай смотреть, и по сторонам, и команду выполнять. Все ясно? — заключил Кораблев.

Новички потрясенно молчали.

— Напугал ты их, Женя,— сказал Рысцов, и все неуверенно заулыбались.

Красная сигнальная ракета — сколько он повидал их за свою жизнь. Он первым шагнул с берега в черную глянцевитую воду, пошел, тяжело преодолевая ее плотную, густую массу. Следом, стараясь делать это без всплеска, ссыпались другие. Вода и вправду не доставала до пояса. Он шел, пригнув голову, вобрав ее в плечи, но не отрывая взгляда от того, близкого уже, берега. И тут слитно ударили с той стороны пулеметы, зазвенел на все лады простреливаемый воздух.

— Вперед! — крикнул Кораблев, он сразу понял, что бьют поверх их голов, издали, а их здесь, внизу, накрыть не могут. Они уже выходили на тот берег, поднимались на него.

— Ложись! — крикнул Кораблев и обернулся. Восточный край неба морозно алел, и его холодные огненные краски охотно принимала вода,— из нее выбирались последние солдаты. А на этой стороне все было хмуро, словно притушено.

Не приподнимаясь, Кораблев перевернулся на спину и задрал ногу, чтобы вылилась из валенка вода. И тут же ощутимо ударило по ноге.

— Ого! — удивленно сказал он.— Уже светло. Снайпер.

Носок валенка был пробит насквозь.

— Не задело? — спросил Рысцов.

— Нет. Валенки большие, запас приличный был.

Колька стащил с головы шапку и поднял ее на малой саперной лопатке — немудрящее фронтовое развлечение. Тут же ее проткнуло снайперской пулей.

— Ничего,— успокоил Кораблев.— Сейчас их подавят. А мы за артиллерией пойдем, за огнем, веселее.

Артподготовка началась минута в минуту. И сколько раз до этого он лежал вот так, опасаясь, чтобы не закатали случаем по своим, и с наслаждением слушая это одностороннее мощное движение снарядов разных калибров над головой.

Потом они пошли. Мины были расставлены в шахматном порядке, совсем на поверхности, новички только на них и смотрели, но все равно и наступали, и задевали. И кто был в ботинках с обмотками, тем отсекало напрочь ступню по щиколотку, только голая кость торчала. А кто в валенках, все оставались на ногах. И у Кораблева в обоих валенках застряло по нескольку осколков, но от мин, которые цепляли другие,— он сам прошел поле чисто.

Артиллерийского прикрытия уже не было,— они подошли к траншеям вплотную. И оттуда суетливо били по ним. Кораблев бежал, пригнувшись, зигзагами, а его щипали пулеметные и автоматные очереди. Бегущие сзади могли подумать, что по нему стреляют специально, чтобы очертить его силуэт. На плечах и на обеих руках и ногах, и даже между ног, около паха, то и дело вылетали клочья ваты, а его чудом все не задевало.

Зато Рысцова, бегущего справа, словно вдруг развернуло на ходу, сперва боком, потом спиной к траншее.

Он явственно вскрикнул, будто пожаловался: «Женя!» — и упал лицом вверх.

Все это Кораблев непонятно как умудрился отметить про себя.

— Вперед! — крикнул Кораблев, он любил это слово больше, чем «ура», оно его лучше подхлестывало. Шагов за десять он выхватил из-под ремня гранату РГ-42 и, рванув кольцо, бросил ее в траншею. Прыгнув следом за взрывом вниз, он увидел немца, скрывающегося за угол хода сообщений, и успел нажать на спуск ППШ. Сунув за поворот ствол, он дал еще одну очередь и тогда выскочил сам. Немец лежал на спине, и пришлось на него наступить, что было неприятно. Неожиданно Кораблев уперся в стенку и понял, что попал в ложный ход. Он обернулся. За ним следовало трое своих. Кораблев крикнул им что-то ободряющее и пустил обратно, до настоящей, действующей траншеи. Они заняли ее, как и было приказано.

Теперь бруствер находился у них за спиной. В той же стенке, в аккуратно вырезанных нишах стояли плоские немецкие котелки и даже лежали гранаты. Кораблев медленно продвигался дальше. Но один из поворотов оказался перекрытым стальной рогаткой.

— Ладно,— сказал Кораблев.— Хорош! Это уже второго взвода плацдарм,— и впервые хрипло засмеялся.— Закурить надо.

Белобрысый, и от этого еще более бледный, новичок Боровой с готовностью вынул газету и кисет, но соорудить самокрутку не смог — тряслись пальцы. Кораблев свернул и залепил слюной цигарку, высек искру, затянулся.

— Товарищ сержант,— обратился Боровой,— тут пленного привели. Куда его?

— Ну-ка?

Немец был немолодой, он держал руки кверху, бормотал беспрерывно: «Гитлер-капут». И еще от него исходила жуткая вонь.

— Там блиндаж был,— объяснил Боровой.— Кто поверху бежал, все в него по гранате кидали на всякий случай. А он в блиндаже сидел, вот и обмарался.

Блиндаж Кораблев, разумеется, и сам видел.

— Ладно,— сказал он.— Отвести его к ротному. «Еще обидится ротный за такого вонючего»,— мимолетно подумал он и усмехнулся. Но тут он вспом-

нил Кольку Рысцова и с горечью затряс тяжелой головой.

В траншее стояла тишина.

— Эй, Боровой! — крикнул Кораблев. Никто не отозвался.— Кто там еще? — снова тихо. Лишь где-то очень далеко слева вызывал кого-то связист: «Фиалка! Фиалка!» — «Никак, втроем его повели? — подумал Кораблев.— Черт с ними!..»

Его клонило в сон. Он привалился спиной к стенке и начал окунаться в забытье, с усилием оставляя глаза открытыми. И вдруг не слухом, а всей кожей, всеми нервами и нутром он ощутил сигнал опасности. Он уловил, как течет с бруствера земля. Глаза его сощурились, словно у кошки, и в тот же миг он увидел, как из-за крутого поворота траншеи, но не снизу, где помешала бы рогатка, а сверху, через бруствер, на него нацеливается черный пистолет. Наводили явно наугад, человек, вероятно на чем-то стоя, еле дотягивался до бруствера руками.

Кораблев был высокий парень, и он тут же, сгибая ноги в коленях, стал медленно приседать, а невидимый противник дважды подряд выстрелил и убрал пистолет. Кораблев бесшумно изготовился, и едва черный ствол появился снова, дал по нему короткую очередь. Она оказалась слишком короткой — в диске кончились патроны. Кораблев быстро сменил диск, а немец за это время опять два раза выстрелил.

И тут Кораблева осенило: «Он же, наверное, не в себе, этот немец. А я сгоряча тоже как одурел. Он же рядом, за поворотом, его гранатой нужно достать». Кораблев вытащил из кармана лимонку Ф-1, вырвал кольцо, сказал не торопясь: «Раз, два» — и мягко перебросил ее немцу. И еще две секунды она как раз летела. После взрыва он подождал недолго, взял немецкую гранату с деревянной ручкой и пустил следом. И только тогда, упершись ногой в нишу, толкнулся и лежа выкатился из траншеи. Над ним тотчас прошла очередь, но он таким же макаром спрыгнул в траншею уже по ту сторону рогатки. Как он и предполагал, немец был один. Он лежал на боку, поджав ноги и глядя из темноты на Кораблева. Конечно, он был мертв, но на всякий случай Кораблев предпочел дать по нему очередь. Он нагнулся, поднял пистолет

и только тут увидел, что это офицер, обер-лейтенант. Кораблев решил, что нужно взять документы, и, кривясь, расстегнул его мундир, вынул бумажник. На шее мертвеца поблескивала тоненькая цепочка. Кораблев подумал, что это медальон, но потянул — и оказалось, часики. Он опустил их в карман. Как и пистолет, этот трофей достался в рисковом бою.

Лезть наверх ему не захотелось. Он начал раскачивать рогатку, приподнял и с трудом протиснулся на свою сторону. Скоро подошли и солдаты.

Ранило его на другое утро. И как клевало и щипало накануне ватник, а самого не трогало, так сейчас сразу же, едва поднялся, ударило по ноге. Ему показалось, что он сам ударился о какое-то препятствие и что это случайное недоразумение. Он вскочил, пробежал еще несколько шагов и упал окончательно.

Кто и когда первым перевязал его рану, он не запомнил.

Очнулся он на полковом перевязочном пункте, как он потом сообразил. Его била дрожь. Он лежал осунувшийся, молодой, долговязый, укрытый зеленой шинелью тонкого сукна. Он не мог понять, откуда она взялась здесь. И когда его вот так же знобило — и он набросил шинель поверх фуфайки? День назад, неделю, месяц?

К нему подошла девушка — санинструктор. Даже не подошла, а, стоя на коленях, повернулась от лежащего рядом. Он обратил внимание на ее лицо. Оно было равнодушно-измученное, глаза полузакрыты,— видимо, она не спала очень давно.

— Тебя куда ранило? — спросила она у Кораблева. Он показал рукой. Она сильно и умело полуповернула его на бок и со словами: «против столбняка» — сделала ему укол, прямо сквозь глиняную корку стеганых ватных штанов, сквозь самую вату, хлопчатобумажные шаровары и бязевые подштанники. Ох и долго же он вспоминал потом эту сестрицу. Не добром! На месте укола, в мякоти бедра, образовался черный страшный желвак, болевший хуже раны и не желавший рассасываться.

А сейчас Кораблев лежал на земле, на спине, рядом с такими же, как он, молодой, с заострившимися чертами. Кровь отошла от его лица. Ни автомата, ни трофейного пистолета при нем уже не было.

Потом он спал и несколько раз просыпался или приходил в себя, понимая, что́ с ним и где он. Ведь такое с ним случалось не первый раз. Правда, теперь он с облегчением подозревал, что последний.

Он очнулся. Хотелось пить. Он лежал в чистом нательном белье, под простыней и одеялом, в блиндаже или в землянке. Поблизости от него кто-то слабо стонал. И вдруг ударило взрывной волной такой силы, что блиндаж дрогнул и сдвинулся с места, но тут же Кораблев понял: он лежит в вагоне, а к составу подцепили паровоз.

Поблизости, не считаясь с другими, громко разговаривали, и Кораблев выделил один, особенно приятный для себя голос. Он бы с удовольствием слушал его, но жажда мучила невыносимо, и он хрипло попросил пить.

— Женя! — обрадованно сказал знакомый голос, и к губам его поднесли флягу.— Порядок, Женя?

Кораблев долго пил, затем окончательно открыл глаза и посмотрел на Рысцова. Левая рука у того была в лубке и на перевязи. Он улыбался.

— Порядок,— ответил Кораблев.

— В Россию едем, Женя,— сообщил Рысцов.— А лопатник твой у меня, не беспокойся.

Санитарный поезд шел и шел на восток, а все не верилось, что в Россию. Может, в Польше где-нибудь госпитали? Вот станция большая. Нет, ничего, опять дальше...

Уже тянуло вовсю весной. А навстречу, безостановочно — эшелоны: платформы с техникой и теплушки, теплушки, теплушки с пополнением, резервом для последних генеральных сражений. Пацаны из запасных полков и такие, как они,— стреляные, меченые, битые.

Горела нога, ныл желвак от укола, губы и лоб осыпа́ло жаром, но поезд все шел, и от одного этого на душе становилось легко и спокойно.

Он проснулся. Было темно. Поезд стоял, и около вагона разговаривали. В этом самом не было ничего особенного,— на остановках всегда слышались голоса раненых и персонала. Но сейчас это были не военные, а гражданские, цивильные голоса. Жен-

ские и мужской тоже. И эти люди говорили по-русски.

— Всё, ребятки, отвоевались,— сказала женщина совсем близко,— наверное, была открыта дверь,— и по его щекам потекли слезы.

— Где мы? — спросил он тихо. Ему никто не ответил.— Где мы? — повторил он.

— Чего кричишь, браток! — произнес кто-то рядом.— Брест это.

С утра долго перегружались в другой состав,— на широкую, свою, колею,— перетаскивали имущество, носилки с лежачими.

Немолодая, крупная сестра Лена подошла с парой облупившихся, видавших виды костылей:

— Ну-ка, Женечка, доктор сказал, хватит сачковать. Обнимай меня за плечи, крепче, так, молодец, молодец...

Он стоял на одной левой ноге, навалясь на костыли, у него кружилась голова. Рысцов правой рукой поддерживал его за спину.

Поезд грохотал над речушками, ритмично стучал колесами — мимо хвойных лесов, лугов и болот, разбитых городов и сожженных деревушек.

А при каждой остановке возникали около вагона бабы и дети, выносили горячую картошку, черные лепешки, а то и самогон.

— Где шинель-то моя, не знаешь? — спросил Кораблев у Рысцова.

— Как не знать, Женя, здесь она у меня, в заначке,— засмеялся тот.

Потом Кораблев смотрел из вагона, как Рысцов в накинутой на плечи шинели подошел к местным, как однорукий инвалид снял с него шинель, ловко подбросил вверх, чтобы увидеть на просвет, покачал головой и водворил ее на место. С третьей попытки шинель, однако, взяли.

А поезд все шел и шел.

— К Москве, к Москве, Женя,— шептал ему Рысцов.— В гости ко мне едем.

Москва действительно была совсем уже рядом.

— Куда везут, Леночка? — допытывался Рысцов.

— Теперь приказ есть помещать по возможности в госпитали по родам войск, чтобы в свою часть потом удобнее возвращаться.

— Так мне же в воздушно-десантный надо,— чуть не вскричал Кораблев.— Я же десантник. Я же к ним,— он кивнул на Рысцова,— после госпиталя попал.

— Есть в Москве такой,— сказала Лена и удивилась:— Не напрыгался?

— В Москве какие хочешь госпиталя есть,— зашептал Рысцов, будто ухаживал, улещал.— Дашь нам, Леночка, на руки истории болезни?

А Кораблев потянул из бумажника (Рысцов называл его «лопатник»), из-под потайного клапана за тоненькую цепочку трофейные часики, похожие на медальон.

— Это тебе, Лена. На память.

Она взяла их на ладонь, приложила к уху — идут! — и благодарно засмеялась:

— Да я бы вам и так отдала.

Они сошли на путях, не доезжая Белорусского вокзала. Оба в валенках, в стеганых брюках и ватных фуфайках, у Кораблева из рукавов и штанин клочьями торчала вата.

Идти на костылях было мучительно трудно. Но Колька подбадривал:

— Ничего, ничего, ко мне домой, здесь не так далеко!..

Обогнули вокзал, попали в какой-то переулок. Кораблев привалился к стене: не могу. Рысцов вышел на проезжую часть, стал поднимать здоровую руку. Наконец остановился какой-то «виллис». Шофер высунулся из машины, посмотрел на Кораблева, удостоверяясь, что Рысцов не врет, и милостиво согласился:

— Ладно, до Планетария.

Почему до Планетария? Все было как в тумане. Но он слышал захлебывающийся голос Рысцова:

— Слева улица Горького, а это Грузинскую пересекаем. Смотри, Маяковка. Садовое кольцо...

Кораблев ничего этого не различал. Только чувствовал, что Москва уже весенняя, радостная, горячо распахнутая навстречу близкой победе.

Потом они оказались на бульваре у Никитских ворот Почему у Никитских? Потому что рядом с их скамейкой стоял чудной памятник Тимирязеву.

— Больше не могу,— сказал Кораблев,— пускай хоть патруль заберет.

Ему было все безразлично.

— Да тут рядом!

Потом они еще ехали трамваем. Или до этого? Несколько человек помогало ему вылезти из вагона.

На второй этаж поднимались очень долго. Рысцов тащил Кораблева, но и у него уже не было сил.

Потом Рысцов позвонил в дверь.

— Кто там? — спросили из квартиры.

— Открывай!

— Кто?

— Витька, морду набью! — сказал Рысцов.

Дверь распахнулась.

— Коля! — завопил парень лет четырнадцати. Из-за его плеча показалась женщина, увидела Рысцова и стала медленно валиться на бок.

Потом,— кажется, уже вечером, они сидели за столом, уставленным гражданскими закусками, и пили даже коньяк. Колькин отец был каким-то большим начальником. Он громко говорил:

— Погодите, орлы, успеете с госпиталем, поживите у нас. Я сейчас своего врача вызову...

И правда, появился врач, осмотрел Кольку и сказал:

— Денька три отдохните-ка дома,— а потом взял Кораблева за запястье.— Э, брат, да ты весь горишь. Срочно, срочно!.. В воздушно-десантный? Доставим, не беспокойся...

А потом был госпиталь — жар, бред, маета и тихое, ровное, сладостное выздоровление. Белые палаты, длинный коридор, стук костылей по его мытому полу, и стук капели по карнизу, и дальний трамвайный звон. Все это сквозь дымку покоя и расслабленности — как во сне.

— В госпиталь ты определился правильно,— сказали ему перед выпиской,— но беда, десантники-то все далеко. Знаешь, где они сейчас? В Вене! А вот запрос. Здесь, под Москвой, в авиационный полк требуется укладчик парашютов. Можешь?

— Могу.

Он сошел с электрички. Слабым зеленым туманом уже сквозил ближний лесок. Над ним низко заходил на посадку транспортный самолет. Около забора, по первой травке, мальчишки играли в футбол.

Было четвертое мая.

Дежурный посмотрел документы и сказал:

— Вон ступай в то здание. Командир сам любит принимать.— И посмотрел на Кораблева скептически.

А тот так и был в валенках и во всем стеганом с вылезшей ватой. Закон госпиталя — в чем прибыл, в том убываешь. И заштопать не удалось,— ткань ползла, секлась под иголкой.

Он вошел в деревянный домик.

В большой комнате, на четырех железных койках, поверх одеял лежало четверо офицеров. «Отдыхают перед полетами»,— подумал Кораблев, спросил командира и доложился.

— Ты откуда же, такой? — поинтересовался моложавый подполковник с густой пестротой орденских планок на груди.— Это что же на тебе за рванина?

Кораблев четко объяснил.

Они все поднялись с мест, окружили его.

— Из автоматов?

— Из пулеметов тоже.

— А это?

— Валенки? От минных осколков.

Они удивлялись. Они никогда не видели, не представляли себе в подробностях наземного боя.

— Так,— сказал командир и снял телефонную трубку.— Шестой. ОВС? Рябинин, сейчас подойдет сержант, обмундируй, да, и сапоги поприличнее. Фамилия? Фамилия его Кораблев.— И Кораблеву: — Отправляйся в ОВС, потом к дежурному, станешь на довольствие, определишься, и с утра на парашютный склад. Все ясно?

— Так точно. Разрешите идти?

— Идите.

Кораблев повернулся кругом в своих побитых, растоптанных валенках, пошел к дверям и услышал, как за спиной сказал уже не командир, а кто-то другой:

— Внушает доверие.— И остальные засмеялись.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

С Дуная тянуло стойким пронизывающим ветром, в наших самодельных, крытых плащ-палатками домиках было постоянно холодно, их никогда не удавалось натопить. Земля стала твердой как камень, с неба время от времени порошило мелким сухим снежком. Негде было согреться.

Наступал сорок шестой год, и, спокойно думая о нем, я поймал себя на том, что не помню, как встречал предыдущие. Да какое там встречал! Я не помнил, где я был и что делал. Может быть, на марше или на посту, а скорее всего — просто спал в землянке. Я не замечал перехода в следующий год, как при наступлении мы не сразу обнаруживали, что переступили еще одну государственную границу.

Теперь все изменилось. Рота была в наряде, и меня пригласили, да-да, как это ни странно звучит, пригласили встретить Новый год. В половине двенадцатого я прибыл на батальонную кухню. Это было единственное теплое место,— разумеется, из тех, где бывал я.

За дощатой перегородкой слышались звон посуды, говор и смех, задумчиво наигрывал аккордеон — там собирались наши офицеры. А здесь наряд уже залил котлы для завтрака, заготовил дрова и находился в предвкушении пиршества — в двух глубоких противнях жарилась на плите нарезанная полосочками — совсем как дома — картошка, стояли миски с солеными огурцами, ломтиками засыпанного красным перцем сала, пышный пшеничный хлеб. Прибор — кружка, ложка и нож — был у каждого свой.

— Давай сюда! — махнул мне мой друг и напарник Саня Трубицын, и я устроился возле него, за широким круглым чурбаком для разделки мяса. Стали разливать молодое венгерское вино — бор. Оно было розовое, кисловатое. Кто-то посетовал, что нет спирта или хотя бы водки-пáлинки.

За перегородкой наступила тишина, и послышался негромкий, с украинским акцентом, голос комбата. Он говорил несколько минут, очень медленно, слов было не разобрать. Потом офицеры трижды прогремели: «Ура!»

— Все,— сказал Саня.— Новый год.

Через час прибыл объезжающий батальоны генерал. Нам было слышно, как сперва известили о том, что он подъехал, как он вошел и властно, звонко поздоровался. Прежний наш командир дивизии был всеобщим любимцем,— к этому относились скорее равнодушно. Ему повезло,— принять такое соединение. Он и генерала-то получил у нас.

Теперь он громко и коротко — как на параде — поздравил офицеров с Новым годом. Офицеры качали его и кричали: «Ура!»

Потом генерал отбыл в следующий батальон, и веселье продолжалось.

Это было последнее запомнившееся событие — там, под старыми голыми акациями, у Дуная, за рубежом. Через неделю нам объявили об отъезде.

* * *

На войне беспрерывно происходит расслоение, расщепление судьбы — одних отправили на переформировку, других на передовую, одних в полковую школу, других просто в полк. Одних в далекий эвакогоспиталь, других только в санбат. И наконец — одни еще живы, а других уже нет на свете.

И всякий раз острейшее ощущение: а ведь только что были рядом!

Военная судьба — это регулировщица на развилке. Колонна прет — моторы ревут, крик, мат, а она флажками — эти сюда, а эти сюда. Давай, давай, не задерживай!

Но оказалось, что и после войны действуют те же законы. Одних подчистую — домой, другим трубить и трубить. Да и где! Одним служить, но в России, а другим здесь, под Будапештом и Веной. И что более всего удивляло — многие оставались с охотой.

Когда летом начались отпуска, старшина Елисеев получил одним из первых,— в шевиотовом офицерском обмундировании, в хромовых сапогах, сияя орденами,

съездил в свою заволжскую деревню, погулял, посмотрел, как живут, воротился и остался на сверхсрочную. Да и других набралось немало. Теперь они уже отбыли — отвалились, отпали от нас.

На соседней станции формировали эшелон, начали строить нары.

* * *

Это ответственное дело — установить в теплушке нары в два, а в большом пульмановском вагоне — и в три этажа. Ребята лежат тесно — нагрузка весомая. Когда ехали на фронт, однажды вечером,— еще не успели уснуть,— затрещали, оседая и подламываясь, верхние нары. Но обошлось — несколько человек тут же среагировали, спрыгнули, ссыпались на пол, а лежавший на нижних наш богатырь Мишка Сидоров успел задрать ноги и удержал верхние доски. А то ведь могло придавить тех, кто внизу.

Теперь, по мирному времени, нары стелили настоящие плотники, саперы.

Потом, таща все на себе, мы прибыли на станцию; испытывая облегчение, разобрались по вагонам. Это было просто, буднично и не ощутилось как окончание необыкновенного отрезка нашей жизни.

Эшелон был громадный, долго грузились техника и штабы.

Наконец паровоз прогудел, потянул, дернул — и не смог стронуть с места наш состав. На помощь ему пришел второй — толкач, с хвоста, и вдвоем им удалось это сделать. Так и было в дальнейшем, почти на всех остановках — один паровоз не справлялся, уходил за вторым, потом долго ждали первого, и так без конца. Иногда, правда, получалось сразу — может быть, это зависело от умения машиниста или рельефа пути.

И началось наше совершенно нереальное по своей длительности путешествие. Впереди предстояло еще пересаживаться на широкую колею и опять ехать и ехать.

Остановки были по двое и по трое суток. Нас обгоняли эшелоны с пленными, груженые товарняки. Наш генерал гулял по длинным перронам об руку с врачихой —

капитаном. Мы высыпáли из вагонов, сидели на сухой насыпи, курили. Заводили знакомства с женщинами и девушками, некоторые умудрялись попадать к ним в гости. За час до отхода паровоз громко гудел, созывая всех к эшелону.

В городе Дебрецене, не помню уже каким образом, но организованно, мы оказались во дворе тюрьмы. Там происходила публичная казнь одного из ближайших сподвижников Хорти. За свои преступления он был приговорен к смертной казни через повешение. Я думаю, этот способ лишения жизни был в те годы наиболее страшным — люди слишком привыкли к стрельбе. Эта смерть была необычной — в ней сильнее чувствовалось Возмездие.

Мне уже приходилось видеть, как вешают предателей в маленьком чешском городке над Отавой. Они трое, двое мужчин и молодая женщина, перед самым концом войны выдали гестаповцам местное подполье. Виселица была сооружена на площади. Осужденные, возвышаясь над головами толпы, стояли в кузове грузовика с откинутым задним бортом. Потом грузовик медленно выехал из-под них.

Теперь тоже был зачитан приговор. Затем палач подсадил невзрачного человечка на табурет, надел и поправил на его шее петлю. Тут же он убрал из-под его ног табурет и сильно надавил ладонями на его плечи, почти повис. Через несколько минут врач подтвердил наступление конца, и повешенного стали снимать.

И в том, и в другом случае толпа воспринимала происходящее с суровым спокойствием.

За Дебреценом белели Карпаты, близко была наша граница.

Я заступил дневалить под утро. Саня Трубицын, потянув за ногу, разбудил меня. Было еще темно. Мы выкурили по цигарке, потом он полез на нары, а я сел возле печурки. Печурка была раскалена, от нее исходил малиновый жар. Я чуть более откатил дверь и закрепил ее чуркой,— все же в вагоне находилось слишком много народу.

Четко стучали колеса. В теплушке стук колес ощущается совсем рядом, под полом, близко, как ни в каком другом вагоне. Светало, все чаще просыпались ребята, у самой двери клубился туман.

Потом стало совсем светло, и я увидел сверкающие освещенной белизной горы, старые ели в снегу и наш состав. Даже обычный пассажирский поезд в горах и то змеится и виден целиком из любого вагона. А огромной протяженности эшелон, казалось, занимал собою все обозримое пространство, свертываясь в несколько колец, а потом медленно разворачиваясь.

Все уже проснулись, оделись, многие стояли у дверей.

И вдруг за грохотом колес возникло нечто постороннее, какое-то волнение дрожью прошло по вагонам. Из дверей свешивались люди, что-то кричали, махали руками. Эшелон еще долго, но все медленнее продолжал раскручивать свои кольца и наконец остановился среди ослепительных гор.

Вдоль вагонов, рискуя сорваться с насыпи, заспешили несколько человек, среди них наш фельдшер и врачиха-капитан, недавно прогуливавшаяся с генералом.

Поезд опять очень медленно, но зато сразу сдвинулся и пополз между гор. И тут же стало известно, что произошло в соседнем батальоне. Ординарец командира взвода чистил пистолет своего лейтенанта. Почистил, смазал, собрал и инстинктивно, для безопасности подняв стволом вверх, нажал на спуск. Но, знать, не зря в армии говорят, что раз в году и незаряженная винтовка стреляет. Выстрелил и пистолет «ТТ». Каким образом оказался патрон в его стволе — непонятно. Но пугающе прогремел выстрел. А сверху от нечего делать наблюдал за чисткой пистолета сержант. Пуля попала ему в голову.

Сперва сказали, что он убит, но потом, что жив, и, кажется, есть надежда.

А эшелон все крутил свои кольца возле самой нашей границы, в заснеженных Карпатских горах.

НА СЕНОКОС

Это произошло быстро и неожиданно, как бывает в армии. Поступил приказ из штаба, и по ротам подмели под метелку все, что имелось в наличии.

Стоял первый послевоенный год. Полк только недавно возвратился из Венгрии и сейчас располагался в летних лагерях, в тенистом и влажном дубовом лесу. Началась переформировка и медицинское освидетельствование личного состава,— первый раз по-настоящему строго, по мирным нормам и требованиям. Оказалось, что многие ребята, и среди них часто самые отчаянные, уже не годились для службы в десантных войсках, не тянули, не соответствовали. Одних такой поворот огорчал, других радовал. Ничего нельзя еще было понять. Мы еще говорили и думали о том, что было, а не о том, что будет с нами. Я не помню в своей жизни периода, когда бы время тянулось столь медленно, и это не раздражало.

Кто был на занятиях, кто в нарядах, кто на медкомиссии. В опустелых землянках собрали подвернувшихся под руку. Только командиры, наверное, были определены заранее. Старшим команды был назначен наш усатый ротный, капитан Ло́потков,— он всегда подчеркивал это свое первое «о». Вторым офицером был тоже наш, лейтенант Юрковский. В принципе это было неплохо — свои командиры. Спустя много лет Юрковский разъяснил мне при встрече тогдашнюю ситуацию. Он был учитель географии, сибиряк, с Тюменщины, и беспрерывно подавал рапорты, мечтая уволиться. Но его не хотели отпускать. Усатый Лопотков был старый, вздорный, звание не по должности, однако он мечтал остаться в армии, а его хотели уволить.

Был еще наш помкомвзвод (официальное наименование — «помкомвзвода», но говорили только «помкомвзвод», я так всегда и пишу поэто́му), итак, наш

помкомвзвод Маслаков, скуластый, с серыми блатными глазами, и сержант из пополнения, действительно чернявый Цыганков. Куда мы собрались — еще не было известно, но они оба рвались за шлагбаум контрольного пункта, в бурлящий цивильный мир, с готовностью ожидая встречи с ним, с вокзалами, с поездным заоконным простором. Их тянуло туда, в полузабытое, погулять с девками на сельской свободе.

Было еще несколько знакомых лиц и одна знаменитость — Славка Макаров, футболист, правый инсайд дивизионной команды. Теперь он сидел возле штаба с обиженным видом, ожидая, что вот-вот о нем вспомнят, ужаснутся и вернут по назначению — на любимое зеленое поле, окруженное восторженно гудящей толпой. Но пока что не возвращали.

Мы с моим напарником Саней Трубицыным сидели на нижних ступеньках. Все наше было при нас,— вернувшись, можно было не только не найти своих вещей, но и не встретить своих товарищей,— шла переформировка.

По ступеням лихо сбежал лейтенант Кондратьев, маленький, стройный. Увидел меня и остановился:

— Ты что?

Когда-то, на острове, один мадьяр, говоря о нем, назвал его «кичи лейтенант». «Кичи» — значит маленький. Так это к нему и прилепилось,— заглазно, конечно. Кичи лейтенант Кондратьев.

Он прибыл к нам в самом конце, быстро освоился. А после войны, когда мы вернулись в Венгрию, в Будапеште проводилась всеармейская Спартакиада, даже приезжал Ворошилов. Кондратьев вел взвод от нашей дивизии в кроссе на двадцать пять километров с преодолением водной преграды и двумя огневыми рубежами — и мы выиграли. А до этого были как-то занятия километрах в пяти от дома, на берегу, и он вдруг подал команду: «К расположению, за мной бегом марш!» — и бросился по тропинке между кустами акации. Бывают моменты, когда хорошо, в охотку, бежится. Был как раз такой день. В числе нескольких я сразу же зацепился за ним, а потом вышел ему в затылок. Тропинка была тесная, черная, пружинистая до вязкости,— из каждого нового его следа на мгновение слабо проступала влага. Кондратьев долго бежал не оглядываясь. Остальные от-

стали, растянулись по тропинке среди кустов, подгоняемые замыкающим сержантом. Наконец лейтенант обернулся. «А, ты так!» — пробормотал он и прибавил шагу. Я не отставал. Он еще наддал и внезапно крикнул: «До задней линейки, финиш ружпарк!» Он хотел состязаться со мной, не боялся проиграть на глазах у многих.

Мы вырвались из кустов и побежали вдоль палаток. Впереди стояли и курили солдаты. «Разойдись!» — крикнул лейтенант еще издали. Они расступились, глядя на нас с изумлением. Я шел сзади него на полкорпуса, в позиции более выгодной, а за пятнадцать метров от ружпарка рывком справа выскочил вперед. Он молча пожал мне руку.

Теперь он, подтянутый, сбежал по штабным ступенькам:

— Ты что?

Я встал:

— Да вот отправляемся...

— На сенокос?

Так мы впервые услышали, куда мы едем.

— Слушай,— продолжал он, обращаясь ко мне,— я формирую разведроту дивизии. Тебя возьму.

Это было царское приглашение. Разведка дивизии — что может быть выше и почетнее! Мои случайные попутчики посмотрели на меня с нескрываемым уважением.

— Товарищ лейтенант,— сказал я.— Меня же комиссовали, отчисляют из ВДВ. Отпрыгался.

— Тебя? — он захохотал.— Так я и поверил. Да если и так, я это устрою. В общем, подумай. Место для тебя всегда найдется...

И зашагал своей пружинистой легкой походкой.

— Про меня, про меня ему скажи,— прошептал мой закадычный друг Саня.

— Товарищ лейтенант,— крикнул я вслед. Он остановился:

— Надумал?

— Вот его возьмите. Не пожалеете.

Он несколько разочарованно посмотрел на меня, потом окинул взглядом могучего Саню.

— Трубицын? Ладно, пошли. А ты подумай...

— Как то есть пошли? — вскричал усатый Лопотков,— он в моей команде.

— У меня приказ генерала,— с важностью отвечал кичи лейтенант Кондратьев и еще раз подтвердил Сане: — Пошли...

Больше я их обоих никогда не видел.

Тут вышел начальник штаба, прозвучала команда, мы поднялись, подровнялись, и он официально объяснил нам нашу задачу. В южных районах страны засуха, тяжелое положение. Нас посылают на помощь, но не туда, а наоборот — в северном направлении, на сенокос. Командование выражает уверенность в том, что мы высоко пронесем честь нашего славного соединения. Он спросил, есть ли вопросы.

Выступил вперед Славка Макаров и с достоинством сказал:

— Товарищ гвардии майор, я не могу поехать, я член сборной...

Начальник штаба с сочувствием посмотрел на него:

— Ничего, поезжайте.

Он не был любителем футбола. Да и какая сейчас игра.

Переформировка.

Тут все пошло быстро. Возник обостренный момент выдачи сухого пайка и его дележки. Хлеб, шпиг, сахар, даже пшенный концентрат раскидали на каждого, а вот рыбные консервы в собственном соку — поровну не получалось. И тут я остро осознал, что нет у меня моего напарника и друга Сани Трубицына, которого я только что собственноручно и столь щедро отдал кичи лейтенанту Кондратьеву. Правда, был еще Лешка Удодов из нашего взвода, запоясанный командирским ремнем с литой пряжкой, но он мне не нравился, и еще хороший тихий парень Селезнев, которого все называли «кавалер трех медалей «За отвагу». Дело в том, что его трижды представляли к ордену «Славы», и всякий раз на него приходила медаль. Но у него уже был напарник.

Я спокойно ждал до конца — кто же останется. И судьба выдала мне — Симку Вихлинина. Если бы это случилось сейчас, я бы, пожалуй, сказал:

И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.

Но тогда, после войны, я не помнил этих гениальных строк.

Редкостный ход судьбы состоял еще и в том — это выяснилось через несколько минут,— что мы призывались одним военкоматом, с разницей в два дня. Сперва попали в совсем разные места, затем чудом в одну бригаду, в один полк, и прошли весь путь рядом — я в первом батальоне, он в четвертом. Таким образом, мы словно всегда — с до войны! — были вместе, но не подозревали об этом.

— Во взводе связи,— объяснял он мне уже в строю, оборачиваясь ко мне всем плотным торсом и стреляя круглыми глазами.— Ключом работал. Азбука Морзе, слышал? Точка, тире. «Эй-дай-за-ку-рить». «Те-тя-Катя». Понял? Так учили...

Мы шли по лагерю нестройной колонной, Лопотков впереди, Юрковский сзади, свободно, разговаривая, но одновременно в моей душе жила уже не раз испытанная печаль отъезда, отбытия неизвестно куда и надолго ли.

Вернутся ребята в землянку — кто с занятий, кто с медкомиссии, кто из наряда, спросят про нас, не слишком удивятся и займутся своими делами. А Саня Трубицын уже при месте, разведчик, и ведет себя соответственно, стараясь выглядеть бойчей и подтянутей.

* * *

На станцию назначения прибыли на другой день к вечеру. Пока ехали,— спали сидя, привалясь друг к другу, и пели песни, и ели, и курили, и разговаривали. И опять же говорили только о том, что уже было. Говорили не все, многие только слушали.

Все рассказы сержанта Цыганкова сводились к тому, как он обманул ту или иную женщину. С одной и время провел, и часы ее прихватил с собой. Он был из послевоенного пополнения. А для нас часы почти не представляли ценности.

Тихий кавалер трех медалей Селезнев неожиданно рассказал, как он ходил зимой призываться в район, за сорок верст, сперва на комиссию, потом назад. Как он попросился по дороге ночевать, попал к одинокой молоденькой бабенке, и что у них было.

Нечто подобное я тоже уже слышал и даже не раз. Но никто не собирался уличать рассказчиков в не-

соответствиях, упрекать за явное вранье. Эти истории слушались с жадным интересом. Они как бы настраивали на то, что ждет нас впереди.

Лопотков, оставив нас на перроне, отправился к коменданту разведать положение, долго отсутствовал, наконец вернулся и разъяснил, что до места нам еще двадцать семь километров и дальше мы отправимся поутру, а переночуем в сквере за станцией. Мы кучно сложили «сидора», составили в козлы карабины, помкомвзвод Маслаков выделил дневальных.

А рядом, через дорогу, находился рынок. Мы, свободные, потянулись туда, и нас окружила манящая пестрая бедность областного послевоенного рынка, его жалкое роскошество. Продавались там всевозможные, часто совершенно никчемные вещи,— картины и стулья,— и носильные тряпки, разной степени качества, но нас интересовало только одно — еда. А в углу, у забора, окруженные толпой, стояли три рослые морячка-инвалида в тельняшках. На троих у них было четыре ноги и пять рук. Впрочем, возможно, они и не были моряками. Двое из них опирались на железные костыли и палки, а у третьего на груди бечевкой через плечо был укреплен, горизонтально как стол, лист фанеры. И он своей единственной татуированной рукой ловко бросал на фанеру три заграничные игральные карты с овально подрезанными — для обтекаемости — углами. Три листика! Он бросал их на глазах у всех — две шестерки и туза, они ложились вверх рубашкой, и нужно было угадать, где туз. То есть, собственно, что же угадывать — и так видно было.

Мужик из толпы ткнул заскорузлым пальцем:

— Вот.

— Эта карточка стоит сто рублей,— невозмутимо разъяснил бросающий.— Клади сто, угадал — получишь двести!..

Мужик, не отпуская пальца, полез другой рукой за пазуху, отдал смятую купюру и перевернул карту. Это была шестерка. Толпа ахнула и подалась вперед.

— Не напирай!— гаркнули те двое, с костылями.

— Я знаю это, знаю, научу потом,— шептал мне в ухо Симка.

И точно ведь, знал и научил, но сейчас ввязаться в игру не решился.

Зато вылез из-за спин Лешка Удодов, долго, как кот за воробьями, перекатывая глаза вправо и влево, следил за летающими картами и, только они упали, придавил одну.

— Эта карточка стоит сто рублей.

— Часы в залог,— прохрипел Удодов, поднимая левую руку.— Семьсот рублей.

Второй морячок снял с его протянутой руки беленькие трофейные часики, послушал ход:

— Триста.

— Давай,— согласился Лешка, уверенный в себе и своей победе. Перевернутая карта тоже оказалась шестеркой. Морячок опустил часы в карман клешей и дал Лешке двести рублей сдачи. Тот, бледный, был настолько потрясен случившимся, что тут же просадил и остальные.

— Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался,— назидательно прошептал мне Симка Вихлинин.

Потом был еще потерпевший, а затем я увидел возвращающегося Удодова и с ним вместе помкомвзвода Маслакова. Тот подошел вплотную, глянул своими серыми блатными глазами и сказал спокойно и негромко:

— Слушай, браток, чего ж ты у солдата берешь?..

Остальные двое перехватили свои железные палки. Морячок серьезно и продолжительно посмотрел на Маслакова, сплюнул и ответил без энтузиазма:

— Что же он лезет, вошь, салага?

— Отдай, браток!— попросил Маслаков.

Морячок полез в карман, раскрыл широченную ладонь — на ней лежали брошки, серьги, запонки.

— Бери!— разрешил он Удодову и выругался. Лешка осторожно высвободил свои часики.

А моряки стали сниматься. Они тяжело двигались к воротам — главный, однорукий, и двое одноногих на железных костылях — углом, рассекая расступающуюся толпу. Один нес в громадной пятерне буханку хлеба. А рядом с ними шла тоже высокая женщина, не то что-то объясняла, не то просила о чем-то.

И, глядя им вслед, я внезапно увидел их не здесь и не так, а морской пехотой на ощеренном огнем берегу, с криком «полундра» из разодранных атакою ртов.

В скверике, в темноте, когда мы уже начинали стелиться, раздался вдруг топот шагов, вскрик: «Ах ты,

гад!..» Парень лет четырнадцати перебрался через оградку, подполз и пытался утащить у кого-то мешок. Селезнев и Макаров погнались за ним, стукнули раз-другой для острастки. И тут подскочил Лешка Удодов, сорвал с себя командирский ремень и с хрипом: «У солдата берешь?» — вытянул парня литой пряжкой. Тот завизжал, это было по-настоящему больно. «У солдата?..»

— Ладно, хватит,— сказал, перехватывая его руку Симка Вихлинин.

* * *

Ранним утром Лопотков, очень важный, в сопровождении Цыганкова и Удодова отправился на попутной машине вперед, а остальная команда во главе с Юрковским двинулась своим ходом, с малыми привалами, сперва по шоссе, потом по глухому пыльному проселку. Двадцать семь километров, при постоянной втянутости в переходы, было для нас не расстояние.

Деревня располагалась несколько покато, чистая, аккуратная, на краю — пруд. Там копошились с бреднем два мужичонка, как выяснилось — чуть ли не все мужское здешнее население. Почти мгновенно произошел обмен свежих карасиков и плотвички на рыбные же консервы — к взаимному удовольствию меняющихся.

Стоял тихий облачный денек. Обеспокоенный Лопотков дал два часа на обед и устройство — времени было в обрез. Стали размещаться по избам. Возникло всеобщее обоюдное волнение — как всегда. Впрочем, была особенность: здешние женщины привыкли подолгу обходиться без мужиков. Дело в том, что мужчины этого села испокон века были портными и большую часть года находились в отдалении, в городах, на промысле. Хозяйство тянули бабы. А соседнее село было — маляры, а чуть дальше — плотники. Так что война, забравшая мужей и сынов, не внесла слишком уж резкого перелома. Однако разная психология у бабы, у которой муж на заработках или на войне.

Парней тоже почти не было. Девки взглядывали мимоходом, безошибочно выделяя смазливого Цыганкова, стройного Макарова. Я попал вместе с Вихлининым, Маслаковым и Селезневым. В избе, куда нас

поставили, хозяйствовали крепкая еще старуха и ее дочь-солдатка, у которой было двое малолетних детей.

Лопотков торопил, командовал. Однако вскоре стало понятно, что он не слишком в сенокосных делах разбирается. Ему только остро хотелось не огорчить начальство, отрапортовать, доложить. Само собой, во всем, что касалось работы, стал распоряжаться лейтенант Юрковский.

Инвентарь поставлял сельсовет. Принесли косы. Тут же вызвались мастера их отбить и отладить. Я вообще не помню случая, чтобы при решении любой, даже самой неожиданной задачи у нас не нашелся человек в этом деле сведущий.

Потом Юрковский стал выбирать косцов. Он захотел посмотреть, кто как косит. И я тоже прошел рядок — не хуже некоторых. Я же умел все, что и они: уложить парашют и прыгнуть с ним, приземлиться при сильном ветре, разжечь костер в дождь, отрыть окоп любого профиля, стрелять из винтовки, автомата, пулеметов — ручного и станкового, противотанкового ружья, бросать всех систем гранаты и многое другое. Но лейтенант почему-то меня в косцы не взял.

Я попал в число тех, что должны были ворошить сено, метать стога, а потом меня назначили караульщиком. Мы с Вихлининым или с Макаровым заступали с вечера на смену, разводили костер за деревней возле полуосыпавшегося блиндажа и спали по очереди в нем или снаружи, смотря по погоде. Помню ранний смутный рассвет, я стою у входа в блиндаж, набросив шинель на плечи, совсем по-граждански, держа карабин на ремне, и курю, и тоже сизой слабой струйкой курится догоревший костер, а от деревни уже шагают ребята с косами на плечах, и лейтенант Юрковский запросто кивает мне, как доброму приятелю.

Для наших деревенских это время стало действительным началом их мирной жизни, и сразу бросалось в глаза, кому возвращение в деревню по нутру, а кому нет. Да и для нас это был какой-то переход, коридор из одной жизни в другую.

На юге все горело, а у нас часто моросил дождь и дела шли неважно. Лопотков нервничал и обещал конфисковать у кого-то пресс для упаковки сена в тюки, как будто в этом было дело.

В ненастные вечера сидели по избам, спали или играли в подкидного. Молодая незаметная наша хозяйка, на которую я, по правде, ни разу внимательно не взглянул, нам готовила. Славка Макаров, заходя, возмущался всякий раз, что в деревне нет радио,— бурлит футбольный чемпионат страны, а мы находимся в полном неведении.

Ночью чаще всего устраивались на чердаке, где пахло хозяйским сеном и было прохладно. Спала там и молодая хозяйка, положив детишек с обеих от себя сторон. В этот раз я проснулся среди ночи безо всякой на то причины, чего со мной еще не бывало за время службы и что поразило меня более всего. Начался иной период моей жизни.

На чердаке, под другим скатом крыши, разговаривали. Говорила молодая хозяйка, совершенно уверенная, что никто посторонний не слышит ее. Ведь и мы с кавалером трех медалей «За отвагу» Селезневым всегда спали, как дети. Молодым и словно удивленным голосом она рассказывала, что ее муж был всегда очень спокойный, сонный, и хвалила Маслакова. На это он скромно отвечал, что ничего тут особенного нет.

В ответ она недоверчиво, счастливо посмеялась.

Я лежал, завернувшись в шинель, и, не вслушиваясь в их шепот, вероятно, впервые за долгий срок, думал не о том, что уже было со мною, а о том, что будет впереди.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЗА ДВЕРНЫМ СТЕКЛОМ ВАГОНА

В Таллине я купил три килограмма сливочного масла,— сказали, дешевое, вкусное, и надо же что-нибудь с собой привезти. В конце войны, в Австрии, когда официально разрешили отправлять домой посылки, я ни разу этим не воспользовался, как-то неохота было. Однако потом, вернувшись и увидав, как скудно без меня живут, я устыдился и соврал, будто посылал, даже возмутился пропаже.

Теперь я ехал сам.

Торговали прямо на тротуаре, под высоким крепостным валом с красной стеной. Стояла влажная эстонская зима. Я был в Таллине дня два, проездом с острова Даго, и у меня осталось в памяти, что город сильно разбит. Через много лет, бродя по его игрушечным средневековым улочкам, я никак не мог понять, откуда же взялось то мое давнее ощущение. Потом мне объяснили — развалины были, и весьма изрядные, но главным образом по одной улице, и даже по одной ее стороне, где располагались казенные здания немецких штабов. Наша бомбардировочная лавина сработала на удивление ювелирно — в двухстах метрах от цели осталась невредимой сказочная ратушная площадь.

Теперь мы ехали домой — совсем. Позади была война и заграница, и послевоенные скитания по незнакомым гарнизонам и частям, которые все еще тасовались и перетасовывались.

— Пошли,— позвал меня Серафим Вихлинин.— Пора.

Я по его примеру купил еще две большие буханки хлеба и крепко завернул в чистую нательную рубаху,— чтобы не черствели.

Мы уже двигались на вокзал, к ленинградскому поезду, где для нас был выделен вагон. Нас было человек шестьдесят или семьдесят и один бедовый сопро-

вождающий лейтенант с нашими демобилизационными документами. Мы и раньше встречались с ним — по дороге на Даго. Вот уже полгода он только и делал, что сопровождал до крупных пересыльных пунктов команды уволенных в запас, а иногда и призывников. Он втянулся в эту странную колесную жизнь и чувствовал себя в ней легко и уверенно.

Почему нас с Вихлининым не отпустили прямо в Москву — так и осталось для меня загадкой.

Уже стемнело, когда мы плотно заняли свой зеленый пассажирский вагон. Лейтенант ходил по проходу, проверял, все ли в наличии. Неожиданно появился незнакомый майор с моложавой женщиной и искательно попросил у лейтенанта разрешения для нее следовать в нашем вагоне, объяснив, что жена обязательно должна завтра быть в Питере (он так сказал), а в другие вагоны сесть невозможно. Он просил оказать ей содействие и поддержку. Лейтенант великодушно обещал.

Поздним вечером, когда я пробирался по темному вагону в тамбур,— фонарь со свечой был только в одном конце,— кратковременный наружный свет проскользнул по верхней полке, и я увидел лейтенанта вместе с нею. Они тесно лежали рядом под его шинелью с расстегнутым хлястиком. Почему-то больше всего поразил и запомнился этот хлястик.

Ехали долго — до следующего вечера. Выбрались на перрон, построились. Осталось в памяти — белый, смутный, послевоенный город в снегу и черные фигуры морских патрулей на привокзальной площади.

Пошли под снегопадом по белым прекрасным улицам к знаменитому на всю армию пересыльному пункту — «Фонтанка, 90». Что-то неуверенно, по-школьному, отозвалось, откликнулось на это название,— как на пароль. Фонтанка, 90? А там какой номер? Ах, нет, простите, там не Фонтанка, там Мойка. А что же все-таки Фонтанка? И вспыхнуло совсем другое:

Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.

Что это еще за чижик и почему он должен пить водку на Фонтанке? А дальше —

Выпил рюмку, выпил две,
Зашумело в голове.

Немного ему нужно было, этому чижику. Тут я вспомнил себя совсем маленьким, и как меня научили этой дурацкой песенке, и я упорно говорил не «выпил рюмку, выпил две», а «выпил рюмку, выпил две рюмки», не обращая внимания на стихотворный размер.

Рядом со мной прочно шагал Симка Вихлинин, остальные все были незнакомые.

И опять нас не отправили прямо в Москву. На Фонтанке мы провели трое суток, ожидая, пока сформируется подходящий эшелон. Потом опять валил густой снег, мы ехали в открытых грузовиках, через центр, по Невскому, к Московскому вокзалу. А там, волнуя, рокотал на перроне духовой оркестр, звенели медные тарелки. Был митинг, и нас провожали так, словно именно мы защищали этот великий город.

В вагоне, когда уже двинулись, выяснилось, что эшелон на Москву не пойдет, а на узловой станции Бологое повернет на восток — все ребята были с Урала и из Сибири.

* * *

Здесь мы наконец получили на руки документы и сошли — Вихлинин, я и еще один москвич, младший сержант. За плечами у него висел обычный «сидор», а в руке был самодельный фанерный чемодан зеленого цвета с красной звездой на боку и висячим замком сверху. Перехватив мой взгляд, он спросил:

— В деревню с таким приезжать?— сам засмеялся и объяснил:— А что! Мне мой второй номер сделал на память...

У нас с Симкой было по два вещевых мешка — один, удобно укрепленный на спине, с лямками, схваченными на груди перемычкой, второй на правом или на левом плече, поочередно.

Дело нам предстояло нелегкое. Станция была перенасыщена людьми. Народ стоял вдоль всей платформы, плечом к плечу, как в метро. Поезда, правда, шли часто, но переполненные,— двери даже не открывались. Лишь однажды мы видели, как вышли из комендатуры патрули, оттеснили людей от края — в их полукольце оказался рослый генерал, через минуту остановился поезд, они продолжали умело, спинами, отжимать тол-

пу, а генерал невозмутимо скрылся в дверях вагона.

Совсем стемнело. Внезапно подали пустой состав, но тут же стало известно, что это местный поезд, и хотя он пойдет в направлении Москвы, его конечный пункт всего через несколько остановок, и садиться на него не имеет смысла. Однако Симка успел получить совет у какой-то здешней женщины, что поехать на нем все-таки стоит.

Была глубокая декабрьская ночь. Мы стояли на длинной малолюдной платформе. Два поезда уже прошли. Темные, завьюженные, они останавливались на минуту — только для порядка, даже проводников не было видно. Сейчас причаливал третий.

Мы побежали вдоль состава. Глухо чернели кое-где подсвеченные окна. И вдруг за дверным стеклом вагона я увидел молодое женское лицо. Оттуда, из темноты, она смотрела большими глазами на белую полоску перрона. На ней была форменная шинель и шапка, а поверх шапки домашний пуховый платок. И она показалась мне прекрасной, с этими своими глазами, с этим платком.

Я попросил ее зна́ком: «Открой!» Она снисходительно, как ребенку, улыбнулась и задумчиво покачала головой.

Паровоз прогудел и рывком стронул завизжавшие вагоны. И тут она неожиданно кивнула: садитесь!

Это был решающий миг,— ни обсудить, ни посоветоваться.

Мы втроем, на ходу, кто как, вскочили на обледенелые подножки, схватились за промерзшие поручни. Ничего, сейчас она откроет,— ведь станция уже позади. Поезд резко прибавил скорость. Завьюжило по ногам, затрепало полы шинелей. Я не успел опустить и подвязать наушники, шапка съезжала на глаза и еле держалась. Чтобы она не свалилась, я уперся головой в дверь. Что же это, в самом деле?

— Встречный!— серьезно сказал Симка.

Я скосил глаза. Впереди, в снежной ночи, лучился, вспухал, разрастался грозно приближающийся свет. Он стал огромным и бил прямо в нас, почти сшибая со ступенек. Фанерный чемодан младшего сержанта больно упирался мне в колено, сталкивал. Я беспомощно ощутил, насколько далеко позади меня висящий за спиной вещмешок.

— Держись,— дышал мне в ухо Вихлинин, прижимая меня к дверям.

— Открой!— вдруг пронзительно закричал младший сержант.— Открой, сука!

Но, конечно, опа не слышала его слов.

Смешанная волна острого снега, освещенного горячего пара и резко пахнущей угольной пыли поглотила нас, накрыла с головой, заполнила наши глотки, ноздри и уши. Потом мы, задохнувшиеся, вырвались из нее, и тут же обожгло холодом и долго било встречным колесным громом. Потом стало почти тихо, лишь свистел ветер и ритмично стучали внизу колеса, когда отчетливо щелкнул ключ — и дверь растворилась. Мы осторожно, боясь помешать друг другу, медленно втянулись в тамбур.

— Ревизор шел, не могла сразу открыть,— объяснила она просто.

* * *

Сперва мы виделись с Симой Вихлининым, затем долго не встречались, теперь опять стали видаться. Мы вспоминали о Горловке, о Балатоне и Вене, когда воевали рядом, но еще не были знакомы, и о сенокосе вблизи Калуги, о делянке в новгородских лесах, о хмуром острове на Балтике. Но почему-то мы никогда не говорили об этой ночи.

Прошло более двадцати лет. Я ехал с женой в отпуск. Скорый уже громыхал дачными подмосковными местами, когда в купе вошла проводница в форменном сером костюмчике.

— Ваши билеты, пожалуйста.

Я протянул ей билеты и, глядя, как она вкладывает их в пронумерованные ячейки брезентового кляссера, вдруг спросил:

— Вы не работали на линии «Ленинград — Москва»?

Она вскинула на меня большие светлые глаза, но ничуть не удивилась моему вопросу.

— Работала.

— А когда?— я почувствовал, что волнуюсь.

— С шестьдесят второго по шестьдесят пятый.

И поскольку я ничего на это не сказал, добавила:

— За постели, пожалуйста.

ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ

Чем ближе было к концу войны, тем шире входила в обиход переписка между незнакомыми прежде людьми — между женщинами и мужчинами, между тылом и фронтом. Одинокие люди, чувствуя, что вскоре начнется другая жизнь, искали в ней чего-то заранее. Для иных это было развлечением, многие относились к переписке вполне серьезно.

Сватало радио — писали туда, и оно сообщало адреса желающих познакомиться. Взаимная тяга была столь велика, что это выглядело совершенно естественно. И текли двумя встречными потоками письма: из России в разнокалиберных, часто самодельных, неуклюже склеенных конвертах, с войны — только треугольнички. Сложить исписанный листок в треугольное письмо было столь же привычным, как свернуть из газетной бумаги самокрутку.

Текли в военном, потревоженном пространстве письма, но то и дело выбывал один из адресатов — временно, по ранению, или уже навсегда.

Занятие, разумеется, было на любителя. Шутка ли сказать,— война. Но охотники находились. Один спит или крючок к шинели пришивает, а другой пишет. Раз — и готово.

В нашей роте был такой мастак — отчаянный малый Володька Ратковский. Он переписывался сразу с несколькими студентками какого-то ленинградского института, учил их жизни, снисходительно над ними посмеивался. Они отвечали ему наперебой. Я тогда в это не вникал, мне было неинтересно, а сейчас жалею, что не попросил у него посмотреть, о чем же они пишут, даже когда они вывели на конверте — он всем показывал — «Владимиру Ратковскому — человеку XX века». Слава его в том институте была велика, и другие девчонки захотели переписываться с товарищами столь выдающейся личности. Он дал адрес нашему ротному писарю, тот начертал послание особенно красиво, с фирменными

завитушками, но спустя время получил свое письмо обратно — несколько незначительных орфографических ошибок были подчеркнуты красным карандашом. Писарь обиделся, долго и весьма изобретательно с неодобрением отзывался о своих адресатках. Да и другим история эта не понравилась.

Мне тоже написала как-то раз неизвестная девчонка. Я с удивлением бегло пробежал глазами все, что она подробно рассказывала о себе. В конце она сообщала, что номер полевой почты узнала у моих родственников. Я ей не ответил.

Но были ребята, которые регулярно переписывались с незнакомыми девушками, никого особенно в свои дела не посвящая. К таким относился Лешка Пинаичев, спокойный и рассудительный уральский парень.

Я встретил его через много лет, и он поведал мне эту историю.

В течение года он переписывался с девушкой Верой, работавшей на большом заводе под Москвой. Их общение все учащалось. И тут я действительно вспомнил, что буквально с каждой доставкой почты прибывало ему письмо. Чаще, чем Ратковскому.

Он уже все знал о ней — конечно, с ее слов, была у него и ее фотокарточка. Он загадал: если останется жив, по дороге домой обязательно заедет к ней и все решит на месте. Ну, и она о нем все знала — с его слов.

Кончилась война. У него было три ранения — он попадал под первую же демобилизацию. Он попрощался и убыл от нас — мы тогда стояли в Венгрии — осенью сорок пятого. В ту пору их еще встречали, как встречают первых. Но он не торопился, не суетился и сошел с эшелона, специально сформированного на Урал.

До поселка он добрался во второй половине дня. Уже смеркалось, непривычно щедро светились окна и особенным белым светом — заводские корпуса. Скрипел под ногами снежок. Поселок был большой, людный, Лешка не сразу нашел нужную улицу и дом. У него на плечах висело два набитых вещмешка, но он легко поднялся на четвертый этаж — лифта не было.

— А ты хоть лифтом-то ездил до этого? — спросил я.

Он удивился, хлопнул меня по плечу:

— А ведь правда, нет. Ни сном ни духом,— и расхохотался.

Он поднялся на площадку и позвонил, как было указано, два раза. Ему открыла девушка, такая миловидная, домашняя, что у него с непривычки зашлось сердце. Она глянула на него, и ее ресницы радостно затрепетали.

— Вы Леша? Проходите.

Он в ответ чуть не назвал ее Верой, но в это время за ней открылась дверь из комнаты, золотой свет широко ударил в прихожую, и на его фоне возникла истинная Вера, он сразу узнал ее. И душу его посетило разочарование. Он представлял, что она выше, тоньше,— на снимке она была совсем не такая.

Он потопал сапогами, вошел в переднюю, потом в комнату, опустил на пол вещмешки и долго здоровался с каждой за руку.

Теперь он все вспомнил — она же писала ему. Квартира была трехкомнатная, две комнаты занимала семья, тоже, разумеется, свои, заводские, муж, жена, двое детей и бабушка, а третью комнату дали Вере и ее закадычной подруге Нине, как лучшим работницам. Это был первый шаг от общежития, следующий предполагал отдельную площадь на каждого.

Лешка снял шинель, запоясался. На нем было отличное диагоналевое обмундирование, яловые сапоги. Орден, медали и гвардейский значок посверкивали. Они усадили его в обложенное вышитыми подушечками креслице и, еще не придя в себя, расспрашивали.

И он рассказывал о дороге, осматриваясь по сторонам, надолго останавливая взгляд на Вере, коротко встречаясь глазами с Ниной. И первое ощущение все не оставляло, бередило.

В комнате было уютно, тепло. Квадратный стол с низко висящим над ним оранжевым абажуром, две аккуратно застеленные кровати, половички-коврики возле них.

Смущение проходило. Девчонки уже смотрели на него весело, по-свойски. Он освободил горловину мешка, вытащил на стол ржаную буханку, банку тушенки, бутылку водки.

— Надо же отметить наше знакомство.

Они быстро достали тарелочки, стопки. Пошли приглашать соседа, но тот отказался, однако заглянул познакомиться с Лешкой:

— Как же, как же, наслышан...

Это Пипанчеву не очень понравилось, и он осуждающе глянул на Веру,— что ж, мол, ты всем раззвонила. Ну, Нина, понятно, а зачем соседям. И она поняла его взгляд и взглянула ответно: да не огорчайся, не сердись, ничего здесь нет такого.

— Ну, давайте, за встречу,— он налил всем по полной и чокнулся с каждой, глядя в глаза. Ему понравилось, что они, не ломаясь, выпили сразу.

Скоро уже казалось, что они знают друг друга давно,— да, собственно, так оно и было. Напряжение ушло совсем, но когда он встречался взглядом то с одной, то с другой, на миг обдавало звенящим ожиданием.

Потом они стали поглядывать на пузатый будильник и шептаться. В чем дело? У него были трофейные карманные часы марки «Лонжин», он, держа их на ладони, нажал на шпенек,— мягко отскочила золотая крышка.

— Ваш спешит на шесть минут.

— Да он у нас всегда бегом,— смеясь, объяснила Вера.— Тут знаешь какое дело, нам в смену сегодня с ночи.

— На работу? С двенадцати? Жалко!

Они, перешептываясь, засмеялись, и Нина глянула на него из-за Вериного плеча.

— Ну, давайте допьем,— предложил он.

— Нельзя, а то мы будем на работе пьяные.

Нина неожиданно встала, набросила платок и пальтецо.

— Ты куда?— удивился он.— Еще рано.

— Значит, надо,— сказала она строго и вышла.

— Куда она?— спросил он у Веры.

— Потом скажу,— пообещала она.— Ты выпить приглашал. Давай с тобой вдвоем выпьем. За что? За то, что живой, за то, что приехал. За все хорошее.

Он смотрел на ее доброе, взволнованное лицо, на ее округлые мягкие плечи и кивал в лад ее словам.

Они выпили и первый раз поцеловались.

Потом пришла Нина, кивнула Вере и, когда Лешка предложил ей выпить, отказалась чуточку устало и суховато.

Она вышла из комнаты, тут же вернулась в синем сатиновом халатике и, не глядя на них, начала собираться.

— Пора?— посочувствовал Лешка.— А ты?

Вера ничего не ответила, только встала закрыть за Ниной.

— А я переменилась,— сказала она, входя.— Понял? Теперь с утра пойду...

Он сразу протрезвел и ничего не ответил.

Она вмиг убрала со стола, раскрыла свою постель, взбила подушку.

Он посмотрел на Нинину кровать и подумал: «Неужели она разорит и ее?»

— Ступай, умойся там, приходи, туши свет и ложись,— сказала она просто.— Вот тебе полотенце.

Он вернулся, сел на кровать, стянул сапоги, сунул в них фланелевые портянки и босиком дошел до выключателя.

Вошла она, прикрыла дверь, щелкнула задвижкой. Стало совершенно темно. Он хотел расслышать, как она раздевается, ему это не удалось. Что-то белое и мягкое промелькнуло рядом с его лицом,— она примостила у его головы вторую подушку.

По-настоящему заснули в конце ночи, и, показалось, в тот же миг ударил трещащей трелью будильник.

Когда Вера зажгла свет, она уже была в синем халатике.

— Вставай, чайку попьем,— сказала она, торопясь.— Ну, ладно, полежи пока. А уйду — вставай, а то Нинка вернется, неудобно.

Она утвердила на место вторую подушку, поцеловала его, за ней щелкнула замком дверь, и он тут же вскочил, застелил койку. Плеснул было себе чаю, но пить не хотелось, он взбил в никелированном блюдечке пену, густо намылил щеки. Он брился еще не каждый день. Бритва была немецкая, с широким, в два пальца, почти синим лезвием. Она снимала волос легко, без всякого усилия. (Через семь лет лезвие непоправимо высоко и прямо посередине выщербилось. Такой бритвы у него не только никогда уже не было, ничего похожего он не встречал и не видел.)

Щелкнул замок,— у него заколотилось сердце,— легонько постучав, вошла Нина, буднично поздоровалась.

— Чай пить будешь?— спросил он.

— Попью.

Она вышла, вернулась уже в домашнем, попробовала ладонью чайник, поставила на плитку подогревать. На Лешку она словно старалась не смотреть.

— Устала? — нужно же было спросить что-то.

— Точно.

— Надо говорить: «Так точно».

— Это в армии, — усмехнулась она. — А у нас — точно.

Он посмотрел на нее снова и с болью подумал: как же это так он не к ней приехал.

Она начала убирать чашки, он встал, взял ее за плечи:

— Знаешь, что я хочу тебе сказать?

— Знаю.

Он был несколько задет:

— Да не знаешь ты.

И, прижав к своей груди ее голову, предложил ей тут же, не задерживаясь, уехать к нему, к его родителям. Она слушала, не отстранялась, а когда он замолчал, еще постояла так немного и сказала:

— Да нет, ну что ты!

Он поцеловал ее, она, подождав, слегка оттолкнула его, убрала посуду и сказала:

— Ну, ты пойди погуляй часика три, мне поспать нужно. Я утром больше не сплю.

— А я что же, помешаю?

— Конечно, помешаешь.

Он, как пьяный, спустился на улицу, пошел в одну сторону и остановился только, когда увидел, что поселок кончился, впереди снежное поле и лес вдали. Он свернул цигарку, задымил и пошел обратно. На клубе висела афиша — довоенный, известный ему фильм «Машенька», но сеансы были только вечерние. Он заходил в магазины, везде было полно народу, карточек у него, понятно, не было, он просто хотел убить время. Что там продавалось — он не запомнил.

Дверь ему открыла соседская девочка, но Нина уже не спала, а сидела у стола и читала книжку. Она встала ему навстречу, ресницы ее, как вчера, затрепетали, и у него тоже, как вчера, зашлось сердце.

— Ну, что? — спросил он, словно продолжая тот разговор и опять целуя ее. Она тоже, как-то неловко поцеловав его, сказала мягко:

— И не думай!..

Она уже была в платке и в пальто и говорила быстро, не глядя на него:

— Хорошо, что ты пришел, а то мне уже пора. Мне в завком нужно забежать и в общежитие к девочкам. А ты отдыхай, скоро и Вера придет.

Оставшись один, он постоял посреди комнаты, быстро выкурил самокрутку и придавил окурок на блюдечке. Затем он завязал оба свои мешка, взял с полки тетрадку, вырвал листок и написал химическим карандашом записку Вере. Он писал, что в суматохе совсем забыл сказать ей о своем уговоре встретиться в Москве с закадычным фронтовым другом, который ждет его, беспокоится и не понимает причины его задержки. Он написал, что через день или два будет обратно.

Он положил листок на середину стола и, боясь больше всего столкнуться с соседями или с Ниной, вышел, Свободно вздохнул он только на автобусной остановке.

Глубокой ночью он уже сидел в вагоне поезда, отходящего от московского перрона. Он курил и представлял себе предстоящую встречу с родителями, вспоминал роту, переписку Володьки Ратковского, вспомнил к чему-то и обо мне. О другом он старался не думать.

Дома он поступил работать, окончил заочно техникум, женился. Веру и Нину он никогда больше не видел и не слышал о них.

— И ни разу не съездил? — спросил я.

Он пожал плечами:

— А как поедешь?

— Да, может, у тебя там ребенок,— сказал я, желая как-то прошибить его спокойствие.

Он посмотрел удивленно, с недоверием.

НА УЧЕТ

Обитая коричневой клеенкой дверь с табличкой «Секретарь» приоткрылась, и девичий голос назвал его фамилию. Алексей вылез из-за казенного, заляпанного чернилами стола приемной и прошел в кабинет. Нет, это не было заседанием бюро, в комнате находилось всего три человека. На заглавном месте сидел чубатый парень. Посмотрев на его прическу, Лешка снял шапку. В армии, как сержант, он был подстрижен под полубокс, сейчас волосы успели еще немного отрасти, но было далеко до прежней полечки.

Кроме чубатого секретаря, в кабинете сидели еще худощавый малый в очках и румяная девушка.

— Садись,— сказал секретарь.— Это ваш комсомольский билет, товарищ Пинаичев?

— Мой.

— Вы встаньте, когда отвечаете на вопросы,— мягко посоветовал очкастый.

— Зачем же тогда усаживать? — хотел было изумленно возмутиться Алексей, но раздумал.

Он поднялся с места и больше уже не садился.

Он стоял, высокий, ладный, в шинели без погон. Паспорт он уже выправил, теперь пришел становиться на комсомольский учет.

На улице трещал мороз. Брат Пашка предлагал свой белый, в желтизну, полушубок, но Леха пошел как есть, в шинели.

— Ты что же, на нем орехи колол?— спросил секретарь, помахивая раскрытым билетом.

Теперь удивился Алексей:

— Как орехи?

— Почему он у тебя в таком виде? Ты садись. Тут и не поймешь, Алексей ты или Александр.

— Видно.

— Ты что же, на нем орехи колол?— не унимался секретарь. Ему, видно, очень нравилась версия про орехи.

— Билет пострадал немного при форсировании водной преграды,— хмуро объяснил Пинаичев.

— Водной преграды?

— Да. Реки Раба.

— Раба? — секретарь помолчал, посмотрел на остальных.— Не слыхал.

— Это в Венгрии.

— Ну, расскажи.

— Чего рассказывать. У меня все документы в бумажнике лежали. Брезентовый бумажник, трофейный. Да вот он у меня,— Алексей отпахнул полу шинели и показал всем бумажник.— Брезентовый! Но вода, она щелку найдет.— Он говорил: щ е л к у.

— Щёлку?— переспросил очкастый.

— Да. Не пять минут в воде были.

— Но откуда вмятины эти? Я же не зря спросил про орехи.

— Снаряд разорвался, меня шатнуло, или сам отклонился, а там на дне он рельсы какие-то натыкал, вроде надолбы. Я и ударился ногой.

Наступило молчание.

— То есть, как ногой? — спросил секретарь.— Он что, был у тебя в брючном кармане? Не в нагрудном?

Теперь замолчал Пинаичев. Он посмотрел на секретаря, на очкарика, на девушку, которая что-то быстро писала, и только потом сказал:

— А нагрудные карманы были только на старых гимнастерках. До сорок третьего. У офицеров остались, а у нас нет.

Все внимательно и задумчиво посмотрели на Пинаичева, потом почему-то за окна, где клубами дымился мороз.

— Ну, все. Взыскания тебе давать не будем. Садись, я тебе говорю. Укажем на небрежность хранения.

— Есть билеты, залитые кровью,— неожиданно сказала румяная девушка, еще более покраснев и глядя за плечо Пинаичева. Он даже оглянулся: на стене висел портрет Николая Островского.

— Извините, у меня не залит,— чуть не вылез он, но девушка оказалась на его стороне:

— Так там тоже можно указать на небрежность хранения?

— Все!— прервал ее секретарь.— Закончили. Нет вопроса. Выписать новый билет. Принесешь две фото-

карточки.— И уже другим, почти приятельским тоном обратился к Алексею:— Куда устраиваешься?

— Месяц отгуляю, как положено, а там решу,— отвечал Леха основательно.— Места есть. Зовут.

— Ну, держи! — секретарь на прощание хлопнул пятерней по его твердой ладони.

Пинаичев вышел на крыльцо, потопал сапогами, закурил и сказал себе:

— Строго!

Как мартеновская плавка, густо дымился меж домов малиновый закат. От магазина, где они грелись, торопились через площадь к нему брат Пашка и его дружок Валька. Они ждали Алексея, чтобы вместе идти на танцы.

И пока они топали к нему, такие молодые и самостоятельные, он подумал, как это ему в голову не пришло сказать, что у него три ранения, что он и демобилизован-то поэтому. Три дырки в шкуре,— как говорил Володька Ратковский. Но он ничего не сказал им. Зачем?!

— Чего так долго?— спросил, подходя, Пашка.— Мы уже три раза грелись.

— А до этого как долго меня не было, ты помнишь? — сказал Алексей и ткнул его кулаком в бок.

СТАРИЧОК В ЗАКУСОЧНОЙ

Война окончилась всего лишь два года назад, но казалось, что это случилось очень давно, что прошло страшно много времени. Она была словно отделена каким-то невидимым валом. Лишь спустя немалые годы я стал понимать, почему это происходило. Нужно было начинать жизнь заново, устраиваться и утверждаться в совершенно иных условиях. Воспоминания мешали.

Усвоенные за войну связи и навыки, перенесенные тяготы, ранения и контузии — все это не слишком ценилось. Все это стало цениться — не в смысле стоимости, но в смысле жизненной ценности — потом, не скоро.

На сверхсрочную оставались те, кто не хотел начинать с нуля. И тоже лишь через много лет стало понятным, что это было не с нуля. Но тогда так казалось. Ведь нужно было определиться в пространстве, найти себя в почти незнакомой жизни.

Каждый новый военный призыв был моложе предыдущего — интервалы между ними становились все короче. Страна не имела возможности ждать. Я ушел семнадцати лет, из десятого класса, в конце второй четверти.

И не знаю, кто догадался — в ту пору мы вообще об этом не думали,— но было принято высокое постановление — считать нас окончившими. Всех. И те, кто вернулся, могли без хлопот получить аттестат зрелости.

Спасибо. Если бы не это, я, например, вряд ли пошел бы доучиваться.

А теперь у меня было среднее образование, и я мог попробовать поступить в институт, даже вне конкурса. Между нами был свой конкурс.

Уже в цивильном костюме, но еще в шинели, худой и голодный, целыми днями болтался я по Москве, присматриваясь, прислушиваясь, не решаясь сделать выбор.

У входов в институты или на металлических институтских оградах висели новенькие щиты с объявлением о приеме. Перечислялись условия. Но, минуя перечень факультетов, взгляд прежде всего опускался к строке — «срок обучения». Ох и долгий же срок, длиннее, чем война!

Под каждым щитом или чуть поодаль стояла толпа. Десятиклассников почти не встречалось. Это была понятная компания, своя бражка, наш брат — фронтовик. И всегда наблюдался один, который все знал и объяснял: кому и как следует сдавать экзамен, куда потом распределение и какова зарплата. И еще обязательно кто-нибудь шнырял в толпе и предлагал за десять рублей микрошпаргалку по математике или физике, мелко усеянную чернью теорем и формул. Отпечатанная на фотобумаге, она была сложена гармошечкой и, теперь бы я сказал, напоминала неказистый сувенирчик — виды города. При мне такой шпаргалки не приобрел никто.

Было томительное время ожидания,— перед собственным решающим шагом. Ухо улавливало чей-то негромкий разговор, адрес, еще одно название. В мозгу лениво передвигалось: «А что, действительно, стоит подъехать!» Через час у другого института я видел тех же, уже знакомых ребят. Только объясняющий был новый. А условия приема — везде одинаковые.

Так мы и кружили от института к институту, как с цветка на цветок. Но был ли взяток? Думаю, все же был.

И в Институт международных отношений я заходил, и Внешней торговли. И возле Института кинематографии потолкался, и в полиграфический заглянул. О существовании литературного института я даже не подозревал.

— Солдат,— толкнул меня кто-то в бок.— Оставь сорок...

Стояли теплые дни, я давно уже не носил шинели. На меня смотрел плотный сероглазый парень в кителе без погон, с красной и желтой нашивками за ранения. Не то старшина какой-нибудь, не то младший лейтенант.

Я курил «Норд», потом его для понятности переименовали в «Север». Купил утром на табачном лотке восемь штук,— тогда продавали и поштучно.

Я оторвал зубами конец мундштука и протянул ему окурок. Он дожег папироску в несколько глубоких затяжек.

— Ну, все,— сказал он мне так, словно мы уже обсуждали с ним этот вопрос.— Я выбрал. МВТУ!

— Давай!— напутствовал я его.— Дерзай и надейся!..

Потом я медленно, как уже привык, шел по Москве (это через полгода все бегом да бегом, все некогда!), спускался по Кузнецкому. «А куда это я?» — подумалось вдруг. «В геологоразведочный!» (Слово «разведка» было мне ближе, чем «геология».) «Во МГРИ!» — повторил я себе с той искренней убежденностью, с которой я мог назвать любой другой институт, твердым тоном, каким чаще всего произносятся необоснованные решения. Сегодня утром я уже простоял там часа полтора, прислушиваясь к себе и колеблясь. На отрезке между Неглинной и Петровкой, ближе к Неглинной, помещалась закусочная, и там вплотную к окну был придвинут столик и сидело несколько человек. Они пили пиво и ели сосиски — ничего особенного, но ведь еще существовали карточки, и потому это было сказочное пиршество в к о м м е р ч е с к о й закусочной — не где-нибудь. И лицом ко мне сидел старичок, бодрый, румяный, с аккуратной белой бородкой. Локти его стояли на столе, в левой руке он держал вилку, в правой нож, что-то рассказывал и смеялся. И остальные смеялись или улыбались. Я, конечно, не остановился, даже шага не замедлил — только мне недоставало,— но поразительно, на всю жизнь запомнил его. Сейчас его, наверное, уже нет на свете, и видел я его две секунды, и что он мне,— а вот помню, и все! Не ребят, с которыми стоял под щитами, а его. Может быть, по контрасту. А скорее потому, что он возник на фоне того моего решения и оказался как бы привязанным к нему.

В конце концов я поступил в геологоразведочный,— радуясь, смотрел на лучащиеся минералы, мучился с высшей математикой, писал на лекциях стихи и через год ушел в литературный, с облегчением оставив Моховую, геологию, ту странную полосу моей жизни.

Многие, да и я сам, считали, что я потерял год. Я тогда еще не понимал, что никакие знания не бывают лишними.

СЛУЖБА

Война кончилась, а служба нет.

Эту фразу ротного, этот его безошибочный афоризм Коля Шуганов вспоминал потом долго, многие годы. Служба словно лишь начиналась. Хотя, по правде, началась она давно, метельной зимой,— с переполненного военкомата. Он стоял голый перед медицинской комиссией, дивясь, что в ее составе есть и молодые женщины. Затем — короткий, в дыму, золотой отрезок до повестки «с вещами» — и служба!

Он сразу, с ходу, попал в офицерское училище. «Школа средних командиров»,— пелось в старой строевой песне. Училище в заволжском крупном городе носило наименование другого города, находящегося сейчас под врагом,— в этом словно заключалось уверенное обещание, что место основания училища скоро будет освобождено. Так оно, разумеется, и случилось, хотя сам Николай там никогда не побывал.

Ох и взяли же их в оборот,— ни минуты передыху! Бегом да бегом. С непривычки трудно было все — и прежде всего трудно было поверить, да не только им, что они станут лейтенантами, командирами взводов. Однако время шло, и на горизонте начали слабо просматриваться очертания выпуска.

И тут приказ — их училище переформировывают, и другие тоже. И попал не лейтенант, не курсант, а рядовой Николай Шуганов вместе с такими же, как он, в воздушно-десантные войска. И началась его война, его солдатская служба.

Оказалось, что он уже был орел («Орелики!» — называл их ротный), что все ему дается, даже прыжки. И думать он забыл об училище, никогда не жалел, что не стал офицером. До гвардии сержанта дослужился к концу войны, и вообще повезло, один только раз черкануло по ноге осколком, кость не задело. Дальше медсанбата не послали.

Война кончилась, а служба нет.

Стариков отпустили, ребят, у кого не меньше трех ранений — тоже. Кто техникумы окончил или два курса института,— но таких почти не было. А ты, брат Коля, послужи: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!..» Только вот не дома, а в роте. И он служил.

Перед отъездом из Венгрии можно было остаться на сверхсрочную, но он не стал — надоела заграница, да и надеялся, что скоро все же совсем отпустят, тянуло сильно. Правда, строй он оставил, земляк порекомендовал его в систему ПФС, он был и завскладом, и писарем, а потом обосновался при штабе. Дружки завелись новые, молодые офицеры, но ведь сам только сержант.

Вернулись в Россию. Сперва стояли долго в летних лагерях и опять заново формировались, а затем вдруг оказались расквартированными в областном городе — с театром, парком, где гремела музыка, старинными соборами, прекрасной рекой.

Это произвело на них сильнейшее впечатление — ведь почти отвыкли. Они, положим, брали Вену и потом стояли в ней, а вскоре после войны жили два месяца в Будапеште,— но ведь это не здесь, другое дело.

А всю войну — сперва по закрытым гарнизонам, а в дальнейшем — по деревням, по лесам да проселкам. И обоза даже не было в десантных войсках, простыней, подушек не полагалось.

Ну и, конечно, женщины! Казалось, город был населен одними женщинами, молодыми, похорошевшими после войны, смотрящими с радостным ожиданием. Это была для обеих сторон счастливая встреча.

Холостые офицеры и старшины повально начали жениться. Да и многие солдаты в результате осели здесь.

Когда-то в школе, там, в родном поселке, на яблочной его Тамбовщине, Колькин сосед Левка читал на уроке вслух, и в учебнике было предложение о каком-то человеке, который много путешествовал, а потом где-то обосновался, осел. И Левка прочитал громко: «он здесь осёл».

— Что, что?— спросила учительница.

— Осёл,— все так же бодро отвечал Левка.

— Чудак, не «осёл», а «осел»,— поправила она, но было поздно — прозвище пристало к Левке несмываемо, он сам привык и даже не обижался.

«Так что же,— подумал сейчас Шуганов,— и мне жениться? И я, значит, здесь осёл?..»

Теперь свободное время у него было, и он усиленно думал о своем будущем. Командир полка обмолвился как-то, что служить им предстоит еще долго — не менее трех-четырех лет.

Звание у него уже было старшина, не должность — звание. Опять открылась возможность остаться на сверхсрочную. Но что же,— рассудил он,— так старшиной всю жизнь и трубить? Кое-кто из ребят со средним образованием стал подаваться в военные академии — объявления о приеме висели в штабе. Почему-то первой фигурировала военно-медицинская. Но многие пошли в училище — опять «школа средних командиров» — на лейтенантов. Благо принимали туда с восемью классами. Учиться два года. Он мучился: не поздно ли?

И тут в жизни его произошла перемена.

Однажды он задержался в штабе, сидел в дежурной комнате и читал газету. Часы службы только что кончились. В дежурку заглянул командир комендантского взвода рыжий старшина-сверхсрочник Петухов, спросил:

— Ты чего делаешь, Шуганов? Пошли со мной?

Николай поинтересовался — куда.

— Ты понимаешь, с бабой хорошей договорился. Но она не одна, с подругой.

Все это было знакомо Шуганову, вся эта наивная условность, понятная хитрость, игра. «Ах, вы вдвоем, и я случайно с товарищем».

Не хотелось, и ведь мог не пойти, но Петухов звал настойчиво.

— А увольнительная?

— Я устрою.

Ему еще нужна была увольнительная, Петухову — нет, а ему обязательно.

— Ну, ладно.

Он запомнил, как долго зеркалил бархоткой сапоги.

Встретились в парке.

— Зина, здравствуй! А это мой друг. Шуганов Николай.

Зина была как Зина, а вторая ему понравилась с самого начала. Она подала руку и сказала:

— Анна.

«Ишь ты,— подумал он,— серьезная». Ему хотелось и нравилось, чтобы его девушка была серьезная.

Пошли танцевать. На деревянном кругу было немало своих, за оградкой строго проходил патруль. Оркестр на эстрадке восседал гражданский, но то, что он был духовой, делало его близким, почти армейским. Танцевали, меняясь девушками. Анна кружилась серьезно, задумчиво, не только с ним, но так же и с Петуховым. Зато Зина болтала и смеялась.

— Погуляем, потом все ко мне пойдем, посидим. Ладно, Коль?— говорила она.

Парами пошли по дорожке к обрыву, Петухов с Зиной впереди. Николай аккуратно вел Анну под руку. Она подняла на него серые глаза:

— Не хочется к Зине. А ты хочешь?

— Нет.

— Ну, и не пойдем.

Она сказала все это так просто, будто не сомневалась в ответе, будто давно у них полное согласие.

В густом слоистом тумане лежали заречные луга, по вечерней, еще светлеющей реке шел в огнях колесный пароход. Сзади, в парке, гремела музыка.

И в первый раз не захотелось Шуганову покидать этот город.

Анна работала в столовой.

— Подавальщицей?— спросил Николай сурово.

— Нет, калькулятором.

— А!..— выдохнул он с облегчением.— А то ведь к официантке прицепится каждый...

— Как себя держать.

Через три месяца они поженились. И ведь что получилось,— он не офицер, не сверхсрочник. Его, конечно, уважали, отпускали, но все равно она дома, а он в казарме. Надо было что-то делать.

И тут стали возвращаться ребята из училища. Лейтенантами. Он тоже мог быть среди них. И вдруг словно толкнуло: да ведь еще не поздно, иди, поступай. Он подал рапорт.

Анна ждала ребенка, а ведь не только не отговаривала, тоже советовала: поезжай, учись. И он поехал.

Как когда-то военной метельной зимой, снова стал курсантом. Курсантом, да, видать, иным. И распорядок жесткий, и требования высокие, и дисциплина — ого, а все легко, в охотку. Не зря столько лет варился в этом котле. Только нет-нет, а кольнет тоска по Анне,— да еще новое странное растерянное чувство — дочь родилась, Наташа. А домой отпускают совсем редко, да и то на неделю или на три дня.

Таких, как он, не один, а целая рота — фронтовики, старослужащие, сержантский состав! Редкостная удача для училища. И еще всплыла смутная мысль: а вот бы тогда окончил, в войну, сейчас бы уже майор был. Но беспечно успокаивал себя: кто знает, может, в первом же бою попал бы молоденький лейтенантик под снайперскую пулю.

На выпуск приехали из родной дивизии, взяли к себе. И не успел нарадоваться встрече с Анной и Наташкой, вызвали:

— Пойдешь заместителем по строевой в саперную роту.

— Да я же не сапер.

— Саперы будут. Нужен опытный командир.

(Опытный командир. Во как!)

— Поедете в Синявинские болота. Слыхал? На разминирование...

И в ушах отозвалась песня:

Наши полки на болотах Синявина,
Наши штыки подо Мгой.

Накануне отъезда он намочил под краном и сунул на окно лейтенантские погоны.

— Ты чего это? — спросила Анна.

— Больно новые.

С утра он надел поношенное, еще старшинское свое обмундирование, отчужденно посмотрел на жену и дочь, поцеловал их.

Анна никогда не спрашивала, надолго ли он уезжает.

Начальник штаба показал на карте их участок, четко ограниченный железной дорогой и двумя проселками.

Они поехали. Шуганов сидел рядом с шофером, а взвод во главе со старшиной-командиром — в кузове.

Николай не выспался, смотрел перед собой на пыльную дорогу, томился и скучал. Путь предстоял долгий. После первой же остановки Шуганов перебрался в кузов.

Он пристроился на полу за кабинкой, рядом со старшиной, и объяснил чистосердечно:

— Надоело там в духоте.

Старшина Сукнов, немолодой сверхсрочник, подобрал длинные ноги и понимающе кивнул. Солдаты были неторопливые в движениях, степенные, как все саперы. Имущество их — миноискатели, шанцевый инструмент и прочее — было упаковано в брезент. Машину все чаще вздымало и швыряло на ухабах; как дымовая завеса, окутывал хрустящий на зубах песок.

Шуганов рассматривал солдат. Он понимал, что этот собранный в кулак, пока еще столь расслабленный с виду взвод составлялся годами, штучно, что, когда нужно будет, они покажут свое умение и реакцию. Саперы — землекопы и плотники. И блиндажи строят, и переправы наводят, но, конечно, главное у них — ближайшее соседство со всевозможными взрывными устройствами, поразительное любопытство, опаснейший интерес ко всему этому, постоянная потребность разгадать страшный секрет. И острее, чем сперва, Шуганов ощущал, что новая должность его — зам по строю, это не заместитель командира роты по строевой подготовке, а по строю жизни, взгляда, поведения.

Дорога давно утонула в хмурых хвойных лесах, а они все ехали и ехали.

Около мостка через речонку, на обочине, накренясь, стояла потрепанная полуторка, шофер подкачивал скат, а рядом расхаживал толстяк, одетый наполовину по-военному. На выщербленном кузове висел фанерный щит. Николай успел прочесть крупным — «УТИЛЬСЫРЬЕ», слегка удивился и мимолетно вспомнил, как в его детстве в поселке временами появлялся конный фургон, и в обмен на тряпье, бумагу и всякие ненужные вещи старьевщик давал мальчишкам плотные яркие мячики и раздувающиеся резиновые «уди-уди»,— такой звук при нагнетании в нее воздуха эта диковинная игрушка издавала.

Полуторка, шофер и толстяк, приветственно помахавший им, остались позади, Шуганов раскрыл план-

шет, вместе с Сукновым склонился над картой — до пункта назначения оставалось рукой подать.

Небольшая деревня стояла среди смешанного мелколесья, и почему-то самый вид этого мелколесья напомнил Николаю о войне. Солдаты в кузове оживились.

Еще издали заметили флаг над крышей избы, и водитель, не спрашивая, рулил туда. В правлении колхоза председатель сказал обрадованно:

— Да, я знаю, нам звонили,— но все же попросил показать документы.— Ну, пошли, на квартиры вас поставлю...

Солдаты у крыльца уже разговаривали с молодой женщиной, смеялись. Сукнов приказал разобраться по четыре человека для постоя. Сержанты повели солдат по избам.

— Ну, а вы со мной,— позвал председатель. Пошли по деревенской вечереющей улице. По дворам мычали коровы,— видно, стадо только что вернулось.

Шуганов, Сукнов и востроглазый солдатик Диденко, одновременно ординарец и связной, неторопливо вышагивали рядом с председателем. Тот слегка прихрамывал.

Встречные здоровались. Прошкандыбал парень на самодельной струганой ноге с резиновым черным копытом. Мальчишка пронес на спине мешок с травой. Вместо правой руки у него был пристегнут ремешком к локтю проволочный стальной крючок, впившийся в мешковину.

Председатель потянул калитку: «Заходите»,— и сам прошел первый. В доме было опрятно, в деревенской «зале» стоял фикус в кадке, рядом со старым сундуком — городской обеденный стол, венские стулья, кресло, крытое ковровой дорожкой. Они, умывшись с дороги, сидели за столом. Хозяйка подавала закуску — сало, огурчики, квашеную капусту. Вошла молодая, внесла чугунок с дымящейся картошкой, поздоровалась, и они обомлели от взгляда ее огромных синих глаз. Но поставила она чугунок как-то не совсем ловко, почти выронила, и Николай с изумлением и болью заметил — у нее не было левой кисти.

Принесли лафитнички, поставили бутылку самогона.

— Нет, нам пить никак нельзя,— сказал Сукнов, опережая председателя.— У нас голова утром ясная должна быть. Бог даст, напоследок выпьем.— И, видя

его огорчение, закончил: — Ну, вот, может, лейтенант?..

Это был не то чтобы подвох, это было как проверка — с нами ты или нет?

— Нет, нет,— подтвердил Шуганов.— Не положено.

Председатель мгновение поколебался, налил себе, поднял, посмотрел на свет, вздохнул, жалея себя, выпил, хрустнул огурчиком и сделал приглашающий жест — ну, хоть ешьте.

Затем он налил себе вторую, но пить не стал, а обратился к ним:

— Ну, что сказать? Беда. Форменная беда. Рвутся. Нет, скот пасется в лугах, ну, отобьется какая телка. А эти сами лезут, ничего не страшатся. И причина одна — утиль.

— Как утиль?— не понял Шуганов, но сразу вспомнил машину.

— Очень просто. Бои какие здесь шли, батареи какие здесь стояли — и наши, и ихние. Калибры какие! И гильз, гильз навал. А ведь это цветной металл, ценный, за него платят, и немало. Вот и лезут. Промысел. Руки-ноги им отрывает. Случается, и голову. Ведь мин там сколько наворочено!

— И тебя здесь же?— поинтересовался Шуганов.

— Меня?— председатель обиделся.— Меня не здесь. Я вообще не здешний, я председатель, районом рекомендованный, понял? Меня не здесь! Меня на Балатоне.

— На Балатоне? — обрадовался Николай.— Так и мы же там были.

Выяснилось, что председатель воевал в соседней армии, рядом, на стыке.

— Ладно, выпей, закуси и слушай,— неожиданно веско сказал Сукнов.— Слушай наш с лейтенантом приказ. Сегодня же, с вечера, объяви по деревне, в каждой избе, каждому человеку: чтобы утром в лесу ни души! Утром в лесу только мы будем. Ясно?

— Ясно! — так же четко откликнулся председатель.

Ранним утром, выйдя на крыльцо, Николай первонаперво увидел полуторку со щитом «Утильсырье» на борту. Вчерашний толстяк явно дожидался лейтенанта.

— Здравия желаю, товарищ начальник! — бодро крикнул он.

— Здорово, здорово.— Шуганов, затянутый, бритый, хмуро смотрел на толстяка.— Ну что, все собрал?

— Собрал вчера, да мало,— со смущенным огорчением, словно докладывая руководству о недовыполнении плана,— откликнулся тот.— Ребята ваши дороги к лесу перекрыли, не пускают народ. Распорядитесь, товарищ лейтенант!..

— Я уже распорядился,— сказал Николай холодно и веско,— чтобы в лесу ни одного человека. Так что с этим все. Разминируем — приедете.

— Да вы что!— неожиданно закричал толстяк.— Государственное дело. Промышленность ждет!

— А ну,— Шуганов на миг почти задохнулся, расправляя легкие:— А ну, вали отсюда!

Сдерживая себя, он пошел по улице и услышал, как сзади хлопнула дверца и с третьего раза завелся мотор.

У околицы, поодаль друг от друга, темнели две группы. Небольшая, разочарованная толпа деревенских с мешками, серпами и мотыжками и взвод со своим грозным имуществом.

— Встать! — спокойно скомандовал Суконов.— Смир-р-но! Товарищ лейтенант, первый взвод саперной роты заканчивает подготовку к выполнению задания. Командир взвода — гвардии старшина Сукнов.

— Вольно! — касаясь пальцами козырька, отвечал Шуганов.— Здравствуйте, товарищи. Продолжайте.— И только Сукнову:— Все в порядке?

— Скоро пойдем. Сержант Мариманов со вторым отделением уже на лугу.

— Да нет там ничего, на лугу,— заметил стоящий рядом председатель.— Ближний выгон это. Коз пасут. С опушки начинайте.— И, повернувшись к своим, крикнул:— Ну, чего! Ну, чего стоите? Русским языком было сказано — в лес не пустят. И я не пущу!

Шуганов тоже подошел к ним.

— Что закручинились? — спросил он, усмехнувшись.— Не горюйте, приема сегодня не будет. Себя пожалейте, детей своих. Вот тебе, малый, ногу оторвало, а могло что-нибудь и поважнее.

В толпе охотно засмеялись.

— В общем, так,— продолжал он негромко.— Помогите нам. А помощь ваша в том, чтобы не мешать. И мы вам поможем. Разминируем — все ваше: и грибы, и ягоды, и гильзы.

Тон его был предостерегающий, строгий, но в голове у самого мелькнуло почти восхищенно: «Отчаянный все же русский человек!»

Он повернулся и зашагал к взводу. Вдруг он вспомнил, что со вчерашнего вечера ни разу не думал об Анне и Наташке. Это слегка удивило его. Он смотрел на саперов и испытывал чувство ответственности за них. Он только не знал, нужно ли что-либо сказать им или нет.

Снизу, от луговины, бежал трусцой связной Диденко.

— Товарищ старшина,— начал было он и прервал себя.— Товарищ лейтенант, разрешите...

— Разрешаю, разрешаю.

— Сержант докладывает: луг заминирован.

— Как? — не поверил председатель.

— Против танков.

— Вот это да!— председатель был ошеломлен.— Коз пасем. А если б трактор туда зашел или машина? Хана!

— Утильсырье,— усмехнулся Николай.

— Взво-од! — протяжно позвал Сукнов. И не столько испросил разрешения, сколько объяснил Шуганову:— Можно начинать.

Солдаты поднялись. Вид у них был задумчивый, отрешенный.

— Командиры отделений, ведите людей,— скомандовал Сукнов и повернулся к Николаю:— Ну, я пошел, лейтенант.

— Ты пошел? — спросил его Шуганов.— Ты, значит, пошел, а я нет. Так, что ли?— и поскольку Сукнов ничего не ответил, бросил примирительно:— Пошли!

Туман в лугах совсем рассеялся. Лес вблизи стоял темный, холодный. Саперы неторопливо рассыпались в цепь.

«Война кончилась, а служба нет»,— привычно вспомнил Шуганов.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Отмена карточек смутно связана у меня с классической музыкой, с консерваторией. Странно, но так.

А когда же их отменили? То есть как — когда? Это было вскоре после войны. Сказал и подумал: а что это значит? Через неделю? Да нет, то была еще почти война. Сдержанное ржание обозных лошадей,— их набралось к концу как в кавалерии,— западная сторона Влтавы, вечер, туман, составленное в козлы оружие. Через месяц, через два? Пустынный берег Малого Дуная, старые акации, слабый всплеск строевой песни вдали. Потом зима, эшелон, Карпаты. Ослепительный снежный склон, деревушка наверху, и от нее спускается старик, сидя на корточках и ловко помогая себе палкой. А у дверей вагона стоят молодые местные парни и зачарованно слушают, как гремит изнутри:

Очеретом хата крыта,
Хоп, чита-рита я...

Война тянулась четыре года. Без малого. Без сорока трех дней! А ведь это для войны немало.

И прошло еще целых два с половиной года. Даже больше, еще месяц с чем-то, впрочем, теперь это не имело такого значения.

Наша молодая неустроенность, неприкаянность после армии,— разве можно это забыть! И постоянное чувство голода, ну хотя бы неполной сытости, прерываемое столь редко...

Я учился в институте, жил у друга своего, Толи Клочкова; в тот памятный декабрьский день приехал за город к родителям и гулял по поселку. А там был небольшой такой рыночек, крохотная толкучка с самым немудреным выбором. И как везде, главным товаром шел хлеб, за него можно было иметь и все остальное. Хлеб, скорее всего, ворованный, а иначе откуда бы ему взяться,— я не встречал ни одного человека, которому хва-

тало нормы. Стоимость черной буханки весом в два четыреста колебалась в войну от ста до трехсот и даже до четырехсот рублей. Последнее время она упала до отметки «девяносто» и трепетала на этой черте. В кармане у меня примерно столько и было — остаток от стипендии.

Таким образом, вся эта роскошь не имела ко мне решительно никакого отношения, но, проходя мимо, я подсознательно отметил, что хлеба сегодня на рынке очень много, хотя и не придал этому значения. И тут я услышал нечто такое, что заставило меня остановиться: за буханку просили теперь тридцать, двадцать пять и даже двадцать рублей. Я ничего не мог понять, я ничего не знал, а они каким-то образом з н а л и.

Я купил-таки буханку, но, ожидая подвоха, мошенства, подделки, сперва велел разрезать ее пополам. Нет, все было в порядке.

Уезжая через час, я взял с собой хорошую горбушку и доел ее на остановке автобуса. Место нашлось, уютное, у окошка. Проезд до Москвы стоил четыре с полтиной. Сколько билетной бумаги разного достоинства отматывали тогдашние кондукторши с висящих на груди пестрых рулончиков! Я получил полную руку билетов.

Автобус катился к Москве. Одна деревня сменяла другую,— шоссе, по сути, было сплошной деревенской улицей. Лишь изредка автобус вырывался в поле, где поземка, дымясь, перетекала через асфальт, а хмурое декабрьское небо сливалось воедино со снегом. Тянулась по горизонту темная полоска леса, и все это вместе напоминало иную дорогу, по которой столько довелось пройти.

На остановках входили, втискивались, вталкивались в автобус люди, они были чем-то возбуждены, растеряны,— а может быть, мне это только казалось. Автобус ехал уже мимо замерзшего пруда, старинной церквушки, по заводской окраине, пересекая мерцающие из-под снега трамвайные рельсы.

У конечной остановки, возле метро и поблизости раскачивалась и кидалась в разные стороны подвижная толпа. Но на дверях всех магазинов, ларьков и палаток висели одинаковые таблички: «Закрыто на учет». И тут мне на ходу, бестолково и невнятно, объяснили: завтра отмена карточек и вообще денежная реформа.

Оживление царило возле аптеки. Все подряд покупали витамины в драже — А, В, B^1, B^{12}, С и другие. Но очередь была велика, не подступиться. И в самом метро стояла плотная, многослойная очередь за абонементными книжечками. Тогда еще там не было автоматов,— каждый раз покупался бумажный билетик, который нужно было сохранять до конца поездки, ибо часто случались проверки: контролеры в форме шли по составу, открывая ключом и тут же запирая за собой соединительные двери вагонов.

Я купил разовый талончик и поехал.

По Жукову проезду навстречу мне мчался Толя.

— Нужно деньги срочно потратить!— крикнул он мне еще за десяток шагов.

— Да ничего не купишь...

— Куплю! — он всегда был оптимистом.— Что там у тебя?..

Я отдал ему то, что оставалось, и он понесся дальше своей легкой побежкой, высоко закинув голову.

Но какие у нас были деньги, смешно! А у иных, как выяснилось позднее, большие тыщи горели. Рассказывали про человека, который, будучи не в состоянии срочно потратить деньги, приобрел несколько дирижерских палочек из слоновой кости и потом не знал, что с ними делать...

Со следующего утра действительно отменили все продовольственные и промтоварные карточки и ввели новые деньги из расчета: десять к одному. Но вот интересно: эти новые деньги выдали в тех же размерах, что и раньше, а не в десять раз меньше.

Потом, в шестьдесят первом, была еще одна реформа, опять: десять к одному. Таким образом, та купленная мною с рук буханка подешевела за это время в сто раз...

Толя заявился вечером и с торжествующим видом выволок из кармана разбухающую на глазах толстенную пачку билетов,— куда тем, автобусным! Это были билеты в консерваторию.

Вообще-то, в обычное время попасть туда было несложно. Достать билеты в Художественный, Малый, даже Большой тоже не составляло труда. А ведь там выступали истинные корифеи. Чем же это объяснить? Появлением на прославленных сценах новых, ничтожных спектаклей? Но ведь оставалась и классика — и какая! Или тем, что застенчивых девушек и пылких

юношей играли великие, но, увы, почтенного возраста актрисы и актеры? Или причина в том, что почти каждый спектакль состоял из пяти действий и четырех удручающе-длинных антрактов?

Кто ответит? А вот заполучить билет на футбол зачастую бывало непросто, почти невозможно. В этих людях еще прочно сидела война, они жаждали тесного общения, непредсказуемого взрыва страстей, неизвестных, рождающихся на их глазах сюжетов.

Но наш случай был особый. И почти каждый вечер мы с Толей Клочковым посещали в ту зиму концерты в Московской консерватории.

Недавно я видел фильм, где действие происходит в первые послевоенные годы. Зимняя улица, похожая на тогдашнюю, и герои картины одеты как тогда. И тут же — консерватория и памятник Чайковскому перед ней.

Памятника тогда, конечно, не было. Его поставили куда позже. Но что поделаешь! Тогда было другое. Тогда была отмена карточек. Это историческое событие сияет в моей жизни строгой нарядностью Большого зала, навсегда звучит во мне классической музыкой. Эти вечера, это время — как одна общая симфония под названием «Вскоре после войны».

ДВА УТРА

Я хочу рассказать о своем институтском друге. Его жизнь стремительно прошла предо мной по широкому экрану молодости. Этот фильм длился пять лет и помнится во всех подробностях.

Я назову его здесь Валей. Он был русоволосый, синеглазый, как и остальные, недавно с войны.

В небольшом общежитии не было гардероба, шесть наших зимних пальтишек плотно висели на четырехкрючковой настенной вешалке. Посторонние не раздевались. Приходившие в гости девушки, не снимая шубок, стесненно сидели на стульях около кровати навещаемого — словно возле больного. Впрочем, что тут было сидеть. Он тотчас одевался, и они уходили в хрустящий зимний вечер, в его белую полутьму — погулять, а если случались деньги, посидеть в кафе «Мороженое», где можно было получить и что-нибудь более горячительное, чем сливочный пломбир.

К Вальке ходила Рита. Он познакомился с нею на поэтическом вечере, где выступал, и она искренне и просто привязалась к нему. Она была, как тогда говорили, с о л и д н а я, плотная, чуть выше его. При взгляде на ее миловидное спокойное лицо вам не могли не прийти в голову мысли о чистоте и верности. Если мы ехали выступать в какой-нибудь клуб или институт — тогда это было заведено,— она всегда была с Валей и сопровождала как бы и остальных.

Наступила весна, можно стало посидеть в сквере, на укромной скамеечке — все начали возвращаться позже. Потом — сессия, экзамены, и наконец — каникулы, лето, разъезд. Одни ехали в командировку, большинство — по домам, я собирался в гости к другому своему другу — на Черниговщину.

Валька сказал Рите, что поедет на Балтику, в Кронштадт. Но сперва ему нужно завернуть к товарищу тех лет и захватить его с собой, чтобы написать о нем. Один только я знал, куда он едет в действительности.

В зимние каникулы он побывал дома, у родителей, в маленьком, отдаленном от железной дороги районном городке. Там он познакомился с Леной. Вернее, он и прежде был с нею бегло знаком, но теперь, встретясь, познакомился заново, близко, и провел с нею все время — как во сне. Она была в отпуске,— только что закончила медицинский институт, получила назначение, и они уговорились, что летом он к ней приедет.

— А как же Рита?— спросил я.

Он развел руками:

— Вот так.

Мы провожали его летним теплым вечером на Казанском вокзале. Стояли около общего вагона, курили. Время от времени он брал Риту под руку, отходил в темноту вдоль состава, прощался. Потом он стоял на площадке рядом с проводницей и махал нам. Потом мы брели поздними московскими улицами к общежитию, и Рита долго шла вместе с нами. Она чувствовала себя в нашей компании своим человеком, ей не хотелось с нами расставаться.

А скорый ходко понес Вальку на восток. Только осенью он рассказал мне, как все это было.

На разъезде, где работала Лена, скорые не останавливались, он сошел раньше и добирался на местном. Она жила у самых путей, в одноэтажном длинном здании барачного типа. У нее была отдельная комната. На столе, застеленном льняной скатеркой, стоял букстик полевых цветов, на стенке висела его, Валькина, фотография. Сразу обратило на себя внимание то обстоятельство, что в комнате была только одна железная узкая койка — никакого дополнительного диванчика.

Они расцеловались, да и дальше, пока сидели за столом, целовались то и дело, но как-то несколько скованно, и все смотрели друг на друга, и говорили друг о друге и об общем для них родном городке. Лена была фигурой потоньше, чем Рита, но в ней замечались те же спокойствие и степенность, она была женщиной того же типа и, вероятно, этим подсознательно и нравилась Вальке.

Наступало время ложиться спать, Валька был парень бесхитростный и особенно любил таким казаться, и прямо спросил:

— А мне, что же, на полу постелишь?

Она засмеялась:

— Кто это таких гостей на пол кладет?

— Сама на полу?

Тут она серьезно посмотрела на него и спросила:

— Слушай, ты зачем приехал? — и поскольку он не стал разъяснять причину своего прибытия, помолчала и, чуть краснея, сказала: — Ты не думай. Я хоть и в Меде училась, и о нас слава такая, а никого у меня до сих пор не было.

Она погасила свет, и они легли,— Валька с самого краешка, на железный костяк рамы. Так они лежали неподвижно в темноте, только товарняк долго гремел где-то рядом. Она сама слегка придвинулась к нему, а он обнял ее и прошептал в самое ухо:

— Ничего не было? Ну, и не нужно пока. Успеем.

Она замерла, застыла, и тогда он на миг прижал ее к себе, чтобы она почувствовала его силу. Она тут же расслабилась, и он ощутил лбом, что у нее из-под ресниц выступили слезы. Так она и заснула в его объятиях.

Его рассказ потряс тогда мое воображение.

— Ну, как же ты? — только и нашелся я сказать.

— Так надежней,— объяснил он мне просто.— А то мало ли что...

Рассвело. Он осторожно, чтобы не разбудить, освободил ее от объятий, оделся и, встав на подоконник, беззвучно и ловко вылез в большую казенную форточку. Слабое утреннее солнышко грело землю, он сел на лавочку, достал пачку «Бокса», выщелкнул из пачки папироску, затянулся и стал смотреть на проходящие в обе стороны поезда, тяжелые товарные составы, дребезжащий порожняк, элегантные экспрессы. Под ними, пружиня, чуть оседали рельсы, смерчем закручивались мусор и пыль. Так и сидел он, пока она не позвала его из окна — завтракать.

Он пробыл там несколько дней, и они твердо условились пожениться. Думаю, главную роль сыграло то, что они земляки, что все в родном городке у них уже есть,— Валька не был уверен, как сложилась бы его дальнейшая жизнь в столице.

Глубокой осенью к нам в общежитие пришла Рита. К счастью, Вальки не было в комнате. Она остановилась на пороге, поздоровалась, посмотрела на каждого очень внимательно и, стараясь не показывать волнения, осведомилась, все ли в порядке у Вали. Ее завс-

рили, что все — и в полном. Она поблагодарила и ушла, больше ее не видели.

К концу учебы Валька женился. Лена родила ему мальчика. Они стали жить у ее родителей, у них был большой дом, а она единственная наследница. Теперь она работала врачом в родном городке, Валька писал стихи и рецензии и посылал в редакции. Родители Лены выращивали помидоры — на продажу. У них дело было поставлено на широкую ногу — теплицы, рассада, все как полагается. И собирали, как следует. Головой всему был Валькин тесть, инвалид войны, он возился около грядок с рассвета до ночи. Теща больше занималась реализацией.

Однажды Валька проснулся чуть свет — он привык вставать рано, еще с флота,— вышел на заднее крыльцо и увидел хромающего между грядок тестя. Тот приветственно помахал ему рукой, а потом сделал знак: иди сюда. Валька подошел. Тесть присел, вытащил из-под куста четвертинку и вопросительно глянул на Вальку: «Как с утречка?» Затем развернул мокрую от росы тряпочку с солью и открутил с куста оранжево-красный помидор с чубчиком. Валька тоже опустился на корточки. Тесть выбил ладонью пробочку, набулькал половину Вальке в граненый стакан, они чокнулись, и Валька выпил легко, как воду. Тесть разломил помидор пополам, половинку подал Вальке. Овощ был внутри плотный, сбитый, почти без жидкости. Валька присолил его не желающей рассыпаться мокрой солью и ел с наслаждением.

— Порядок?— подмигнул тесть, тоже очень довольный.— Ну, ступай...

Вставало солнце, в низинах лежал туман, все еще спали.

Иногда Валька приезжал по делам в Москву, обязательно видался со мной и как-то ни с того, ни с сего признался, что все у них было хорошо только вначале, что сейчас его семейная жизнь скрипит и разлаживается.

Потом Лена ушла от него, а затем вскоре у ш е л и он,— безнадежно заболел и на удивление быстро ушел из жизни.

Последний раз я встречался с ним за месяц до конца. Он осунулся, помрачнел, но мне и в голову не могло прийти, что я вижу его действительно последний раз.

Здесь он и рассказал мне о том утре между грядок и заметил с грустью, что, может быть, это было самое счастливое утро в его жизни после войны.

— Не из-за водки, конечно,— уточнил он тут же и, подумав, добавил:— И еще, пожалуй, то, на разъезде...

Он вздохнул и поднялся. Ему пора было уезжать — навсегда.

МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ САША

У него была замечательная, подаренная кем-то, очень толстая китайская авторучка. В нее набиралось чуть ли не полпузырька чернил. А писал он в общих тетрадях под клеенчатой обложкой. Мог сесть и писать без остановки, пока свет не выключат.

Он сочинял идиллические рассказы о деревне. Он еще не догадывался, что должен писать про войну. Про море. Про то, как волна у причальной стенки готова разбиться вдребезги, лишь бы доказать свою силу и правоту. О придурковатых криках чаек. О стальной палубе катера, по которой гремят в полутьме незашнурованные по тревоге ботинки. О том, как во время боя заклинило башню и его освободили только через двое суток, когда пришли на базу и разрезали броню автогеном.

Ему нужно было сразу писать об этом, но ведь никто не надоумил, а сам он тоже не скоро додумался.

Как все моряки, клешá он клал на ночь под матрас, а по воскресеньям утюжил на кухне общежития огромным, наполненным раскаленными угольями утюгом, отпаривал сквозь мокрое отжатое полотенце. Утюг готовила уборщица Зина — как самовар.

Мы с ним корешковали, вели общее хозяйство, вечерами часто гуляли по Москве.

Однажды он сказал небрежно:

— С девушкой хочу познакомить. С Оксаной.

— Меня?

— Посмотришь, во девка!

Эту фразу он повторял по дороге туда несколько раз.

Помню, нас почему-то мучила жажда, и мы выпили на углу по кружке пива. Так и вижу, как мы стоим друг против друга, держа пузатые граненые кружки, а в левой руке у каждого — горящая папироска.

Ехали на метро, вышли у привокзальной площади.

— Посмотришь, во девка!

— А я-то зачем?

— Ну, мало ли что. Вдруг у нее подруга, я тебе мигаю, ты говоришь: «Давайте я вас провожу»...

— На хрена мне ее провожать!

— К примеру. А пойдем куда-нибудь или дома останемся, я тебе мигаю, ты говоришь: «Эх, забыл, мне ведь нужно в Историческую библиотеку».

— Она уже закроется.

— Еще будет работать...

— Я тебе говорю.

— Хорошо, я тебе мигаю, ты говоришь: «Мне нужно на выступление».

— Я скажу: на обсуждение.

— Во! Прекрасно.— И опять:— Посмотришь, во девка!

Подошли к двухэтажному дому. Номер квартиры значился прямо на наружной двери. Сашка позвонил. Очень долго не открывали, потом дверь все же отворилась. На пороге стояла высокая девушка в длинном халате.

— Здравствуй, Оксана!— сказал Сашка прочувствованно.— А это мой друг, некто Костя.

Она даже не улыбнулась и стала подниматься по крутой деревянной лестнице.

Сколько потерял я в молодости дружков и приятелей из-за неразумности их жен и подруг! Достаточно было с их стороны самого слабого, неосознанного оттенка равнодушия, смутного холодка, и меня уже невозвратимо отбрасывало в сторону.

Оксана поднималась первой, что вообще-то являлось нарушением корабельных правил, этики трапа, о чем Сашка, разумеется, знал, хотя на кораблях, где он служил, никогда не бывало женщин. Правда, Оксана была в длинном халате.

Она поднималась первой, Сашка за ней, я замыкал шествие. А наверху, над нашими головами, били пулеметные очереди. Хотя, скорее, автоматные. Оксана, однако, поднималась безбоязненно.

Мы оказались в большой комнате, заваленной ворохами синего сатина. За двумя швейными машинами сидели, как выяснилось, мать и тетка Оксаны, швеи-надомницы, шившие халаты для ремесленных училищ. Работа у них была сдельная.

Они разом остановились, наступила тишина, мой друг поклонился и несколько чопорно представился:

— Молодой писатель Саша...

И они в ответ тут же опять застрекотали на своих машинах.

Я всю жизнь поражался, как это люди не стесняются вот так называть себя. Писатель... Поэт... Но у него получилось как-то беспомощно-наивно.

Я же, конечно, не пропустил, запомнил и уже до конца называл его так.

За окошком были видны зеленые спины поездов, пригородные кассы, копошение толпы у ларьков. Я сидел в уголке дивана, меня клонило в сон, и я обо всем забывал, идя сквозь волну автоматного боя.

Когда же я заставлял себя открыть глаза, я видел, что Оксана сидит в кресле, плотно запахнув хáлат на коленях и положив сверху закрытую книгу. Названия ее не было видно, так как книга была аккуратно обернута бумагой,— в моем детстве говорили: обложена.

Саша сидел на стуле и, наклоняясь к Оксане, что-то горячо говорил. Можно было подумать, что он просит ее руки. Складка на его черных брюках была безупречная.

Тут швеи снова, как по команде, остановились, и я услышал, что Сашка приглашает ее в кино.

Она ответила:

— Я лучше за это время прочту двести страниц текста...

Она готовилась к экзаменам.

И, видя обескураженное Сашкино лицо, я вскочил с места, всплеснул руками и крикнул:

— Саша! Мы совсем забыли. Нам же нужно в Историческую библиотеку!— И, помолчав, добавил:— На обсуждение.

И, не дожидаясь его реакции, я кивнул хозяйкам и стал спускаться по их сухопутному трапу. И уже внизу с облегчением услышал, как ловко, по-матросски, сбегает по ступенькам следом за мной Сашка.

Мы закурили. Уже давно наступил вечер.

— Подумаешь!— сказал я.

— Двести страниц текста!— простонал Сашка.

Эту фразу он повторял всю обратную дорогу.

— Что ты в ней нашел?..

— Тек-ста!

Назад мы шли пешком. Сашка здорово ориентировался.

Мы шагали по темным улочкам и переулкам, где у ворот стояли ребята и девушки, слышался смех, звучала гитара. Женский голос кого-то звал из окна. Мы неожиданно попадали на ярко освещенные магистрали, будто внутрь помещения, в зал или в фойе, и пересекали их, вновь погружаясь в зыбкий колеблющийся полумрак.

Сашка время от времени бил себя кулаком по колену и вскрикивал:

— Двести страниц текста!

— Да ладно,— успокаивал я его.

Молодой писатель Саша выпустил-таки свою книгу. Ее заметили, дружно хвалили, по ней был отснят фильм.

И Оксана написала ему. Что вышла замуж, что несчастлива, что очень переживает, ругает себя и упрекает мать и тетку.

Но сам письма этого я не видел. Мне пересказал его молодой писатель Саша.

Окно



«ТАМ, ГДЕ СЕМЕНОВСКИЙ ПОЛК...»

Электрический сигнал на занятия загремел по всему зданию таким повелительным, оглушающим звоном, словно это происходило где-нибудь на линкоре или в подземном укрепленном каземате и могло означать только одно — боевую тревогу. Вслед за этим можно было ожидать слитного топота десятков или сотен ног по надраенным ступеням стальных трапов.

Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Виталий Андреевич Суханов, чуть поморщась, встал, взял свой темно-вишневый в никелированной оправе «дипломат», улыбнулся Шурочке и начал спускаться.

Он принадлежал к категории людей, выглядящих значительно моложе своих лет, что особенно заметно проявляется с возрастом. Стройный, подтянутый, худощавый, почти без седины в светлых мягких волосах, он неспешно спускался по лестнице мимо докуривающих в положенных или в неположенных местах, в меру торопящихся студентов. Он обладал по-настоящему спортивной фигурой, но это было скорее от природы: спортом он увлекался только в детстве и ранней молодости, а сейчас считал, что за войну уже выполнил свою норму.

Стояло начало дня 6 мая — то есть еще длился и был в разгаре тот замечательный промежуток между Первомаем и Девятым, когда другие красные числа — День печати и День радио — как бы специально поддерживают эту непрерывную праздничную линию, не дают прерваться ее яркой ковровой дорожке. И нежная зелень за высоким лестничным окном подсвечивалась где-то вдали красными полотнищами и щитами.

Он свернул к нужной аудитории и успел заметить, как две студентки с его семинара, оглядываясь, отпорхнули от нового застекленного стенда. Он приостановился. Сверху было написано золотом: «Сотрудники института — ветераны Великой Отечественной войны». Ветеранов осталось немного. Старик замдекана Петр

Михайлович. Если вы стояли рядом с женщиной — перед началом ученого совета или в деканате,— он обязательно протягивал вам руку, но тут же отдергивал ее со словами: «Нет, сначала с дамой...» Молоденькая мордашка лаборантки с их кафедры Шурочки. Вахтер Иван Афанасьевич с медалью «За отвагу». Но, рассматривая эти фотографии, он все время боковым зрением видел свою и наконец глянул себе в глаза, и у него перехватило горло. «И где они только взяли?» — подумал он о снимке. Ночью, лежа рядом с Люсей, он сквозь сон внезапно ощутил острейший, как иглой в сердце, укол тоски и почти проснулся в страхе, но тотчас провалился снова и, встав утром, совсем забыл об этом. А сейчас сразу, опять до боли, вспомнил.

За дверью висел смутный ровный гул. Он потянул ручку, и стало тихо.

Суханов вел спецкурс. Посещение было свободное, и всякий раз, не притупляясь, обдавало радостное чувство, когда он видел, что аудитория набита битком.

Все нестройно встали. Он поздоровался, прошел к кафедре, положил «дипломат» рядом на стол и задумчиво осмотрел присутствующих.

Он смотрел на этих славных ребят, которые благоволили к нему и которых он не всех знал одинаково. Одни молча и неотрывно писали, пока он говорил, или же, напротив, ничего не записывали и почти никогда ничего не спрашивали. Сообщения, если они их делали, бывали из рук вон. Но он по опыту давно уже определил, что это еще ни о чем не говорит, что они либо оставались и дальше такими, либо в них с годами что-то менялось, накапливалось, раскрывалось. Он и себя самого причислял к этим последним. Были еще отличники, которые все знали. К ним он относился равнодушно. И были те, что соображали, «секли». Ради них и стоило заниматься делом.

И сейчас, подняв голову, Суханов посмотрел, здесь ли его лидеры. Те, как всегда, были на месте, сидели в разных концах, поодаль. И тоже, как всегда, две девицы с первого стола били по нему подведенными глазищами в упор, прямой наводкой. Были ли они действительно влюблены в него, как считалось, или хотели смутить его? Но они сидели так всегда и отвечали невпопад, когда он к ним обращался. Впрочем, если они

подобным образом смеялись над ним, считая, что он стар, то они глубоко заблуждались.

Он подошел к окну и посмотрел в сад. Он любил это окно еще со своих студенческих лет — и багряную листву американского клена за его створками, и голые черные стволы лип среди нетронутой утренней белизны, и вот эту первую нежную зелень. Он любил звон трамвая, которого здесь давно уже не было, и промельк шелестящего по мокрой от дождя мостовой желто-синего троллейбуса.

— Ну что же, приступим,— сказал он.— Продолжим нашу беседу. Есть предложение провести занятие без перерыва. Ну и прекрасно.

Он специально говорил это несколько официально, как на собрании. Он начал читать, то прохаживаясь вдоль старой, выцветшей черно-серой доски с нестертым окончанием фразы: «...сдавать по 2 р. Шумилову», то надолго останавливаясь возле стола. Читая, он порою думал о разном, о постороннем, замечал и отмечал многое.

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА СУХАНОВА

Помнится, в середине пятидесятых годов возникла бурная волна протеста взрослых радиослушателей против регулярного исполнения по радио (да еще в лицах!) сказки о Красной Шапочке и Сером Волке. Было замечено, что маленькие дети повсеместно, слушая ее, излишне нервничают. Может быть, новое поколение оказалось более впечатлительным или же средство массовой информации сработало слишком мощно.

Со временем мой сын рассказал мне, что подозревал свою бабушку — особенно в вечернем полумраке комнаты, при укладывании спать — в том, что и она переодетый волк. Можно себе представить, каких ужасов мальчик натерпелся.

Как бы там ни было, сказка исчезла из дошкольного репертуара. (Теперешние сказки, скажем, из телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», напротив, удручающе безобидны.)

Но вот что интересно: почти все сказки, слышанные нами в раннем детстве, читанные нам вслух, написаны, собственно, не для детей.

Одни сюжеты чего стоят! Умерла любимая, нежная мать, слабохарактерный отец женился на другой. Хитрая, злобная мачеха, жестокие ее дочери, смертельная опасность, исходящая от них. А Синяя Борода, поочередно тайно убивающий своих жен! Разве это для детей? Да и после «Трех медведей» не сразу придешь в себя.

А у Пушкина! Я уж не говорю, конечно, о вещах откровенно фривольного содержания. Но ведь мотив «Сказки о рыбаке и рыбке» — это же для взрослых, умудренных жизнью, опытом. А в «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» почти в начале говорится:

А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

Ясно, что это не для маленьких. Еще слава богу, что не делалось в этом месте купюр. Наверное, те, кто их делает, не обратили внимания, не заметили, а то бы не пропустили. Или в «Сказке о попе и работнике его Балде», говоря о том, сколь удачно прижился Балда в поповом доме, автор замечает:

Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей...

Конечно, невозможно предположить, что это действительно его ребенок, так как Балда нанимался всего на один год. Однако ситуация наталкивает на догадку, что отношения его с попадьей именно таковы, что совсем не случайно «попенок зовет его тятей».

Суханов прохаживался вдоль доски и мельком думал о том, что нужно будет не забыть купить вина — появилась в Столешниковом «Бычья кровь». И о том, что Люся заедет за ним в институт,— он и заниматься-то предложил без перерыва поэтому. Она носится сейчас на «Жигулях» по Москве. Дело в том, что ребята — так они называли сына Вальку и невестку Риту — отремонтировали наконец полученную квартиру и купили мебель. Осталось переехать. И еще он думал о Девятом,

о предстоящей встрече. Он мельком думал об этом и увлеченно говорил о другом, а что-то не отпускало. И он знал что.

...И все-таки как читаются в детстве эти сказки, написанные не специально для детей! Последнего обстоятельства мы попросту не замечаем, не знаем.

Разумеется, это касается не только сказок. Вот совершенно прозрачные, откуда-то из ранней школьной программы стихи «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет...

Думается, это единственное стихотворение, написанное Пушкиным как бы из домика няни. Действительно, можно допустить, что «обветшалая кровля», и солома, которая по ней зашумит, и даже печальная и темная «ветхая лачужка» — это отчасти авторский домысел: как известно, сам барский дом был весьма скуден и беден. Веретено тоже вполне допустимо — нянин домик стоял совсем рядом и, вполне возможно, она устраивалась с вечерней работой подле своего любимца. Но предпоследняя строка, как мне кажется, опровергает все это и служит доказательством в пользу нашей версии. «Где же кружка?» — так можно обратиться только к хозяйке дома. Да и кружка — не бокал, не стакан, не чаша. Ясно, что он в этот вьюжный вечер зашел в ее домик — как бы в гости, на огонек. Может быть, мысленно. Согласны? И опять же «выпьем с горя» и «сердцу будет веселей» ничуть не смущают маленького читателя.

Он помолчал и вдруг воскликнул с восхищением:

— Все-таки поразительный человек Пушкин! Чего ни коснись.

Вновь я посетил тот уголок земли,
Где я провел изгнанником два года незаметных...

Два года, которые он провел изгнанником, ссыльным, прошли незаметно. Только вдумайтесь: «два года незаметных»!.. Вы что-то хотели сказать, Шумилов?

Поднялся сзади румяный здоровяк с кудрями по самые плечи.

— Виталий Андреевич,— произнес он неожиданно

глухо,— а может быть, незаметных для других? Для тех, кто его забыл, для кого он стал незаметным?..

— Мысль интересная,— отвечал Суханов с удовольствием,— и все-таки это не так. Перечитайте. Незамётных в этой быстротекущей, меняющейся и заменяющейся жизни, полной мыслей и трудов.

9 мая они собирались сначала в Парке культуры, ветераны их гвардейского корпуса, у фанерного транспаранта с названием и нарисованными орденами — среди шума, музыки, объятий и слез, вблизи таких же бывших частей и соединений. Просто стояли и разговаривали, они уже знали друг друга и смотрели по сторонам, не подойдет ли еще кто. И ведь сколько лет миновало, а подходили, прибивались новые. Кружили около, потом приближались осторожно, неуверенно, переспрашивая. И вдруг: «А ты кто? Да мы же, да мы же...» И всякий раз в такой день он остро, зорко смотрел по сторонам, ждал, выискивал — час, два.

А затем ехали на другой конец, на ВДНХ, в «Золотой колос», сидели за столиками, выступали, вспоминали, пели, но он бывал тих, у него уже не хватало сил и возбуждения.

Но насколько не похожи друг на друга три названные мною безусловно главные сказки Пушкина. Даже тем, как по-разному они написаны. «Сказка о рыбаке и рыбке» — энергичным белым стихом-сказом. «Балда» — к нему мы еще вернемся — удивительно свободно и смело в смысле ритмики и рифмовки. «Сказка о царе Салтане» — наиболее напевная, если угодно, изящная, прелестная вещь. И сколько в ней всего — первым делом ассоциаций, связей, внутренних нитей.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

— Ну что там, Шумилов?

— Извините, Виталий Андреевич. Это я ей объясняю, что большинство читателей запоминают не «хлещут», а «плещут». Так проще.

— Ну хорошо,— недовольным тоном согласился Суханов и продолжал:— Эти строки всегда смутно напоминают мне другую тревожную картину:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

И ведь действительно «Полтава» написана раньше.

.

В аудитории стояла тишина, которую физики могли бы назвать абсолютной.

Поразительную сладкую тоску всегда испытывал я при волшебной повторяемости строк:

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.

Однако потом, в третий раз, диалог между ними уже не повторяется, а лишь подразумевается — чтобы не стать утомительным.

А какое веселое, свободное стихотворное повествование:

Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты.

И сколько здесь заложено всего, что развилось впоследствии в отечественной литературе. Дядька, предводительствующий тридцатью тремя богатырями, объясняет Гвидону:

«...А теперь пора нам в море,
Тяжек воздух нам земли».

Думаю, в то время мало кто мог это по достоинству оценить. Отсюда пошло — уже в нашем веке — множество фантастических романов и рассказов («Человек-амфибия» и прочее).

Тяжек воздух нам земли.

А то, что написано все это не для детей, не только для них, подтверждается то и дело, хотя и не столь очевидными примерами, как приведенные мною вначале.

«Что я? Царь или дитя?» —
Говорит он не шутя...

Не отсюда ли десятилетьями гремевшее с русской сцены:

Царь я или не царь?..

А строки:

Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь —

неожиданно напоминают нам, что автор сам незадолго перед этим женился.

Под самым окном прошуршала и остановилась машина. Он сперва еще нарочно прошелся в другую сторону, затем, не убыстряя шага, обратно до окна и, продолжая говорить, мимолетно глянул наружу. Люся в аккуратных вельветовых брючках протирала лобовое стекло. Задерживаться хотя бы еще на миг было рискованно — несколько голов уже с готовностью повернулось за его взглядом,— и он столь же степенно направился к противоположной стене.

Повторяю, три названные сказки Пушкина удивительно не похожи одна на другую. Но разумеется, в них есть и общее. Это прежде всего замечательная энергия зачина и столь же блистательная краткость концовки, развязки. И то и другое глубоко свойственно природе русской сказки.

«Уже в рифму заговорил»,— подумал он о себе с невольной усмешкой.

И еще — во всех трех фактически одним из главных действующих лиц, а не только пейзажным фоном, является море.

Море вообще произвело сильнейшее впечатление на поэта и с момента первой встречи присутствует во многих пушкинских стихах. Он возвращается к нему в мыслях бесконечно.

Среди прочих гениальных формул искусства существует и такая: «Певец зимой погоды летней». Знаю, Алексей Иванович, знаю, не волнуйтесь. Это написал, как принято говорить, тоже Александр Сергеевич, но только

другой, а именно — Грибоедов. Причем у него это сказано в ироническом смысле:

Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой природы летней.

Алексеем Ивановичем он называл Лешу Лаптева, другого своего корифея и доку. Тот уже отслужил в армии, и Суханов почти подсознательно всегда ставил ему это в заслугу.

Так вот возьмем в данном случае только вторую строку. Необходимость для художника временного отступления от описываемого предмета.

Быть может, отчасти благодаря известному полотну Репина и Айвазовского, где поэт изображен стоящим на морском берегу, у нас остается впечатление, что стихотворение «К морю» там и написано. А как же еще?

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

А написаны эти стихи лишь потом, в Михайловском. Пушкин как бы задним числом выполняет обещание, выраженное в последней строфе:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И не только реальное, дорогое сердцу море перенес он в свою и в нашу жизнь, но и море необыкновенное, населенное благородными богатырями, неотесанными чертями, всемогущими золотыми рыбками.

Суханов опять мимоходом глянул в окно. Люся сидела за рулем и читала книгу.

Понятно, что без моря не могло быть ни «Сказки о царе Салтане», ни «Сказки о рыбаке и рыбке». Есть море и в «Сказке о попе и работнике его Балде». Но сперва о другом.

Эта вещь написана с совершенно необычайной свободой, редкостным разнообразием разговорных инто-

наций, варьированием стиха. А рифма! И абсолютно точная (по лбу — полбу) и так называемая корневая (полбы — полный), столь распространившаяся у нас начиная с середины пятидесятых годов нынешнего века. Зачин:

Жил-был поп,
Толоконный лоб.

Может быть, не все знают, что толоконный лоб — выражение идиоматическое, означающее дурак. Таким образом, с самого начала заявлено, что поп — дурак. Балда — и по имени видно — тоже дурак, но иного склада и толка, он вроде Иванушки-дурачка, который на поверку оказывается умнее многих.

Поп ищет «служителя не слишком дорогого». Однако ему требуется в одном лице «повар, конюх и плотник», то есть работник с обязанностями весьма разнообразными. Но Балда делает еще больше: пашет, «нянчится с дитятей». И везде оказывает «свое усердие и проворье».

Люся стояла, прислонясь к машине, и тут же помахала ему.

Перечень работ и употребляемых в доме продуктов, лексика и весь строй вещи показывают, что дело происходит в типично средней полосе. И вдруг запросто:

Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря...

То есть море оказывается рядом. На то и сказка. Тут, у моря, она в большой степени и проявляется: невероятность положений, недалекость чертей, смекалка Балды. Но, строго говоря, море в этой сказке в отличие от тех двух необязательно. Соревнование Балды с чертями могло проходить в любой обстановке.

Выиграв у чертей, Балда тем самым выигрывает и у попа. Предварительный совет попадьи коварен, особенно если вспомнить наши предположения о ее отношениях с Балдой. Но хотя

Ум у бабы догадлив.
На всякие хитрости повадлив,—

победителем выходит Балда.

И теперь о трех щелках — об этом совершенно сказочном и действительно детском уговоре. Зачем Балде понадобилась такая плата? Ответ вижу один: исключительно из ненависти вообще к церкви. Поп не в состоянии тягаться с Балдой.

...с третьего щелка
Вышибло ум у старика.

А был ли он прежде, ум-то? По сути, поп и черти оказываются одинаково несообразительными перед веселой и естественной народной смекалкой. Вот так.

Он вытащил из кармана клетчатый платок и вытер лоб. Они дружно ему захлопали. Он внимательно и с любопытством смотрел на них, дивясь, какие они еще дети. Даже Леха Лаптев.

— Да,— сказал он, кивая на доску.— Шумилов, я все гадал, что сие значит.

— Извините,— объяснил Шумилов, вставая и встряхивая своими девичьими кудрями,— не стерли. Это на экскурсию на телебашню. Я же профорг. Со скидкой.

— Но не с башни,— вставил кто-то.

— Так, хорошо. Кто готовит сообщение для следующего семинара? Слушаю вас, Алексей Иванович.

— Я бы хотел,— чуть смущаясь, сказал Лаптев,— сделать краткое сообщение «Птицы в русской поэзии».

— Замечательно, просто замечательно. Диссертацию можно написать. Ну, не диссертацию — диплом. Знаете, как в научной литературе полагается алфавитный указатель названий или имен, так можно подготовить аппарат и к некоторым художественным произведениям — скажем, перечень птиц, зверей, растений в той или иной книге. Но разумеется, в работе должны быть не просто эти списки, а система, динамика сравнения, находки. Только давайте договоримся — без соловьев. Те слишком уж на поверхности. Пойдет? Или хотите с соловьями?

— Без соловьев! — отвечали все, кроме Лаптева.

— С соловьями будет громоздко,— утешил он Лаптева.— Для вас же слишком просто. Ведь про соловьев все знают. Все, хотя и не всё. Давайте попробуем вспомнить...

— «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»,— вдруг сказала одна из девиц с первого стола.

— Точно,— обрадовался Суханов.— Эти фатьяновские соловьи — песня моей молодости...

— «Томительные наши соловьи»,— раздалось из середины.

— Кто? Дудин?..

— «Соловьиный сад» Блока...

— А у Твардовского помните?

И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградкой смутной.

— Молодец, Шумилов. Это ранний Твардовский. «Станция Починок».

— «Соловей мой, соловей, голосистый соловей»...

— А это чье?

— Алябьева?

— Алябьева музыка. А стихи Антона Антоновича Дельвига. Ну а теперь вы, Алексей Иванович. Вам и карты в руки.

— Я прочту из Пастернака:

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

А потом:

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

— Н-да,— помолчав, произнес Суханов.— И ведь что примечательно: обыкновенного соловья он сравнивает

с соловьем-разбойником. И то, что сам народ соединил эти два слова, поразительно. Ну и соловей! Разбойник! Вот какой соловей! Его колдовская сила оборачивается противоположностью. У раннего Исаковского «в перелесках щелкал стальной семизарядный соловей». То есть наган. Дальнейшее развитие — и какое! — соловья-разбойника. А то, что вы прочли, это поздний Пастернак, ясный, классический. Но ведь есть и ранний. Кстати, одно из его определений поэзии — «это — двух соловьев поединок». Но вот соловей у раннего Пастернака, по-моему, девятнадцатого года, верно, Алексей Иванович?

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Каково! А? Может, правда, зря соловьев из вашего сообщения вытолкнули? Как из гнезда. «...и сиял соловей»... Но и это детский сад по сравнению с тем, что уже было. И когда — в первой половине прошлого века!

И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей.

Знаете, кто это? Нет. Это Николай Михайлович Языков. Нет-нет, Шумилов, здесь вы не правы. Дело не в первом глаголе и не он его придумал, тогда так говорили. Похоже, будто он тащит вас тралом? Ну, это пожалуйста, сколько угодно. Главное во втором глаголе. Соловей вздыхал. Я прямо-таки ахнул, когда впервые натолкнулся на это.

— Виталий Андреевич,— опять поднялся Лаптев,— можно, я еще строфу?

Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада — в любви.

— Молодчина! — похвалил Суханов.— А какая человеческая интонация! Чьи? Если не знать — не угадаешь. Северянина.

— А посвящены Рахманинову,— с некоторой гордостью добавил Лаптев.

Перерыв со своим двойным электрическим треском прошел уже давно. Нужно было заканчивать. Суханов

снова мельком выглянул, Люся опять читала книжку. «Кажется, Сименон,— вспомнил он.— Тогда ничего».

— У меня есть маленькая внучка, чуть старше года,— неожиданно сказал он.

— Вы дед? — с нарочитым изумлением спросил под общее оживление высокий девичий голос.

— Да, и вы знаете — она ко мне очень привязана. И вот как-то раз ее внесли на руках в мой кабинет, а я лежал на диване и читал. Так она не хотела воспринимать меня лежащим, не желала этого понимать, нарочно смотрела мимо. Так и с этим бедным вздыхающим соловьем. Теперь-то мы восхищаемся, мы знаем все, что было потом, и не такое еще. Но тогда этого конечно же не могли и не хотели понимать и принимать. Это как бы из нашего века.

— Виталий Андреевич, разрешите вопрос тоже по поводу птиц,— сказал один из парней, не очень ему знакомый.— О кукушке. Ведь когда хлеба наливаются, кукушка больше не кукует — говорят, колосом подавилась. А у Николая Рубцова написано: «Коротаем осень меж болот» — и тут же: «Не кричи так жалобно, кукушка». Как понимать?

— Есть, по-моему, ложные кукушки,— разъяснил кто-то.

— Но не те дрозды, не полевые?

— Затрудняюсь ответить,— улыбнулся Суханов.— Не такой уж я орнитолог. Но сегодня же позвоню Василию Михайловичу Пескову, спрошу, если, конечно, он в городе... Ну что же, всё? Или еще вопросы?..

— Виталий Андреевич, есть ли бог?

В аудитории засмеялись.

— Бог? Что вы имеете в виду под этим понятием? Нравственное начало в жизни или некие силы, законы, фактически управляющие мирозданием?

— Силы.

— Разумеется, есть очень многое, чего мы не знаем и постепенно открываем, даже на Земле. Разумеется, все более, и чем дальше, тем быстрее, будут расширяться рамки вторжения во Вселенную. Узнать, открыть предстоит еще необыкновенно много. Инопланетяне и прочее — это все будет. В этом нет сомнений, беда в другом. Вот, грубо говоря, каждый из нас состоит из каких-то клеток и микрочастиц. Так вот, если даже предположить, что такая клетка мыслит, она мыслит только в

своем измерении, в своем же кругу, и не может знать, что сама является составной частью, скажем, Шумилова, не в состоянии его увидеть целиком именно по этой причине. Так же не только наша Солнечная система, но и окружающие галактики являются мельчайшей частью чего-то еще более грандиозного, живущего и находящегося как бы в другом масштабе, о чем мы можем лишь догадываться. Это основная трагедия человечества на пути к познанию.

— Мудрено,— сказала со вздохом одна из девиц.— И почему-то грустно.

— У физиков есть выражение: «Эта теория недостаточно сумасшедшая, чтобы с ней всерьез считаться»,— спокойно ответил ей Суханов.— Боюсь, что и у меня все слишком ясно...

Пора было идти, но что-то словно удерживало его. Словно ему жалко было с ними расставаться. И они это чувствовали.

— Расскажите еще что-нибудь, Виталий Андреевич!— попросил Лаптев.

— Рассказать?— Он взял сухую, пыльную от мела тряпку, стер зачем-то призыв о сдаче денег Шумилову и задумался.

Далеко за окном, за сквером звучал город, доносились слабо обрывки песни, это опробовали уличные репродукторы.

И он впервые сегодня открыто позволил себе вспомнить о том, что не отпускало его все эти два часа — с момента, как он увидел стенд фронтовиков в коридоре.

— Хорошо,— сказал Суханов,— я вам расскажу одну историю. Одну балладу. На прекрасной студеной северной реке стоял маленький районный городок. Это был старый городок, но в нем не было никаких достопримечательностей. А вот поблизости находился не старый, а старинный городок, еще меньше и тише, но именно он отнял у первого всю славу — там был музей ссыльных революционеров и два замечательных собора, хотя последнее обстоятельство стало цениться гораздо позднее. А в том городке, о котором я рассказываю,— ну ничего. Кроме реки, чистой, широкой, металлически-серой, какие бывают только на Севере. И вдруг в одной семье рождаются два мальчика. Близнецы! И представляете, они тоже становятся городской достопримечательностью. Его гордостью. Ведь раньше там

близнецов не было. Это вообще не такое уж частое явление. А близнецы оказались без обмана — как один. Не только отец — мать не различала. Ну, вы знаете, в детстве принято одевать близнецов одинаково. Однако времена были трудные, со снабжением худо, и матери не всегда это удавалось. Но они что придумали — начали надевать вещи друг друга нарочно, чтобы запутать. Особенно когда пошли в школу. Директор даже однажды приказал им иметь каждому какую-нибудь примету: прическу, скажем. Они не согласились: «Это нарушение Основного Закона...» — Он засмеялся: — Ну стервецы!.. В школе и на улице если их били, то только обоих, на всякий случай. Но они умели за себя постоять. Исключительно дружные были братья. Потом они выросли, стали юношами. И вот девушка, хорошая девушка, она была приезжая, гостила у родственников, понравилась одному из них, он гулял с ней, сидел однажды, обняв, над рекой, и тут они увидели второго, и она не поняла, кого же из них она полюбила. Хотя в принципе это, вероятно, не имело значения, если она не различала их. Она сказала: «Вам нужно разъехаться!» Они только посмеялись. Они смотрели друг на друга как в зеркало... В одинаковое их одели в сорок первом году. И в полку, куда они попали, они тоже были какое-то короткое время достопримечательностью. Командиру роты очень нравилось, что у него два одинаковых солдата. Но ведь не до этого было. Прибыли на фронт, и одного тут же ранило. Отправили в тыл. Потом второго — тяжелое ранение в кость, в ногу. Завезли черт-те куда, в Сибирь. Госпитали тогда большей частью помещались в школах, палаты — в классах с такой же доской. За окном снега, мороз. Первый вернулся в свою часть, второго — нет. А второй лежал семь месяцев, потом под Сталинград.

В аудитории стояла ничем не прерываемая тишина. Суханов вдруг заторопился.

— Они бы совсем потеряли друг друга, если бы из дома им не писали — кто где. Потом опять их обоих ранило, а одного дважды. А война — к самому концу. И вот приходит ему, ну, какая разница, тому, которого в ногу, уже после войны, сразу после войны, в самые радостные дни, письмо из дома. И сообщает ему отец, не мать, а отец, что получена ими казенная похоронка и еще письмо от друга, что пал его брат Валентин

смертью храбрых и похоронен в Венгрии в братской могиле на окраине города Чаквара. И страшно поразило, что похоронен он именно в братской могиле. Да. А второй брат вернулся домой к родителям, побыл немного и уехал учиться. Второй близнец. Собственно, один — он уже перестал быть близнецом. Вот так.

Теперь он открыто подошел к окну, знаком показал Люсе, что идет. Никто и не посмотрел в ту сторону.

— Значит, обо всем условились,— сказал он, взял «дипломат», который так ни разу и не раскрыл, громко попрощался и вышел.

Внизу на вахте был Иван Афанасьевич — видать, только заступил. На полувоенной гимнастерке сверкала белая крупная медаль «За отвагу» еще старого образца, до февраля сорок третьего, на маленькой красной колодочке. Суханов всегда уважал боевые солдатские награды и не был подвержен в этом смысле сдвигам моды, но он считал, что им место на гимнастерке или кителе, а не на кожаном пиджаке или замшевой куртке.

— С праздничком, Виталий Андреевич,— сказал вахтер, поднимаясь.— С наступающим...

— И тебя тоже, Иван Афанасьевич, с нашим солдатским,— ответил Суханов, приобнимая его одной рукой за плечо.— Только не с праздничком. Праздник это! Разница ясна?

— Все понятно, Виталий Андреич.

Люся похаживала около «Жигулей», как ямщик вокруг застоявшейся тройки, одновременно с нетерпением и достоинством. А от калитки вышагивал замдекана Петр Михайлович с туго набитым портфелем, он еще издали махал свободной рукой и, приблизившись, торжественно выкрикнул: «Доблестному воинству!» — протянул руку, но тут же, словно опомнившись, отдернул ее и дощечкой подал Люсе:

— Сначала с дамой.

Суханов бросил свой вишневый плоский чемоданчик на заднее сиденье и с чувством усталости сел рядом с женой.

— Пристегнись,— приказала она строго и стала выруливать со двора.— Все хорошо?

Он сидел справа от нее, испытывая блаженное облегчение. Он был, как всегда, еще несколько возбужден лекцией. Больше, чем всегда.

Люся плавно вела машину. Откуда это пошло? От подсознательного желания мужчины доверять женщине, жене? От стремления женщины самоутвердиться? Но водила она хорошо — в меру осторожно и в меру решительно. И еще умела выбирать удивительно верный тон в разговорах с инспекторами ГАИ при мелких нарушениях.

— Я ехал сегодня в троллейбусе, впереди сидят двое малых, и один другому что-то рассказывает. Вдруг слышу — говорит: «Взял ее за абордаж». Что он имел в виду, я так и не понял.

Она засмеялась:

— Вечно ты замечаешь какие-нибудь глупости.

— Куда едем?

— Сначала в Столешников. А потом мне нужно на Семеновскую, там в аптеке есть ноотропил.

— Там, где Семеновский полк,— сказал он.

— Что?

— Семеновский полк. А на Преображенке стоял когда-то Преображенский полк Петра. Я после войны, еще, по сути, солдатом в душе, ехал в трамвае и вдруг вижу: «Улица Девятая рота».

— Да, есть такая.

— Там, видимо, рота и стояла. Я прямо сойти хотел. А то, о чем я говорю, тот Семеновский полк находился в Петербурге. Баратынский был в него зачислен в восемьсот девятнадцатом году.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком в панталонах трикотовых, тонких.
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя: какое в россиянах чувство!

— Это Баратынский?

— Нет, Дельвиг. Но с участием Баратынского. Шуточные стихи.

— Это я уж как-нибудь поняла. Даже то, что это гекзаметр.

— Я потрясен и вполне бы взял тебя в свою группу. И без дураков, ты бы ее украшала. А каковы стихи! Вся картина, весь быт в восьми строках!

Так они ехали по междупраздничной Москве в свежей зелени, красных флагах и фонарях в виде громадных гвоздик. Над улицей из репродуктора вдруг пробно прогремел хрипловатый голос Бернеса: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая» — и тут же прервался.

— Пушкин писал когда-то, кажется в «Метели», о возвращении нашей армии из Франции после победы над Наполеоном: «Музыка играла завоеванные песни». «Да здравствует Генрих Четвертый», тирольские и что-то еще. Правда, здорово — «завоеванные песни»? А мы пели свои, да и сейчас поем тоже. Ну что там слышно у них?..

— Я всегда дивилась твоей памяти.— Она мягко остановилась у светофора и так же мягко двинула машину дальше.— Звонят утром: мебель не устанавливается. Валька одно, Рита другое. Знаешь, есть такая четырехугольная игрушечка, забыла, как называется, где квадратики с цифрами нужно расположить по порядку? У одних сразу получается, у других никак. Так и с мебелью. Тьфу, опять только направо... Я им по телефону: «Не помещается? А вы тахту к другой стене, а шкаф на ее место. А стол не посредине, а по диагонали». Звонят: вроде выходит.

Он восхитился.

— Вот это класс! Ты как шахматист, играющий, не глядя на доску...

Он поерзал, невольно ища удобного положения, слегка развернувшись корпусом к ней, наискосок перехваченный ремнем.

— Ты чего?— спросила она, отметив это мгновенно.

Он медленно стал опускать руку в карман и вынул тонкую стеклянную трубочку с нитроглицерином.

— Ты чего такой бледный? — крикнула она.

«А ты? » — хотел спросить он, но тихо сказал вместо этого:— «Там, где Семеновский полк...»

Молодой бравый постовой, пружинисто похаживающий по осевой и ритмично помахивающий пестрым, черно-белым жезлом, полный возмущения, потрясенно засвистел, увидев, как почти на него круто выруливают через сплошную линию бутылочного цвета «Жигули».

Большеглазая осунувшаяся женщина крикнула, опуская стекло:

— Срочно нужна реанимация!..

ИЗ БУМАГ ПРОФЕССОРА СУХАНОВА

1. Письмо (оригинал).

Дорогой сын Виталий!

Пишет тебе твой отец Андрей Иванович. Худую сообщаю я тебе весть. Получили мы с матерью извещение-похоронку, что наш дорогой сын Суханов Валентин Андреевич пал 16 марта 1945 года в бою и похоронен в братской могиле на окраине города Чаквара в Венгрии. Командир его и заместитель по политчасти пишут, что мы можем гордиться таким сыном, которого воспитали. А через два дня пришло письмо от Валиного друга сержанта Пинаичева Алексея, который описывает, что было очень тяжелое сражение у озера Балатон и Валя наш был убит наповал осколком снаряда в голову, совсем не мучился. Он прислал две фотокарточки, одна — где вы вместе перед войной, и еще с этим сержантом Пинаичевым Алексеем. Мать день и ночь плачет, писать не может. Я пишу, рука дрожит, почерк свой не узнаю совсем. Напиши, Виталий, поскорее, успокой нас о себе. Всю войну промучились, и в конце такое горе.

Кланяемся тебе.

Твои отец и мать Сухановы.

2. Письмо (оригинал).

Здравствуй, Виталий!

Это пишет тебе Люся Дроздова, если, конечно, ты такую помнишь. После долгого перерыва я приехала снова на несколько дней к тете и узнала, что Валя погиб. Я никак не могу поверить в это. Мы переписывались с ним почти полтора года, но потом он перестал отвечать на письма и мне сообщили из части, что он опять ранен, и больше он не писал. Я была дома у ваших родителей, и они дали мне твой адрес и сказали, что ты поступил учиться в Москве.

Коротко о себе: была в эвакуации, оканчиваю медицинский институт. Куда распределят, неизвестно, но хотелось бы в отдаленную область страны. Мой дядя и

двоюродный брат Станислав, которых ты знал, тоже погибли. Какое страшное время нам пришлось пережить!

Мне бы очень хотелось повидаться с тобой, посмотреть на тебя, хотя бы недолго. Если это возможно, напиши, пожалуйста. Я поеду обратно через Москву.

Если не захочешь или не помнишь меня, можешь не отвечать, я не обижусь.

26/XI—1946 г. Люся.

3. Заметки к семинару (оригинал)

Вопрос: Какое слово в стихотв. «Там, где Семеновский полк...» откровенно лишнее? «Шутя!» Ведь это и так ясно. Типичный пример столь распространенного в литературе недоверия к читателю.

4. (Отдельный лист)

«Лебедь тешится моя» («Сказка о царе Салтане»).

5. Из письма другу Чугунову Л. И. (черновик), осень 1965 г.

...Вместе с женой и сыном ездил хоронить отца. Отец умер в одночасье дома, лег перед ужином на диван, задремал и не проснулся. Счастливая смерть. Ему было шестьдесят девять лет. Всю жизнь он проработал в судоремонтных мастерских. Через его руки прошло множество речных судов самых разных систем, с самыми причудливыми названиями.

Были и причитания, и слезы матери, и долгий рокот по всему городу духового оркестра, от чего мы давно отвыкли в столицах, и речи, и свежая могила в венках, и поминки. Все как положено. Но тяжелее и страшнее всего — первая весть и дорога туда, ожидание всего перечисленного. Это сначала. Ну а потом — не сразу — другая, уже столь знакомая мне полоса: бесконечные воспоминания, возвращения — только еще острее — в детство, в юность, в мой город, в мою судьбу — уже навсегда...

Примечание. Архив профессора Суханова В. А. пока еще почти не разобран.

СТАРЫЙ ГРЕХ

Как в организме человека существуют бактерии, гнездятся различные инфекции и болезни, часто неизлечимые, смертельные, если им дать ход, но пока словно притушенные, приглушенные, может быть, до конца дней, не имеющие нужных условий для своего страшного расцвета,— так в душе таится у каждого в разной степени — и вор, и развратник, и подлец, и даже убийца. У самых чистых и порядочных. Это изживается у всех по-своему, но должно быть обязательно, без этого невозможно, человек должен этому противостоять, здесь и рождается преодоление.

Рублев стоял в ванной комнате перед зеркалом и брился. Потом он поражался,— с чего вдруг стал думать об этом? Телепатия, несомненно.

Он массировал бритвой свое слегка припухшее от сна лицо и мурлыкал про себя:

Солдаты шилом бреются,
Солдаты дымом греются.

Потом запел на новый лад:

Электродымом греются,
Электробритвой бреются.
Сол-даты, в поход!..

Бритву подарила Лера. Позвонила с какого-то совещания:

— Тут бритвы в сувенирном киоске. Мужики с ума посходили, ломятся. Тебе взять?

— Какая марка?

— АГ-9.

Он первый раз такое слышал, удивился, но тут же догадался:

— Наверное, «Агидель». Бери.

Они работали в одном институте, но в отделах, не имеющих друг к другу ни малейшего отношения. Кому-

то взбрело в голову объединить под единой вывеской и крышей филологов и технарей, или, как давно уже было принято говорить — физиков и лириков. Поначалу это удивляло, потом привыкли.

Может быть, и семья их была такой же? Впрочем, они жили вполне дружно.

Недавно, на встрече, посвященной тридцатилетию ее выпуска, она, достаточно молодая еще женщина, узнавала не всех. Не узнала и подошедшего к ней мужчину, только подумала мельком: «Развалина!»

Он спрашивал, как она живет, и удивлялся ее рассеянным ответам. Это был ее первый муж, с которым она прожила два года и до сих пор носила его фамилию, чтобы не менять документы.

Никто ей не верил потом. Кроме Рублева.

У нее были своеобразные взаимоотношения с временем. Если ее спрашивали, который час, а было, скажем, без пятнадцати минут два или четверть третьего, она отвечала: «Два!» Такие мелочи, как четверть часа, не имели для нее значения, если речь, разумеется, не шла о поезде или сеансе в кино.

Утром она могла поинтересоваться: «Сколько сейчас?» — и, получив ответ: «Восемь», спокойно и неторопливо пить чай. Если же Рублев напоминал ей, что они могут опоздать, она беспечно отвечала:

— Успеем, ведь еще только восемь.

— Что же, по-твоему, время остановилось? Уже десять минут девятого...

Она смотрела почти удивленно.

Порою ему казалось, что он для нее тоже как бы вне времени.

Она бесспорно была мила и женственна, но у нее была такая странная особенность: в ее туалете порою обнаруживался какой-либо изъян, порожденный небрежностью, словно она озабочена чем-то более важным, высоким. Рублев, разозлившись, сказал ей как-то:

— Если бы ты была мужчиной, у тебя часто была бы расстегнута ширинка.

У нее хватило юмора не обидеться, но вспоминала она ему об этом долго.

Сквозь благодушное мурлыканье бритвы явственно пробился звонок. Секунду Рублев решал — телефон это или дверь.

Полочка под зеркалом была плотно уставлена флако-

нами, он с бритвой в руках пошел к двери и, как обычно, открыл, не спрашивая.

Копылов стоял на площадке, чуть отступя, с папиросой в руке. Видимо, он только что глубоко затянулся, и ноздри Рублева на миг обвеяло и остро обожгло первозданным табачным дымком. Он бросил уже давно, и такое случалось редко.

Он узнал Копылова мгновенно, с чувством непоправимости происходящего. И непонятно, каким образом,— ведь он видел его последний раз... когда же? Да, в сорок третьем.

Он глянул в его ореховые, по-прежнему цепкие глаза и сказал, как мог буднично:

— А! Заходи...

Тот раздавил подошвой окурок, переступил порог, сунул руку, стоя, мигом разулся, не расшнуровывая ботинок, и затоптался в нитяных носках, не знал, куда идти.

— Побудь в кухне,— сказал Рублев.— Я сейчас, добреюсь.

И прикинул — потом он, морщась, стыдился этого — что́ может Копылов взять, пока один.

Он крепко протер лицо одеколоном и немного пришел в себя.

Копылов напряженно сидел на зеленой табуреточке. «Зачем он пришел?— подумал Рублев.— Денег попросить? Хорошо бы, если б так. Дал бы — и привет»...

— Выпьешь? — спросил он неожиданно для самого себя.

Копылов повел бровью:

— С утра выпьешь, весь день свободный?

Рублев достал из холодильника едва початую бутылку «Сибирской», нарезал колбасы.

— Ну, давай! — и махнул стопку.

Копылов тоже выпил, но с затруднением.

— Не идет?

— Я больше привык красненькое.

— Бормотуху? Чернила?— спросил Рублев, не в силах скрыть злорадства.

— Зачем? Красненькое.

Выпили, однако, по второй, и Копылов, покашляв, начал, тускло блестя своими ореховыми глазами:

— Ты не серчай, Саша, что нашел тебя. Знаешь, зачем я заявился? Парашют тот помнишь?

— Какой еще парашют? Не знаю никакого парашюта.

— Да знаешь ты. Не бойся, Саша.

— Не бойся? А чего мне бояться? Это все прошло.

— Война все спишет?

— Да не война. Жизнь. И смерть тоже. Скоро наши кости вороны растащат! Понял?

— А совесть как же?

— Совесть? И это ты говоришь? Ты что, верующим стал?— он смотрел на него, как на сумасшедшего:

— Говори, чего надо!

Тот выглядел спокойно, задумчиво. Одет он был нормально — пиджачок, ковбоечка.

— Жизнь и вправду проходит. Сыновья выросли, я им не нужен. Жена давно уже со мной не живет, все с любовником. Да ты не думай, я не наколоть тебя хочу. Я хочу, чтобы ты сам понял.

— Сам?— Рублев задохнулся.— Я уже кровью смыл это.

— Знаю. Но не это.

— Именно это. А вот ты, видать, нет...

Как же давно это было. Словно не с ними, вернее, не с ним.

Их отделение послали на соседнюю станцию, там был парашютный склад и шла инвентаризация, что ли. Они помогали. Склад охранялся часовым, ночью — с подчаском, но по утрам приходил вместе с разводящим начальник ПДС[1] Милованов, мастер спорта, худой, сильный. Проверяли пломбу, открывали склад. Часовой теперь присутствовал лишь формально.

Они расчехляли парашюты, освобождали купол, расправляли, вытаскивали на свет, проверяли, рассматривали. Милованов (как все эти фамилии помнятся!) командовал. Парашюты были большей частью известных им систем, десантные — ПД-41, ПД-6, огромные грузовые, изредка — маленькие, летные. Потом их по счету складывали штабелями у стены. Милованов делал пометки в книжечке.

Жили за километр отсюда, в поселке, по дачам. Он — вместе с Копыловым и еще одним, бесцветным пар-

[1] Парашютно-десантная служба.

нем. Жизнь была тихая, ровная, много спали,— вставать до света не было смысла. Можно было забыть, что идет война.

Однажды, когда шли на работу, Копылов придержал Рублева, они слегка отстали, и Копылов сказал, что хозяин готов купить у них парашют. Сам предложил. За пять тысяч. Надо только принести.

Много раз размышляя потом об этом, Рублев всегда заново изумлялся, почему и зачем он сразу же согласился, да еще с такой бесстрашной беспечностью.

Стоял февраль,— то метелило, то вовсю пригревало солнцем, капало с крыш. Часовой привалился к стене склада и как зачарованный смотрел на проходящие поезда. Порой он блаженно щурился, глаза его слипались, но он делал над собой усилие и открывал их. Винтовку с примкнутым штыком он держал на ремне.

Внутри склада было почти темно, и, едва Милованов отвернулся, Копылов с блатной уверенной наглостью схватил парашют и бросил к дверям. Он взял из штабеля, из уже сосчитанных, чтобы все потом сошлось. Рублев ни в жизнь бы так не догадался. Однако теперь уже он отпихнул парашют за порог и так же, ногой, перекатил за распахнутую, широкую, как ворота, дверь.

Через двадцать минут, когда все были в складе, а часовой все щурился на насыпь, Копылов вышел оправиться, взял за дверью чехол с парашютом и завернул за угол. Парашют был не десантный, а для летчика и, судя по небольшому размеру, не с перкалевым, а с шелковым куполом.

Натоптанная тропинка сзади склада вела к промерзшему, незапирающемуся скворечнику, под его прикрытием и бросил Копылов в заснеженные сосенки свою добычу.

Вернулся он как ни в чем не бывало, лишь буркнул погодя:

— Подойди посмотри, где брать потом.

Забирать парашют должен был Рублев. Он понимал, что это справедливо.

А если бы поймал тогда Милованов,— как бы поступил? Арестовал и — под трибунал? Или дал бы пару оплеух от души и этим ограничился? Хотя ведь не буханку хлеба украли.

— Ну, и что ты хочешь? В милицию пойти? Кто тебе поверит! Да и мужика того наверняка давно уж нет.

— Мужик-то есть. Я туда ездил. Да что толку.

— Да с тобой никто разговаривать не будет. Очень ты им нужен!

— Это я знаю. У них сегодняшних дел выше головы.

— Вот ты на это и рассчитываешь. Душу-то облегчить, но без риска, безбоязненно. А мне это не нужно, я тебе уже сказал...

Вечером они захватили мешок и вышли из дому. («Если кто спросит, скажем: «Капуста».) Валил снег, завиваясь спиралями. «Наша погодка — на заказ». Они подошли с другой стороны. Копылов остался на дороге. Рублев прошел немного, проваливаясь в снег, лег. Ночью часовой не спит, да еще с подчаском.

Рублев лежал в снегу и смотрел на склад, плохо различаемый за метелью. Сердце его громко билось. Он пополз, застывая через каждые несколько метров, и вдруг увидел, как из-за угла вышел солдат с винтовкой и остановился. Было непонятно, куда он смотрит, во что вглядывается. Но вот из-за второго угла показался другой солдатик. Часовой и подчасок помахали друг другу и опять ушли за склад.

Он быстро дополз до сосенок, выдрал из снега чехол.

— Грех снять? Снимай как знаешь. В Фонд мира зарплату отчисляй. А я давно снял. Мне эти денежки беду и принесли. Не знал, что с ними делать, боялся, выбросить хотел. Потом на станцию повели мыться в поезд-баню, я и встретил сержанта нашего бывшего, Жаркова, хороший парень. У него там девушка жила, около станции. Зашли, я за водкой послал, за закуской. С такой радостью, облегчением. К ней подруга пришла, хорошо ее запомнил. Смотрю, уже темно. Наши помылись давно и ушли. Жарков не пускает, патрулей много. Нет, пойду. Патруль меня и забрал, я не давался. Еще какие-то люди были, драка, и задели кого-то финкой. Я потом смотрю: моей финки нет. Ее в снегу

подобрали, на рукоятке — А. Рублев. А строго было — поверяющий из Москвы как раз приезжал. Вот я и загремел.

— Знаю.

— Это, может, и знаешь. А дальше? Привезли в Москву, на Стромынку, рядом с общежитием МГУ. Штрафники. Набирали и отправляли по четыреста пятьдесят человек. Все отобрали. Ну, я значок парашютный в ворот шинели зашил. А верховодили там урки. Из Таганки.— Он зло усмехнулся:— Не из театра! Со мной рядом один на нарах лежал. Слушай, говорит, мы в одном взводе будем. Как в атаку пойдем, я сразу вперед пробегу, упаду и ногу подниму. Ты стрельни мне в ногу и тоже вперед пробегай, я тебе в ногу стрельну.

— Иди ты,— говорю.

— Чего, чего?

— В затылок, говорю, стрельну, если очень попросишь.

А главный у них был такой — Витёк.

Однажды раздевались, гляжу, у одного малого вот тут, ниже плеча, парашют с крылышками наколот. Десантник? Ага. И еще знает двоих. Короче, девять своих набрали, десантников. Немного, но какие ребята! Поджидали в туалете,— кто из блатных зайдет, били почем зря. Витёк среди первых оказался.

— Ну, Витёк, гнида лагерная, сейчас бить тебя будем.

— Меня?! Да я!

Как дали ему! Ох и боялись они нас.

Ну, а потом фронт. Штрафная, но люди как люди. Разные ведь попадали. Ротный был неплохой мужик, а взводный вообще отличный, в окопе с нами был. Ранило на третий день, в госпитале отвалялся, а там в нормальный полк. До конца еще раз зацепило.

— Я закурю? — сказал Копылов. Он все же чувствовал себя стесненно.

И долго этот дух от одной папироски не пропадал, не выветривался, хотя Рублев чуть не два часа держал потом балконную дверь открытой. Серный какой-то запах.

— Все! — сказал он и взялся за пустую бутылку.— Убираю.

— А жена где же?

— Где! На работе, понятно.— Рублев поднялся.— А мне надо собираться. Я в командировку завтра еду.

— На картошку?

Рублева как ударили, такое он испытал мгновенное неприятнейшее чувство. Копылов все о нем знал.

Потом Рублев доставал с антресолей кирзачи, искал стеганые брюки и фуфайку. Настроение было отвратительное, все валилось из рук, ни о чем не хотелось думать. Лере он ничего не сказал.

Вечер был холодный и ясный. Они сходили в кино, рано легли перед их картофельной разлукой, долго не спали.

Потом не спал только он. Лера умела засыпать мгновенно,— у него всегда возникало чувство, что она, пока он зазевался, села в поезд и он один остался на платформе.

Он любил свой дом. Многое здесь он сделал сам — все эти дополнительные крючки, ограничители на окнах, полочки. Он до всего доходил руками, соображая ими во время работы. Хорошие руки,— говорили о нем в институте. Это ценится в науке не меньше, чем хорошая голова.

Прежде у них был дом, где до них жили многие, и не свои, не родные, а чужие люди, и он часто ощущал пропитанность стен их голосами, взглядами, устоем. Малейшая трещинка в стене или выбоинка в полу — были не его, а их, им принадлежали.

Снимать — другое дело, там заведомо все не свое.

Он знал, что Лера не чувствует это столь остро.

«И меня она не узнает, если я вернусь через несколько лет»,— подумал он мельком, уже ночным, затуманенным сознанием, и обнял свою ученую жену.

Где-то вдали, за нагромождениями крыш, глухо ухало, и если бы не осень, он был бы уверен, что это гроза. Но вот вверху слабо вспыхнуло и погасло, потом еще, и вдруг ударила молния, мгновенно напомнившая контуром Волгу с притоками. Теперь он ждал следующей, но ее все не было. В небе еще немного поворчало и затихло.

«Завтра напишут в «Вечерке»: редкое атмосферное явление — гроза в сентябре»,— подумал он, окончательно засыпая.

Пока Лера в халатике жарила яичницу, он вышел на балкон. Перила были холодные, влажные. Внизу, на крыше его зеленого «жигуля», словно мазки другой краской, лежали три желтых кленовых листа.

Потом он с «сидором» на плече,— как в армию,— дошел до угла, оглянулся. Лера с балкона помахала ему.

На месте сбора уже были люди. Их старший — руководитель лаборатории, доктор наук, в брезентовом плаще с капюшоном и в кирзовых сапогах, похожий на послевоенного агронома. Энтузиастка Милочка, сорокалетняя общественница, певшая в женский день частушки на вечере. Он запомнил:

Дни и ночи, дни и ночи
Мой залетка сердится.
Говорит, что, мол, не очень
Я по части сервиса.

Буднично-знакомые, привычные, заспанные лица...

И вдруг его как толкнуло — в кургузой болоньевой курточке и в сапогах, чуть сбоку стоял Копылов. Он был снаряжен как все. Он тоже е х а л.

Издали он кивнул Рублеву, и тот ответил ему.

«Что же это такое? Спокойно. Наверно, он оформился к нам, узнал про меня и потому пришел. Или наоборот: узнал и тогда устроился. А, черт с ним!»

Погрузились в автобус, пересчитывали друг друга, поехали. Рублев сидел справа у окна, посредине салона. Рядом с ним толстяк — инженер Вова из их отдела. Перед Рублевым — Милочка. Руководитель пристроился где-то сзади. Копылов — на самом первом сиденье.

По городу ехали — смеялись, разговаривали, а выбрались на шоссе — примолкли. Автобус шел ходко, стоял голубой день середины сентября. Листва была еще цела, но благодаря переменам в окраске каждое дерево придорожных рощ выглядело более рельефным, обособленным.

Рублев окончательно успокоился. Он смотрел на лениво поворачивающиеся перелески, мелькающие деревни, плоские поля, где уже убирали картофель — и местные, и большей частью такие же, как они.

И еще он смотрел вперед, видел худую спину Копылова, но он смотрел дальше нее, на улетающее к небесам шоссе над приломленной, как у него самого, кепкой водителя и думал о том, насколько водитель отделен от пассажиров, от с а л о н а. Он останавливается в нужных местах для н и х, а если автобус обыкновенный, маршрутный, продает через плечо билетные книжечки, но он живет совсем иной, своей жизнью. У него там, в его кабине, все свое: фотографии, расческа, бутылка «боржоми» или кефира. Он далек от них даже днем, когда им виден его затылок и порою лицо в зеркальце, а вечером его словно вообще нет, он инкогнито, некая сила, от которой зависит их жизнь.

Автобус мчался. Все дремали. Рублева тоже клонило в сон. Превозмогая себя, он смотрел вперед на маслянистую ленту шоссе.

Их половина была почти совершенно пуста, но навстречу, к городу, густо тянулись частные легковушки, «заказные» и «экскурсионные» автобусы с номерами близлежащих областей. Была суббота, и все магазины работали.

Правило первое. В машине нельзя спать. Речь не о водителе — тому само собой. (А ведь бывало на фронте — засыпали измученные шоферы за баранкой, сносили в темноте целые отделения.) Нельзя спать пассажиру. Можно, когда машина стоит и двигатель выключен. А на ходу — ни в коем случае.

Правило второе. Не рекомендуется садиться так, чтобы перед вами не было прочно закрепленного предмета, за который при необходимости можно ухватиться.

Они оба нарушили эти правила, но Рублев — только первое.

Ему почему-то показалось, что по автобусу ударили сзади, хотя это было лобовое столкновение.

На территории деревни, при плавном повороте, из встречного потока вдруг вылез через сплошную линию вишневый «Москвич», желая продвинуться на несколько машин, увидав впереди свободное место.

Их встречный автобус шел слишком мощно. Водитель автобуса инстинктивно попытался избежать столкновения, резко вывернул руль, не сумел, и к тому же не удержал свою тяжелую машину.

Сразу после удара Рублев, еще с закрытыми глазами, успел схватиться за никелированный обод преды-

дущего сиденья, а обе ноги поставить на такую же штангу над полом. Десантная закваска!

Автобус, под чей-то вопль, скрежет ломающегося металла и звук лопающихся стекол, стал неотвратимо падать на правый бок, упал, на миг замер («Слава богу»,— подумал Рублев) и перевалился дальше, вверх колесами.

Страшно закричал сосед Вова. Потом он объяснил, что еще спал.

Рублев открыл глаза. Он висел вниз головой, в той же позе, как ухватился, а возле самого лица текла вода и лежал словно раздробленный каблуками ранний тоненький ледок,— это было раздавленное стекло. Они упали с шоссе в кювет, с пяти метров.

Толстяк Вова давил на него, Рублев крикнул ему, и тот освободил его от своей тяжести.

Рублев поднялся на ноги. Он стоял на том, что прежде было крышей.

— Мила, Мила цела?— крикнул сзади руководитель.

— Цела, цела, вот она,— ответил Рублев и промолвил в свою очередь:— А где-то здесь была моя кепочка.

— Вот,— радостно откликнулась Мила, нагнулась и тут же упала на бок,— у нее закружилась голова.

Рублев помог ей подняться и вывел через отсутствующее лобовое стекло.

Шоссе было запружено машинами и народом. В стороне валялся искореженный, как консервная банка, вишневый «Москвич».

Бежали жители, несли табуретки, стулья. На одном уже грузно сидел Вова. У Милочки черным заплывало переносье,— она ударилась головой. Кто-то стонал, истерически рыдала девушка в брюках,— одна штанина была разрезана сверху донизу, как ножом, и виднелась длинная белая нога с узким кровавым следом.

Автобус лежал в кювете вверх колесами, как жук на спине, который не может и даже не пытается перевернуться обратно.

Целехонький водитель задумчиво стоял рядом.

Где-то уже звучала, покрывая все иные звуки, сирена — то ли милиция, то ли «скорая помощь».

А на травянистом еще склоне, поднимающемся к деревенской улице, плашмя и неподвижно лежал человек. Их руководитель, стоя на коленях, пытался нащупать его пульс.

— Что с ним? — спросил Рублев у шофера, хотя сразу понял, что тот с переднего сиденья пролетел сонный вперед и ударился о кабину.

— Думаю, жить не будет,— сказал шофер и отвернулся.

— Кто этот человек? Кто его знает? — спрашивал руководитель, подняв голову.

ЗИМНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

— Вот у меня репутация человека армейского, военная, мол, косточка,— сказал Князев, усмехнувшись,— а ведь армия поначалу ох как нелегко мне далась.

— А кому легко?— возразил я, хотя и посмотрел на него с некоторым удивлением. Он действительно принадлежал к той отходящей уже категории людей, для которых война оказалась не только основой и ядром их жизни, но как бы и ее вершиной. Он помнил о ней ежесекундно, и даже на его спортивной курточке под аккуратной дубленкой — одеваясь, я обратил на это внимание — пестрело несколько накатов орденских планок.

Мы гуляли в нашем парке по утоптанной снежной дорожке, шириною как раз для двоих, если идти свободно и не сталкиваться плечами. Сквозь морозные стволы берез и сосен проступали красные кирпичные столбики забора с полосой серого штакетника между ними. Мы проходили метров двести до калитки, поворачивали, и перед нами открывался фасад сделанного под старую усадьбу дома с восемью колоннами ионического ордера у входа. В середине нынешнего бурного века немало таких или похожих зданий понаставили в Подмосковье.

Мы шли к дому, и возле него Князев всякий раз бросал взгляд влево, вдоль подъездной аллеи.

— Конечно, конечно,— согласился он,— всем непросто было. А у меня, понимаете, так. Призывали меня из Москвы. Ребята получили повестки, а я нет. Что такое? Пошел их провожать. Слезы, баян, все как положено, а я стою дурак дураком. Даже хотел вместе с ними встать, без повестки. Через три дня пришла и мне. Прихожу в военкомат — тихо. Пустота. Прокатился призыв, схлынула волна. Таких, как я, человек шесть-семь. Видно, просто не сработало что-то. И чувствуется, не знают, что с нами делать, куда девать. Наконец отправ-

ляют нас в городской военкомат,— там еще таких человек пятнадцать. Ну, сидели, ждали, ждали, я даже подумал, не рвануть ли домой. И вдруг — скорей, скорей,— сопровождающего лейтенанта дали и на Казанский, там садимся в вагон, в обыкновенный поезд пассажирский, вместе с гражданскими — с женщинами, с детьми, с командировочными всякими — и покатили. Но ведь мы тоже еще в гражданском, с «сидорами» — непонятно кто. И, как эвакуированные какие-нибудь, пилим на восток. Кто-то, может, и рад, а я стою у окна, трясет всего. А навстречу эшелоны, смотрят солдатики из теплушек, а мы на них. Четверо суток ехали, съели все, что было,— на трое суток ведь велят брать. Дома, конечно, кладут побольше — из последнего.

Приезжаем,— а я не сказал: зима, мороз, аж клубится все. Зашли в вокзал, народу — тьма, завалились на пол, спим. Утром, еще темно, подняли нас, покормили на продпункте, дали с собой по сухарю. Лейтенантик наш говорит: «До свидания, товарищи! Счастливой службы»,— и к поезду, рад до смерти, в Москву. А нам другого лейтенанта, местного, сержант еще с ним и солдат, одеты все скверно. Подровнялись, пошли. Идем по городу, стужа страшная, дым. И светает только, небо лиловое, мрачное, запомнилось навсегда. Спустились к Волге, там дорога по льду, машины ревут, лошади сплошь в инее, в сосульках. Ветер прямо рвет, с ног сшибает. А ведь одеты-то кое-как. Хорошо, на мне фуфайка и брюки стеганые. И еще валенки, подшитые, чиненые-перечиненые, а все же валенки. Вышли на тот берег, уже светло, дорога большая в одну сторону, вдоль реки; мы — вглубь. Степь, ничего нет, дороги почти не видно. А метет! Как в тех песнях, где ямщики замерзают. Но лейтенант идет как ни в чем не бывало, злой, правда. Мы — за ним. Кто-то спрашивает: «Далеко ли идти?» Не отвечает.

У нас парень был один, Милованов Колька. Он говорит: «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться...» по форме. Тот разрешил и отвечает: до места сорок километров. Идти будем два дня. Настоящие солдаты за один бы прошли, даже в таких условиях. А нам дай бог сегодня до ночлега дотянуть — как раз половину.

И точно, только к вечеру, уж не знаю как, добрели. Стоит в степи двор, две избы, кто-то там живет, дети играют у крыльца, и старшина встречает. Вроде пере-

вального пункта. Мы зашли в избу, рухнули — на пол, конечно,— и заснули. Но тут нас будят,— оказывается, выдали на нас концентрат, кашу сварили. Мы поели и опять — в сон.

С утра поднялись — и снова степь. Но вроде уже привычней, веришь, будет конец. Буран метет, ничего не видно. Куда идем и кто сказал, что правильно — непонятно. Но уже верим лейтенанту. Впору упасть, а идем. Бурьян торчит из-под снега, дико все, места какие-то пугачевские. И смеркается. Не темно еще, но вот-вот стемнеет. И вдруг утыкаемся в ворота. Ограда покосившаяся, за ней бараки,— вроде как крепость в снежной степи...

Мы прогуливались по скрипящей зимней дорожке — до кирпичных столбиков калитки и обратно — до входа в дом, с его ионическими колоннами. И всякий раз Князев поворачивал голову влево и окидывал взглядом подъездную аллею. Тенькали синицы, на чьей-то даче, а может, и на улице, утомленно и упорно лаяла собака.

— Заходим в барак. Полутьма, нары. На одних нарах такие, как мы, в гражданском — это карантин. На других — уже обмундированные. Нарушение, конечно. Короче говоря, запасный полк. Третья норма питания. Получали?

— Нет,— признался я,— не пришлось. Я сперва девятую, курсантскую, а потом уже первую, фронтовую.

— Да-а,— сказал он задумчиво.— А это третья, низшая.— И словно из другого, давнего, словаря, неожиданно для меня и для себя выдернул фразу:— Будь здоров, не кашляй!..— помолчал, сам удивившись, и продолжал:— Ребята в основном тоже все из Заволжья. Многие до армии поезда не видели.

Вот тут все и начинается. Стоят бараки в степи, буран свистит, заносы. Продукты не всегда вовремя подвозят. А заниматься надо. Ну, понятно, обмундировали нас. Всё х/б[1], всё б/у[2], да какое еще! И не взлюбил меня тут младший командир, помкомвзвод, сержант. Белобрысый, глаза расставлены, сам ростом мне вот так, до плеча. И вы знаете, верите ли, нет, не помню его фамилии. Всех помню, а его — как вычеркнуло.

---

[1] Хлопчатобумажное.
[2] Бывшее в употреблении.

И вот он взъелся. Но и его понять можно. Вот он командует: «Князев, ко мне!» — я иду, а сам думаю: «Что я тебе — собака,— ко мне?» У меня сосед был в Москве, у него овчарка, вот он крикнет: «Ко мне!» — она бежит, палку несет. «Князев, ко мне!». Я иду. «Бегом!» Я иду. Он мне два наряда. И вот вечером даст уснуть и тогда поднимает, сортир чистить. Я думаю, хрен с тобой, беру ломик, иду. А там смерзлось все, не сшибешь. Он назавтра кричит: «Князь, ко мне!» Сам бы не додумался, услыхал, что так меня Колька Милованов зовет. Я иду. «Ах,— говорит,— тилигент московский!». А какой я интеллигент?— Князев засмеялся, и я посмотрел на его умное интеллигентное лицо.

— А что по фамилии называют в армии, мне даже нравилось. Как в старину. Пушкин и Дельвиг не звали же друг друга Сашей да Антошей. Пушкин, Дельвиг — и все.

Да, так вот о сержанте.

В углу барака у нас ружпарк помещался, и, верите ли, стала мне мысль являться: зайдет он туда, меж пирамид, хрястну его малой саперной лопаткой по шее. Потом-то мне случилось однажды так сделать, не со своим, конечно, в рукопашной. А у нас был такой Герасимов, хороший мужик, спокойный, я с ним потом до конца прошел. Он после госпиталя сюда попал, старший сержант, но без должности. На занятия не ходил. Вот он как-то смотрел, смотрел и говорит: «Чего дуришь? Ну, не нравится он тебе, какое дело! Ты не его уважай, армию уважай, устав. Понял?» Понял-то, понял, да не пошла служба, заколодило. А я ведь парень был слегка приблатненный.

Заступили однажды в караул. Помкомвзвод начальником, Герасимов разводящим пошел. Отстоял я, по четыре часа стояли, намерзся, и только в дверь, помкомвзвод командует: «Князев, возьми ведро, принеси воды...» А до колодца полкилометра. Ну, правильно, наша смена теперь бодрствующая, а предыдущая отдыхать ложится. Но за четыре-то часа ему, что, некого было послать?

Меня затрясло всего, вышел я в сенцы, где ведро стояло, и думаю: что же мне сделать,— и сейчас, или потом?

А Герасимов и говорит помкомвзводу, спокойненько так:

— Слушай,— говорит,— чего ты к нему пригребся? Ведь воевать вместе. Человеком нужно быть.

Тот так и подскочил:

— Ты чего это сказать хочешь? Что стре́льнет он меня? Не бойся, не стре́льнет.

И тут Колька Милованов объясняет Герасимову с нар:

— Старший сержант, ты что, не знаешь? Ведь не поедет он с нами, он здесь останется. Ведь он работник тыла.

И солдатики эти заволжские, доходяги безответные, все засмеялись. Они себя выше его чувствовали.

Взял я ведро, хрен с тобой, схожу. Иду, а сам тоже смеюсь.

И, вы знаете, с этой поры оставил он меня в покое...

К предложению выпить в баре по рюмке коньяку Князев отнесся с полным пониманием и интересом:

— Да? Пожалуй!— но когда мы подошли к дому, неожиданно присел на корточки, тут же выпрямился и, отвечая на мой недоуменный взгляд, объяснил:— Так вся аллея видна. Я смотрю, Надя должна подъехать...

— А что, строго?

— Не в этом дело. Пригласил жену, а сам в баре сидит. Нескладно.— И, улыбнувшись, подчеркнуто процитировал своего Герасимова:— Человеком нужно быть... А мы с вами в другой раз, пожалуй.— Так вот,— его уже вновь отбросило туда, в заволжскую завьюженную степь.— Подобрались мы — Герасимов, Милованов, еще ребята наши московские, да и из тамошних кое-кто, Савоськин, помню, Урмаев,— неплохая получилась компания. А тут уже весна, теплынь, скоро нам отправляться. Подучились ли кой-чему? Наверно. Но все равно, такой полк сунь в огонь, один дым останется. Нас готовили для пополнений. Туда, где дрова хорошие, можно и сырых полешек подбросить.

Построили нас, напутственное слово майор сказал, он был пожилой и хромал после ранения. И другие тоже попрощались. А наш-то хмырь даже не подошел. Постеснялся. Лейтенантик, что в поезде вез четыре дня всего, и тот счастья пожелал.

— Человеком нужно быть? — заметил уже я.

— Вот именно. Построили нас, и пошли мы, и странное такое чувство, когда вспомнил я тот наш путь, в бу-

ран. И этот так же вспомню, подумал. Знаете, почти загадал вспомнить когда-нибудь. Теперь нас было много, шли медленно, растянувшись, с привалами. И тоже был ночлег. Но, понятно, просто в степи. Завернулся я в шинель, лег. И вот, знаете, я сейчас подумал: чего только не слышит солдат, лежа на земле. Крестьянин по-другому лежит, он только отдыхает, пастух тоже не так, хотя у того забота своя. А солдат слушает. И слышит. Я многое слышал, лежа на земле, вровень с ней, совершенно плоско. Конский топот иной раз услышишь, далеко где-то, нереальный почти. Ну и, конечно, танки — как они идут. Стоишь — не слышно, а лег — и вот он, рокот. И артиллерию, понятно,— дальний, дальний бой,— земля аж подрагивает. И то, что близко. Вот говорят: «Слушает, как трава растет». Значит — спит. А ведь, ей-богу, слышно. И как корни в почве шевелятся, и подается, похрустывает она. Иногда мне казалось, я слышу, как магма кипит-клокочет, там, в глубине. А почему бы и не услышать? Солдат землю как врач слушает...

Назавтра пошли дальше, после обеда отдохнули в балке,— время еще было,— в порядок немножко себя привели, и на закате выходим к реке. Вернее, солнце уже зашло, но вода вечерняя, густая, сизая, с красной подсветкой, словно тлеет. И переправа здесь, паром. Грузовики в очередь, повозки, а с той стороны паром тянут на тросах, подтягивают его, и он разгружается. И стоит девушка-регулировщица — командует, кому когда двигаться, флажком машет. Сама в сапожках, икры изнутри того гляди голенище порвут, а в поясе тонкая, ремень широкий, командирский, пилоточка набочок. Смотрю на нее, оторваться не могу. Что такое? И вдруг меня осенило: я же за эти полгода ни одной женщины не видел. И только сейчас это понял, а раньше не до того было. Во как! У меня ощущение было, что я ее полюбил.

Он посмотрел на меня и закончил твердо:

— Да я ее, может, и сейчас люблю...

Пока мы прохаживались по снежной тропинке, нам попадались знакомые, и они тотчас праздно направлялись к нам, но в какой-то миг словно раздумывали, чувствуя, что не нужно мешать нашему разговору.

Князев вдруг засмеялся и сказал будто другим голосом:

— Знаете, я вспомнил, иное совсем. Был я два года назад в Крыму и пошел с внуком купаться. Внуку? Четыре было. Под вечер, пляж пустынный, приштормливало слегка. Я его поставил подальше, разделся, бросил брюки и рубашку на топчан и пошел в воду. Оглянулся, пена уже до топчана достает. Слышу, внук кричит что-то. Волна шипит, гальку сдвигает, не разобрать.

— Ты чего?

— Дед, отойди!

Ну, мне приятно стало. Жалеет старика, переживает.

А он снова кричит:

— Дед, отойди! Не мешай морю!..

— А что, он о вас высокого мнения.

— Я тоже так считаю. Самому морю помешал... Да, это я к слову. Вспомнилось почему-то, по смутной какой-то параллели. Стоим у воды, смотрим. А чуть ниже по реке для нас уже баржи приготовлены. Тут выдают нам сухой паек на двое суток,— а какой там паек при третьей-то норме. Шпига кусочек да три сухаря, ну, может, чуть больше. И грузиться, только сходни под ногой пружинят. Я всю жизнь волнуюсь, когда на любой корабль всхожу. А тогда хоть бы что. Совсем уже темно, только иногда в черной воде запоздалые красные отсветы. И еще видно, чувствуется, что река шибко течет. Лежим на барже, укрылись шинелями, и только слышно: хрум-хрум... Герасимов вдруг говорит: «Пацаны, вы что же делаете! На двое суток паек-то...» А мы остановиться не можем. Да и как остановишься!..

Князев посмотрел на часы и сказал:

— А ведь вы правы были. Вполне бы мы управились...

Плывем, качает чуть-чуть, прохладно, и снится что-то давнее такое, детство, дом — и чувствуется: вот-вот все оборвется, а что, даже не понять... Потом нас в эшелон, еще ехали ночь, полка нашего уже нет, то есть там, в степи, он есть, числится, и другой уже призыв, другая волна его захлестывает, а нашего уже нет. Только рота выгрузилась, остальные в другие места, выгрузилась — и новая жизнь началась... Вот таким образом... Прибыли в боевой полк, в гвардейский. Дивизия на переформировке, после боев. Все у них свое, кровное, нам и не снилось. Распределили нас по ротам, я с Милоьано-

вым, с Герасимовым так и попал. И вот еще урок. Только заявились, рота новая наша в наряд идет, и первый взвод — на кухню. А вы помните, ребята съели паек, голодные, как волки. И у нас был такой Свистков, бедняга. Ну, кухонный наряд с вечера в ночь получает продукты — завтрак закладывать для батальона. Ну, жиры, консервы повар прибрал до утра, а сырое открыто лежало. И начал Свистков пшено есть. Горстями прямо в рот пихает, оно у него на зубах хрустит, морда вся в пшене. Пока отняли у него, он черт-те сколько сожрал. И через какое-то время, ночью, начинает его корежить, за живот он держится, стонет. Ну, сперва смеялись, потом в санчасть его. Утро — не возвращается. Выясняют — в санбат увезли. Так мы его больше не увидели, и что с ним случилось, не знаю, помер ли или еще куда попал. Но запомнился. Нельзя так. Нужно себя уважать...— Он опять посмотрел на часы.— Вот таким образом. Помолчал, и не в силах освободиться от прошлого, добавил:— Вот так я на войну попал...

— А сама война?

— Так и это все война, что я рассказывал. Хотя, конечно... Досказать? Воевали. В полк я попал отличный, да и батальон у нас был, штурмовой, в общем, батальон.

— Штрафбат, что ли?..

— Ха. Так и некоторые другие думали. Нет, просто комдив его бросал черту в глотку. И привыкли мы. Ну, и награждал тоже от души и пополнял всегда хорошими ребятами. Я после тяжелого ранения, после госпиталя, оказался в другой даже армии, едем на фронт, и вот в Белоруссии, в Старых Дорогах, есть такой городок, выхожу из эшелона на перрон и вдруг вижу, ротный мой идет, Жарков, уже старлей, с двумя солдатами незнакомыми.

— Князев,— кричит,— ты откуда? Все! Я тебя забираю.

— Как же вы заберете,— говорю,— получится, что я дезертир, я же здесь в списках.

Он бросился к моему начальству: отдайте, да и только. Те, понятно, ни в какую. Так он что сделал? Вместо меня другого солдатика отдал, нового, и канистру спирта впридачу. Спирт у них откуда-то был. Они здесь заново формировались. Как крепостного обменяли меня, а вы думали!

Я после госпиталя еще прийти в себя не мог, будто под наркозом находился. Будто во сне своих увидел. Многих уже не было. А выздоровление — это самая прекрасная пора, не только в госпитале,— в жизни. Словно обновляешься, возрождаешься. Согласны? Когда уже ходишь по коридору, в окно смотришь. И после инфаркта так же...

Солнце грело совсем по-весеннему. Тенькали синицы, а где-то в парке то и дело резко раздавался будто скрип старой сухой сосны,— мы оба знали, что это брачная песня дятла.

— А ротный-то Жарков, не дожил, бедняга. Уж на что был лихой мужик, да что лихой — умелый. Взяли мы траншею с ходу и дальше проскочили, а он чуть сзади был и не ожидал, видно, а в темноте там немец сидел на земле, пацан с карабином. У ротного автомат был, он как увидел, резанул очередью, но и тот успел — в упор почти, в грудь, разрывной пулей. Представляете? Оба лежат. Как у Пушкина: «Делибаш уже на пике, а казак без головы». Жалко Жаркова ужасно.

И у меня было похоже, но повезло. На войне себя жалеть нельзя, иначе все, хана. Но и решение нужно уметь принять единственное — жизнь решается. У меня был ППШ, старый, отличный, кучного боя. Будто сейчас его в руках держу. Я тоже спрыгнул в ход сообщения,— через неделю это было,— и вот он, германец. Тоже с автоматом. Он в другую сторону смотрел, но тут же повернулся. И вот знаете, попади я ему в руки, в живот, в грудь даже,— он бы тоже на спуск нажал. Эдакий волк был. Но я ему в голову,— выключил, вырубил его сразу. Это я, понятно, потом уже все понял, когда вспоминал...

Один из гулявших все-таки подошел. Князев не замечал его или делал вид, что не замечает, но тот все опять нам попадался. Наконец шагнул навстречу и сказал:

— Леша, здравствуй. Рад видеть. Ты давно здесь?

— А-а!— словно очнулся Князев.— Здорово, здорово. Да уж дней десять. Приобщаешься?

— Спичка есть у тебя? Хотя ведь ты бросил.

— Да, я сквозь это уже прошел,— сказал Князев веско и взял меня под руку:— Значит, так... А, черт, сбил. Я хотел еще рассказать про одну женщину... Или, пожалуй...

И он стал думать о чем-то другом.

— Сколько же времени мы так ходим? Да, часа полтора. Вечно она задерживается. Заехала к матери, наверно. Но погода!— он запрокинул лицо к синеве.— По заказу. В следующий раз вы будете рассказывать.

Мы дошли — в который раз — до калитки, повернули, и он сказал, как бы даже извиняясь:

— Знаете, так получается, что придется мне продолжить. Вроде вторая часть. Ничего?

Сразу перескочим. Как в магнитофоне ленту вперед перемотаем,— нажал на кнопку, и через минуту вон уже где мы. Да. Вернулся я. Поступил в институт. Время, сами знаете, было приподнятое, мы — победители. А главное, молоды мы были. Вернулся молодым, с наградами, и здоровый все-таки, ведь как на собаке заживало. Ребята были и безрукие, и безногие, а я-то молодцом. Пошло все хорошо, но на первом же курсе случилась такая история. Семинар у нас был по современной литературе. Профессор вел — вы его знали? Текущие новинки из журналов брали и разбирали на семинаре. Только пух летел.

— Когти точили?

Он засмеялся:

— И когти тоже. Да, так вот обсуждается один роман, вы его читали, конечно, а сейчас никто его не помнит. Время слизнуло, и следа нет. Ну, кто похваливает, кто так. А у нас парень был такой, Мишка. Фронтовик. Как теперь говорят, с пиететом к себе относился. Позер немного, покрасоваться любил. Встает и говорит: книга слабая, надуманная, картонное всё. Автор, говорит, жизни не знает.

Ну, сказал и сказал. Тут звонок, занятия окончились, и пошли мы в волейбол играть.

А следующий семинар, продолжение, через неделю. Все уж и забыли, что там было. И, вы понимаете, Мишка этот на следующее занятие не явился, неизвестно почему, прогулял просто. Короче, нет его.

И вот поднимается еще один наш малый, общественник такой, и заявляет: странное, говорит, было, товарищи, выступление, поклеп и клевета на нашу литературу. Идеологическая, говорит, диверсия.

Бог ты мой! Профессор замямлил что-то. Одни не согласны, другие молчат. А у меня девушка была, Лена,

симпатичная такая, мы с ней дружили,— тогда это так называлось. Но ничего особенного у нас не было, целовались, правда, напропалую, ну, еще... да нет, и приткнуться-то негде было.

Она выкрикивает что-то и шепчет мне: «Скажи, скажи!» А я не читал этого романа. Не могу же я все читать! Я из классики-то не читал еще очень многое. Что я скажу? — «Не читал»,— говорю. «А,— отвечает,— ты боишься».— «Я? Боюсь?!»

И вы знаете, не понравилось мне это, и разладилась с той поры наша дружба. И целоваться расхотелось. Но заноза осталась. А время спустя, объяснил мне один умный человек, что это разные вещи — воинская доблесть и гражданское мужество. И уже потом я сам понял — почему. Первое поощрялось. Да еще как! А со вторым одни неприятности.

Но тогда после занятий побежал я в библиотеку, взял журнал. Вещь и вправду ходульная.

Захожу я в общежитие к этому малому. Извини, подвинься. А у него другой сидит, приятный такой парняга. Знаете кто? Если бы он не подошел сейчас, я бы это все не рассказывал. Ни к чему было.

Тот и говорит, первый:

— Молодец, что пришел. Мы тебя вызвать собирались.

— То есть как вызвать?— (А в ушах: «Князь, ко мне!» — как труба.)

А он поворачивается на табурете.

— Князев,— говорит,— мы тебя уважаем. У тебя два Красного Знамени и Отечественная первой степени. Собрание будет, ты должен выступить по поводу выпада на семинаре.

— Ребята,— говорю,— а я ведь прочитал. Действительно, вещь слабенькая. Я потому и пришел.

Тогда второй говорит:

— Ладно, хрен с тобой. Не хочешь выступать по делу — не надо. Но и спорить, защищать не лезь. Понял? Иначе пожалеешь,— и этак все почти добродушно.

Князев потопал сапожками по утоптанному снежку, посмотрел вдоль аллеи влево:

— Вот мы вначале говорили о репутации. Я встретил,— потом уже, конечно,— женщину. Милая, очаровательная даже, воспитанная молодая женщина. И, вы знаете, с наколкой. На руке одна буква — «Н». Ну, чего

уж я только не насмотрелся, а это меня как-то ошеломило, взволновало.

Но это о другом. А здесь, значит, что же? Исключили Мишку из комсомола и из института. Он, не будь дурак, в тот же вечер уехал. На стройку куда-то. Года через два восстановился, окончил. Ленка на собрании кричала, протестовала, я смотрел на нее, слушал,— как со стороны. Но запомнилось подробно, засело.

А мужик, что к нам подходил, он, я уверен, все забыл почти. Для него это эпизод был, не более. Вот таким образом...

Сразу остановиться ему было трудно, и он, помолчав, добавил:

— А вот старший-то сержант Герасимов, помните? Он на сверхсрочной еще трубил двадцать пять лет. Старшиной. Мы с ним переписываемся. Недавно он мне поздравительную открытку прислал. «Здоровье посредственное, но не болею». Я это сейчас всегда повторяю. Это мое любимое изречение.

Мы шагали к дому, как с горки. Он усмехнулся и закончил, а может, еще и не закончил:

— Вот такие зимние воспоминания.

— Но и весенние тоже,— заметил я, глядя на лиловеющую над верхними вениками берез тонкую голубизну.

В конце снежной аллеи показалась оранжевая машина. Он всмотрелся и узнал:

— Она. Наш «москвичонок»...

«Москвич» развернулся перед входом и остановился.

Моложавая и отчасти молодящаяся женщина щелкнула дверцей и поднялась с сиденья.

— Надежда, познакомься,— сказал Князев.

Она энергично протянула руку. Между большим и указательным пальцами я увидел синюю нататуированную букву «Н».

Потом она выключила мотор, заперла машину, дергая за ручки, проверила, надежно ли закрыты дверцы.

Князев взял жену под локоть и повел к входу с ионическими колоннами.

ЗА ШАХМАТАМИ

Князев с полковником сидели за шахматами. Они оба были из тех игроков, которые нет-нет, да и назовут ладью турой, слона офицером, а ферзя королевой, что, однако, ничуть не мешало им получать от общения за доской истинное удовольствие. Они встречались довольно регулярно и играли каждый раз по четыре партии, на что у них уходило обычно часа два. Разумеется, они слабо знали теорию, но зато их отличала поразительная цепкость и решительность. И были у них свои игроцкие выражения, понятные лишь им двоим. Полковник, в бытность свою капитаном, еще служа в гарнизоне, принимал как-то участие в сеансе одновременной игры. Сеанс давал международный мастер из ближайшего областного города. Он шел вдоль сдвинутых столов, быстро делал ходы и что-то бормотал себе под нос, словно в задумчивости. Полковник вслушался. Мастер, непонятно к чему, повторял про себя два слова: «Белопольные слоны...» Теперь они взяли эту фразу в свой обиход. Задумается соперник, вздохнет, скажет: «Белопольные слоны» — и сделает ход,— например, пешкой. А во время первого, бесконечного, матча между Карповым и Каспаровым известный гроссмейстер, комментируя партию по телевидению, заявил: «Коня нельзя бить из-за мата...»

Эту фразу уловил Князев, и они тоже часто повторяли ее в своей игре. Им виделась за ней довоенная улица, лошадь, запряженная в перегруженную телегу, возчик с кнутом, толпа на тротуаре. Материться же должен был по идее кто-то из толпы,— защищая лошадь.

Они оба были за Каспарова, это их сблизило еще больше. Мотивы же у них все-таки оказались несколько разные. Полковник стоял за Каспарова, потому что помнил, как сам был молод и как трудно выбиться из глуши, из тех далеких таежных гарнизонов. Князев сформулировал точнее: при равных условиях он всегда отдает предпочтение тем, кто не имеет могучей офи-

циальной поддержки. Однако они оба рассматривали как положительный фактор для Каспарова — наличие такого сильного и опасного (Князев сказал: коварного) противника, как Карпов.

За окном шумел дождь.

Полковник задумался, потом посмотрел на Князева. По правде сказать, если не знать заранее, то нельзя было бы догадаться, кто же из них полковник. Вернее, легко было ошибиться.

Полковник был высокий, сухощавый, на нем мешковато сидел покупной костюм, под пиджачком топорщилась распахнутая на вороте можайская ковбойка. Плечи плотного Князева ловко облегала сшитая по заказу серая куртка спортивного покроя,— слева пестрел мощный сруб укрытых под выпуклым плексигласом орденских планок, справа четыре пашивки: две желтые и две красные. Полковник грустно подумал: «Для кого это? Ведь большинство теперь не понимает, что́ они означают...»

Полковник вдруг нахмурился. Он проигрывал уже вторую партию.

Они сидели у него дома, одни,— жена на неделю уехала проведать внучку. Они наслаждались тишиной и своим уединением.

Только дождь накатывался на окно, стучал в карниз, потом отступал, отпрядывал...

Князев смотрел на доску, тоже задумавшись.

Как они познакомились?

Нашелся одержимый из их корпуса, начал собирать ветеранов,— не сразу, лет тридцать уже с Победы прошло. Знал кого-то, те еще других, другие третьих... Потихоньку, помаленьку обрастала идея плотью. Списки стали составлять, письма писать. Дошли эти расходящиеся круги и до Князева.

И вот первая встреча,— во дворе института, где работал председатель совета.

Князев вовсю крутил головой и вдруг увидел перед собой до удивления знакомое, почти родное лицо. Это был полковник в полной форме, и непонятно почему, но безошибочно угадывалось, что не отставник. Князев рванулся к нему, приобнял, теранулся щекой о его крепкую щеку, отпустил, все еще не понимая — кто же он.

Тот сдержанно улыбался.

Обратно Князев ехал на такси, и едва вышел возле дома, заметил высокую худощавую фигуру в форме.

— Полковник! — крикнул он.— Товарищ полковник!..

(Внимательный читатель, может быть, заметил, что автор назвал этого человека полковником даже тогда, когда тот был капитаном. В их отношениях с Князевым это слово, это звание стало почти именем или фамилией, его можно было бы писать с заглавной буквы. Князев так его и называл: Полковник, а когда хотел подчеркнуть свое уважение, даже: Генерал.)

— Товарищ полковник!

Тот обернулся. Оказалось, что они соседи по их огромному многоподъёздному дому. Князев жил здесь уже двадцать лет, полковник — два года как поменялся. Они могли не раз видеть друг друга во дворе, оттого лицо полковника и оказалось знакомым.

Но ведь он был из их корпуса!

Князев начал его зазывать к себе. Но полковник деликатно отказался:

— Нет, нет, в другой раз. Да и я сейчас занят...

Дождь шумел, усиливаясь. Князеву нужно было сегодня просмотреть и выправить статью для межвузовского сборника научных трудов, но о ней было лень думать. Полковник сжал голову руками. Сопротивлялся он отчаянно, но по сути уже проиграл. У Князева образовалась непонятно откуда проходная пешка. Вот тебе и белопольные слоны. 0:2 — это серьезно. Нужно сосредоточиться.

Полковник сказал тогда во дворе: «В другой раз...» Так, для вежливости. Но этот «другой раз» наступил месяца через полтора.

Столкнулись в воскресенье. Полковник в цивильном нес хлеб из булочной, Князев в бросовом костюмишке возился у «Москвича».

— Не заводится машина? — спросил полковник.

Князев усмехнулся:

— Вот именно.

— А куда ехать нужно?

— На кладбище. Мамашу похоронил прошлый год, могилку надо поправить, рассыпается...

Полковник подумал несколько секунд.

— Подожди, я тебя сейчас отвезу.

Они и потом, сблизившись, были на «вы»,— Князев впоследствии понял, что полковник переходил на «ты», только когда волновался.

— Да нет, спасибо. С какой стати?

— Не потому, что из одного корпуса. Я просто все это умею. Я что ни посажу, само растет... Подождите меня пять минут. Вода есть там?

— Вода далеко. Да не стоит, неудобно.

Через пять минут полковник спустился, неся две пустые пластмассовые канистры, аккуратную лопату, полиэтиленовый мешочек с землей.

— Чернозем?

— Перегной с опилками.

«Жигуль» завелся с одного касания. Завернули на рынок, взяли разных цветочных семян, и отдельно еще «анютиных глазок» и поехали...

— Ну, вот,— сказал полковник, когда возвращались,— сейчас у колонки остановимся руки помыть, а то воду всю вылили. Так. Да не торопитесь, отмывайте.— Он вынул носовой платок и вытирал крупные сильные кисти.— Сделали божеское дело. Тем более такая замечательная женщина...

— Да, мать была хорошая. Тянула нас...

— У меня тоже такая... Пока все хорошо, аккуратно, а осенью посадим дерево. Я советую, лучше всего клен. На участке буду, я вам привезу. Но не сейчас, осенью...

Князев, сидя рядом, перехваченный наискосок брезентовой лямкой, смотрел на него, глупо улыбаясь:

— Послушайте, откуда вы такой взялись? Чем я-то смогу соответствовать?..

Полковник ответил суховато:

— А мне ничего не нужно.

С той поры они и играют в шахматы.

Говорят, времени ни у кого нет. Ни минуты. А они вот встречаются. Правда, они живут в одном доме. Но все равно! А ведь раньше как,— Князев даже на матч Ботвинник — Смыслов ходил с приятелями. Приезжали обычно к ходу так пятнадцатому — семнадцатому. Билеты всегда были. Зал Чайковского заполнялся обычно только к концу. Князев вдумчиво смотрел на демонстрационную доску, стараясь разгадать многоходовые хитрости противников, но гораздо интереснее было ему наблюдать за ними самими, их движениями и повадкой. Все это было как немое кино.

— Ну-с, господин гроссмейстер Князёфф,— вымолвил наконец полковник, делая ход.— Как гласит русская народная мудрость, коня нельзя бить из-за мата.

— Да вижу, вижу. Силен генерал. А я все думаю, увидит он этот ход или нет. Ладно, сдался. Два — один.

Князев смешал фигуры, встал, потянулся и заявил с важностью:

— Перед решающей партией гроссмейстер Князёв берет последний тайм-аут...

Он прошелся по комнате. Квартира у полковника была такая же, как у Князева, только развернута в обратную сторону. Хотя нет, что это он, у него все комнаты изолированные, а здесь две смежные. Стол, за которым они играли, находился посередине, одну стену покрывал ковер, на другой — книжные полки. Книги были все хорошие, добротные, классика, военные мемуары. На одной из полок фотография маршала Жукова.

Жуков стоял вполоборота к нескольким генералам, повернув к ним голову. По его лицу, и по их лицам тоже, было видно, что он сказал что-то для них смешное и они сейчас с готовностью рассмеются, а он только усмехнется.

— Я давно хочу спросить,— Князев кивнул на полку.— Вы что, встречались с Жуковым?

— Да нет,— ответил полковник без охоты.— Так, видел.— И, помолчав, добавил:— Это я его для памяти здесь поместил. Чтобы помнить, как я думать не умел.

— А что?

— А то. Кончилась война, вы по своим ранениям демобилизовались, конечно. А у меня ранение только одно. Топать и топать. Да так и привык, остался, в училище поступил, и дальше, дальше... А тогда, в сорок шестом, осенью, попал в Прибалтику, в Эстонию, в маленький такой гарнизончик. И вот однажды вечером сидим в красном уголке, кто в домино забивает, кто так, ребята все фронтовые. А там висела, понимаешь, доска, стенд застекленный, и на нем портреты маршалов, и адмирал там еще был, в общем, как я сейчас понимаю, командующие родами войск. И вдруг заходят лейтенант, комсорг батальона с двумя солдатами, снимают этот стенд, гвоздики сзади выдергивают, расстекляют, вытаскивают оттуда портрет маршала Жукова и опять все на место. Кто-то из ребят спрашивает: «А почему?» Лейтенант объясняет: «Приказ» — и уходит. И хоть бы кто на эту

тему заговорил! Сняли и сняли. Будто так и надо. Боялись? Да нет, что ты! И в голове не было, не такие ребята. Просто думать не умели, не хотели. А ведь Жуков! Он тогда как раз командующим сухопутными войсками был, и его сняли — как со стенда. Мол, свое дело сделал, иди на округ. Жуков, я считаю, был как Суворов и Кутузов, вместе взятые, на новом этапе, конечно. Кутузов в России Наполеона разбил, Суворов всех расщелкивал в дальних походах. А Жуков — и Москва, и Ленинград, и Сталинград, и Берлин, и еще что хочешь. И немец-то — не француз! Я потом, когда это вспоминал, на стену лез. Как же я мог! Даже не задумался...

Дождь за окном перестал, потом пошел снова.

— Вы боялись, что мало мы полили. Вон он как,— кивнул полковник.

Князев разволновался, стал ходить по комнате.

— Хорошо вы сказали. И я ведь думать не умел. Поступил в институт и поехал к дяде в гости, время еще было. Август сорок шестого. У вас — тоже сорок шестой. Я только сейчас сообразил и объединил эти два события. Послушайте. Городок маленький, пришел я на стадион. Там в футбол играют, а рядом газета на щите висит. Я подошел и читаю: Зощенко и Ахматова нам мешают, не с народом они. Короче, разносят их вдрызг. И кто разносит! И ведь поверил я. Точнее сказать: почти поверил. А если не верить, то тогда как же? Но ведь я Зощенко сам читал, смеялся. Ахматову, правда, не знал, темный был парень. Не знал тогда ничего. Но тянуло в филологию почему-то.— Он рассмеялся: — А те, кто смолоду много знал в нашем деле, из них, как правило, ничего не получилось. Они с самого начала думали, что знают все. В отличие от нас. А мы сами до всего доходили.

Прочитал я эту газету, с интересом, надо сказать, и все, стал футбол смотреть. Но уже в институте понял: нет, так нельзя. Надо самому разбираться... Ну, что, сыграем? Ладно, дальше расскажу.

Князев знал за собой — если он увлечется, его не остановишь. И на лекциях студенты не раз кричали: «Рассказывайте, рассказывайте, мы хоть перерыв посидим!..» Самому надо стоп-кран срывать.

— Ну, ладно. В литературе тогда такую муру до небес поднимали! И шедевры среди этого терялись, до поры, конечно, до времени. Тогда, чтобы процветать, нуж-

но было приспосабливаться, угадывать. А разве это дело искусства? Но некоторые наловчились угадывать безошибочно. Премии каждый год. А где они сейчас?

— А где?

— Да нигде. Нету, и все. Ну, а не угадаешь, что нужно народу, пеняй на себя.

Князев рассмеялся:

— Я совсем забыл, а сейчас вспомнил. У нас анекдот на эту тему был в студенческую пору. Про князя и художников. Не слыхали? Меня самого ребята часто Князем звали, по фамилии. Но это не про меня. Значит, так. Жил старый одноглазый князь, окривел в бою. Позвал художника, заказал свой портрет. Портрет должен быть правдивым. Напишет хорошо, будет награжден по-княжески, плохо — ну, уж тут...

— Секир башка? — уточнил полковник.

— Именно... Что ж, правдивый так правдивый. Написал его художник одноглазым. Князю не понравилось.

Позвали второго. Условия те же. Второй художник написал его двуглазым. Князю не понравилось.

(Рассказчик чуть-чуть, как перца, добавлял акцент.)

Третий художник написал его в профиль. Так выпьем за социалистический реализм!..

Полковник тоже улыбнулся:

— Это надо же!

Князев остановился против него и стоял, сунув руки в карманы,— былой московский парень, слегка приблатненный. От его орденских планок рябило в глазах даже у полковника.

— А если уж думать о том, что больнее всего, то это, конечно, тридцать седьмой...

— Согласен,— тут же сказал полковник.

Полковник сидел в кресле. Князев по-прежнему стоял перед ним:

— У меня, например, из близких никто не пострадал. Но не могу успокоиться. А слово-то какое: пострадал! Пострадали. Как от наводнения. Мор какой-то, эпидемия.

— Но это неверно — называть только один год. Тут, понятно, был пик, но ведь это шло и до, и после. И продолжение наверняка было бы еще ужаснее. А у меня деда в тридцать шестом взяли, а в тридцать седьмом как раз выпустили. У них там свои какие-то были те-

чения. Но дед уже был не тот, молчаливый, отчужденный какой-то, запивал на два-три месяца...

Они теперь говорили, почти перебивая один другого.

— Больше всего поражает, что сторонников. Они и так бы за него умерли. С пользой... Да нет, не конкурентов, не соперников. Какие там соперники! Он убирал сначала тех, кто знал, кто видал прежние порядки в партии, как это бывает, как должно быть. И он преуспел в этом. А потом уже подряд...

Говоря это, Князев впервые подумал, что они, подсознательно, что ли, не называют имени, а говорят: о н. Так у некоторых племен именуют особенно свирепых хищников, чтобы те не подслушали и не пришли в темноте.

Князев опять как лекцию читал:

— Это не политическая борьба. Это уголовное преступление. Немотивированность его. Самая махровая уголовщина.

И еще знаете, что я вам скажу? Люди, жалеющие о тех временах, подсознательно, по характеру доносчики, тюремщики, каратели, а ужасающиеся при мысли о той поре — потенциальные жертвы...

Князев вконец разволновался:

— Я не знаю, не представляю, чем бы это могло кончиться, если бы не...

— Война?

Князев быстро глянул на полковника:

— Именно.

Вы понимаете, у меня такое впечатление, что о н боялся войны, оттягивал ее, чтобы заниматься э т и м. И высший комсостав тоже вырубал. А? И вдруг, да не вдруг, война. Ужасный парадокс, но она приостановила эту беду. Она как встречный пал. Знаете, чтобы остановить таежный пожар, на его пути выжигают участок тайги?

— Да знаю я, сам участвовал.

— Но опять же, опыт тридцать седьмого был взят и сюда. Своих не жалели. Взять деревню или, скажем, удержать любой ценой! А зачем любой? Ведь логичней меньше потерять. «Мы за ценой не постоим» — это его позиция. А окруженцы, они что, предатели? Трибуналы, конечно, нужны. Война — дезертиры, паникеры. Но больно уж круто! Отстал от эшелона — искупи кровью.

— Это мне знакомо.

— Штрафбаты. Заградотряды. А от пленных своих отказаться! Нет у нас пленных — и все! Есть только предатели.

— И все-таки...— начал полковник.

— Да. И все-таки война, со всеми бедами ее и горем, затормозила этот процесс. Очистила души, сплотила людей, облагородила в массе. Хотя и накипи, дерьма всякого немало выявила тоже...

Князев подошел к окну. Дождь перестал. Только отдельные крупные капли, срываясь с крыши, ударяли по карнизу.

Небо, с утра затянутое дождевой пленкой, неожиданно расчистилось, только вдали, за рощей, стояли темные мелкие облачка. Город был весь вымытый, тускло поблескивал крышами домов и машин, мостовыми и тротуарами. Ощущалось присутствие еще невидимого предвечернего солнца.

Князев провел ладонью по лицу.

— Ну, что, дорогой полковник, доиграем? А то ведь два — один.

— Давайте,— согласился тот.

Князев, чернея на фоне окна, приблизился, начал расставлять на доске фигуры.

— А знаешь, что меня еще мучает? — неожиданно спросил полковник.— Вот я думаю об оккупации, немец сколько нашей территории занял. Везде подпольщики были, партизаны. Но ведь помимо них в каждом городе, в каждой деревушке бургомистры, старосты, полицаи, каратели, прочая нечисть. Везде они обнаружились, куда немцы пришли. Но ведь немец-то не везде был, вот какая штука!.. Ну, ладно, мой ход. Белые начинают и выигрывают.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Поздним, уже прогретым, московским утром молодой высокий парень в светло-синем спортивном костюме фирмы «Пума» с маленьким силуэтом дикой кошки на груди в два шага поднимается по сбитым ступенькам парикмахерской. Внутри полумрак, прямо против входа пустующий гардероб, налево женский зал, направо мужской. В узком коридорчике ожидают несколько человек. И тут обнаруживается, что парень приезжий. Москвич спросил бы: «Кто последний?» или «Кто крайний?», или вообще ничего бы не сказал, предоставляя это следующему. Парень спрашивает:

— За кем буду?..

Неказистый старичок важно кивает ему. Парень садится. По коридорчику проходят к кассе и обратно клиенты и мастерицы, и он вынужден то и дело подбирать ноги. Обут он в модные кроссовки, на коленях у него спортивная сумка.

— Ваша очередь,— подсказывает он старичку, но тот отвечает с гордостью:

— Жду мастера.

Вы подумайте, у него свой мастер!

Парня тоже подгоняют, и он пропускает кого-то, прежде чем войти в зал.

Зал большой, кресел много, окна открыты, он входит, высокий, очень стройный, и направляется к ней. Когда он садится, то сразу становится такого же роста, как все,— самое длинное в нем — ноги. Пока он идет к ней, она коротко встречается с ним взглядом.

Теперь она моет руки, нагибается и вынимает из тумбочки чистую простыню. Она ничего не произносит, она говорит пальцами, касаясь его щек, поглаживая его шею, затылок.

Зато ее соседка, работая, рассказывает кому-то бесцеремонно-громко:

— Волос кудрявый, черный, аж синий. Растет — и все. Я брею, а он за бритвой растет...

Профессиональная история.

А у него волосы мягкие, светлые, волнистые. Да и стригся он у нее всего три дня назад. А на торсе — как у мальчика,— ни одного волоска.

Она спрашивает: «Освежить?» — и тут же окатывает его «Шипром». Потом пишет что-то в своей ведомости и вместе с ним направляется к кассе. Она идет впереди него,— у нее типичная, вразвалочку, с ленцой, походка парикмахерши.

Когда они минуют сидячую очередь ожидающих, она поворачивает голову:

— Придешь сегодня?

— А?

Он считает хорошим тоном сделать вид, что сразу не расслышал, что был занят в мыслях чем-то более значительным.

И со второго раза:

— А?— и кивок:— Приду.

Он вынимает мелочь. «Шипр» она в уплату не поставила.

А она возвращается в зал, бросив на ходу: «Пройдите»,— и, не глядя на следующего клиента, отряхивает простыню.

На стене, против нее, висит фотография известного эстрадного артиста с высоким коком и низкими висками. Его не все узнают, потому что сейчас ему пятьдесят, а на фотографии — тридцать. Откуда взялся этот снимок, не знает никто, даже Ленечка, самый старый мастер. Когда к нему садится кто-нибудь плешивый, Ленечка всегда спрашивает:

— По чужим подушкам волосы растерял?

Вот так, прямо на «ты». Многим этот вопрос нравится, льстит, а интеллигентные люди смущаются, теряются, не находят, что ответить. Впрочем, каждый уважающий себя человек имеет своего мастера.

Она машинально стрижет следующего. Подстригает. Ей двадцать четыре года. Когда-то один пожилой мужик,— тогда называли «чувак»,— на ее вопрос, что ему в ней нравится, ответил: «Вульгарность»... Она еще

не знала точно, что это такое, но чувствовала, что это не вполне так. Однако что-то мешающее ей в ней все-таки было. А вот в сестре это отсутствовало напрочь, и ее муж порой поглядывал на свояченицу с особым, может быть, неосознанным, задумчивым интересом. Потом он умер...

А парень между тем выходит на улицу. Видно, что он не торопится. Более того, он выбивается из ритма спешащего города. Он покупает брикет мороженого, сворачивает на бульвар и садится на пустую скамейку. Потом отгибает фольгу, откусывает и морщится: на губах еще привкус одеколона. Но не выбрасывать же мороженое. Он сидит, откинувшись на спинку скамьи, свободно вытянув свои длинные ноги в кроссовках. Сумка у него на молниях и под цвет костюма, но не фирма. Это слегка огорчает его. Можно было бы, конечно, тоненько нарисовать пуму, но это все-таки уже не то. На правой руке между большим и указательным пальцами виднеется наколотая буква «Д». Она выглядит бледной, словно выцветшей,— тушь была слабая или побоялся лишней боли? Однажды у него спросили на соревнованиях: «Ты что, из «Динамо», что ли?..» Чудаки, просто он Дмитрий, Дима.

День разворачивается жаркий, вполне летний, однако не только в листве, но и в самом воздухе, и даже в движениях людей ощущается неминуемое приближение осени. Это время, когда на улицах Москвы замечается много загорелых женщин.

Дима медленно откусывает твердое мороженое. Зубы не ломит, они у него крепкие. У него все крепкое.

С чего же началось? До тринадцати лет он был ростом как и другие ребята. Встречались и повыше его. А тут вдруг выстрелил круто вверх, за одно лето обошел всех на голову. И дальше, дальше... И главное, не сутулился никогда,— тонкий, прямой, загляденье. Родителям все советуют наперебой: в спорт его, в спорт. И первое, что приходит на ум: баскетбол. Пошел, но городок маленький, какая там команда!

Перспективы на нуле. Да и не захватил баскет, цепкости не оказалось в руках, а в характере злости, терял мяч то и дело. И попросту скучно было, неинтересно — пас отдавать, и самому без конца открываться, и под щитами биться, натыкаясь на чужие железные мускулы. Не командный он был человек,— штучный.

И тут углядел его заводской тренер, Альберт Иванович: «Я из тебя классного прыгуна сделаю».

Дима и раньше прыгал за школу, по старинке, перекидным, а тут взялся всерьез, освоили «флоп», и начал он правда все подряд выигрывать. Второй взрослый разряд выполнил и к первому уже подбирался, капельки недоставало.

Окончил Дмитрий десятилетку, и было уже договорено: пойдет в пединститут областной, там его брали с таким результатом, опять же Альберт Иваныч устроил. От дома час езды. Но не повезло,— в институте открылись злоупотребления, что подтвердил громкий газетный фельетон, ректора сняли, кто-то попал даже под суд, страху навели порядочно,— не до Димы. А сам не потянул.

Удар был жестокий, и деваться некуда; путь один — в армию.

И вот здесь все получилось как раз наоборот: Дима неожиданно попал в спортивную команду. Как это произошло, трудно понять, наверное, опять не без добрых людей, потому что таких, как Дима, здесь почти не было. В спальной комнате на прикроватных тумбочках пестрели таблички, где рядом с фамилией выделялись буквы: «МС» или даже «МСМК». Да, здесь были и мастера спорта международного класса. Ребята готовились к соревнованиям, режим у каждого был свой. Конечно, всякие были люди — и такие, для которых это было просто удобное место, синекура, передышка, и отдающиеся делу целиком, сосредоточенные на этом.

Тренер группы высотников, седоватый, худой и легкий, всегда ходивший в олимпийском тренировочном костюме, бегло посмотрел на Диму и поинтересовался его режимом. Дима не пил, не имел к этому привычки и интереса. И не курил тоже,— знал, что это вредно. Однако тренер сразу обнаружил и его слабости: «не дорабатываешь!»

Это было сказано почти брезгливо. Действительно, Дима терпеть не мог штанги.

Называли тренера по-разному: кто «товарищ майор», кто «Палыч». Кто как заслуживал. За глаза чаще всего — «Дед».

Первый разряд они сделали очень быстро. Тренер поправил разбег, и дело пошло. Потом, правда, опять застопорило. Но и первый разряд под ногами не валяется. Хотя и не ахти что, по нынешним-то временам.

Был еще один человек, с которым Дима постоянно общался. Командир комендантского взвода прапорщик Долотов. Его все звали — Прапор. Он еще захватил немножко войну, был сыном полка, потом надолго прилепился к армии, дослужился до старшины, остался на сверхсрочную. Он был спокойный, серьезный, очень доброжелательный. К нему шли по любому поводу: трусы, шиповки, увольнительная... Дима открывал к нему дверь и выкрикивал: «Товарищ гвардии прапорщик! Разрешите обратиться!..»

Тот, выслушав нужду, отвечал рассудительно: «Димитрий, я тебе помогу.— И часто предлагал сверх этого: — Хочешь чайку?»

Дима, если бывала возможность, оставался, и Прапор, прихлебывая из большой фаянсовой чашки, рассказывал о жене и сыне, живущих в Москве, о сложностях своей семейной жизни.

Он уважал Диму. За что? Дима давно заметил, что нравится почти всем, с кем встречался в жизни, и мужчинам тоже.

Правда, иным он был ясен: «Не дорабатываешь!»

Однажды бежали кросс по пересеченной местности, по лесным тропинкам, выскочили на дорогу в своих тонких тренировочных костюмах и увидели идущих с занятий потных, усталых солдат в полной боевой выкладке.

Палыч посмотрел им вслед и сказал веско: «Вот где работа!..»

«Работа, работа, хорошо работает, не дорабатываешь»,— как же все это надоело Диме!

И все-таки они проделали за зиму и весну немалый объем и к началу лета были готовы.

Предстояли большие армейские соревнования. Неожиданно для себя Дима оказался включенным в команду.

Столовая помещалась в колоссальном зале и работала беспрерывно с подъема до позднего вечера, потому что весь день шли соревнования, атлетов нужно было кормить и до них, и после.

Дима поставил на поднос тарелку овсянки, два творога с медом, чтобы мед съесть, а творог оставить, в день выступлений это было тяжеловато для него, и стакан чая. Народу было полно. Несколько секунд назад он присмотрел себе место, но сейчас, повернувшись, увидел, что оно уже занято. Он пошел по залу, держа перед собой поднос и выискивая знакомые лица. У стены в углу стоял маленький подсобный столик, за ним сидела крепкая девушка, второй стул был свободен. Дима уже проходил мимо, когда она сделала приглашающее движение — одними глазами.

— Уф! — сказал он вместо благодарности, освобождая поднос.

— Баск? — спросила она.

Он с облегченьем рассмеялся. Ему хотелось расслабиться, снять напряжение,— день предстоял тяжелый.

— Нет, просто испанец.

Теперь засмеялась она:

— Вижу, что ошиблась, баски толпой ходят. Высота?

Он кивнул.

— А ты? Ядро?

— Почти угадал. Дискоболка.

— Дискобулка?

Она прыснула:

— Ни от кого еще не слыхала.

У нее были крепкие плечи, высокая грудь, но в лице что-то наивное, детское: вздернутый носик, распахнутые серые глаза.

И она действительно была похожа на хорошо пропеченную, поджаристую пшеничную булочку.

Он отставил тарелку, взялся за остывающий чай. Вокруг сдержанно шумело могучее спортивное море. Ровный гул внезапно взрывался дружным хохотом. Это веселились чему-то своему волейболисты. Проходили сдержанные штангисты, мелькали страдальческие лица юных гимнасток.

А он уже отключался, уходил в себя. Великое качество для спортсмена и поэта.

Вдруг он заметил, что и она тоже смотрит вглубь себя задумчивым взглядом. Он тихо поднялся.

— Сегодня? — спросила она неожиданно. И, когда он кивнул, слабо улыбнулась.— Я тоже.— И добавила: — Ни пуха...

— К черту. И тебе...

Она тоже встала. Она была немаленькая ростом, хорошо сложена, но нечто детское в лице словно делало ее меньше. Она повернулась и пошла в другую от него сторону.

— Послушай,— окликнул он ее.— Я загадал. Давай сегодня вечером встретимся у эстрады.

— Во сколько?

— Ну, в восемь. У эстрады, слева. В любом случае.

Начали с метра девяносто пяти. Дима заранее условился с Дедом, что вступит со следующей высоты,— для самоутверждения. Он хорошо настроился, но участников оказалось слишком много, почти все использовали по три попытки, время шло и шло. Когда наконец планку подняли еще на три сантиметра, Димой овладела апатия. Он смотрел на вереницу прыгунов, поочередно разбегающихся, взлетающих в воздух, сбивающих планку, смотрел с удивительным, почти безразличным любопытством. Так и он сейчас взлетит, так и он собьет.

Тут его тронули за плечо. Он с удивлением оглянулся. Рядом стоял Сверчков, их ас, знаменитость. Он, видно, только подошел и начинал разминку.

— Чего уставился? — крикнул он шепотом в Димино ухо.— Чего ты пялишься на них? Забудь их всех к лешему. Ты и планка — больше здесь нет никого!..

И стукнул Диму между лопатками. И Дима очнулся, отвернулся от соперников едва ли не с отвращением: а эти еще откуда? Когда его вызвали, он встал, поднял руку, постоял, четко представляя себе все, что сейчас будет, все, что должно быть, и пошел по дуге цепкими, мягкими, мощными шагами. Он хорошо толкнулся, идеально развернулся по отношению к планке, но, почти уже перейдя, еле-еле задел ее поясницей. Она завибрировала уже над ним, лежащим навзничь, и он молил ее, чтобы она удержалась, но она упала. Это было самое

обидное и разочаровывало, потому что воспринималось как невезение.

Он вернулся на скамейку и натянул костюм, чтобы не растерять накопленное тепло и с ним эластичность мышц.

Опять медленно потянулось время, но он был уже другой, нацеленный на свой прыжок, злой на планку. «Подумаешь, делов-то»,— успокаивал он себя словами Сверчкова.

Трибуны были заполнены солдатами местного гарнизона и гражданскими тоже, откликались живо, подбадривали,— он ничего этого уже не видел и не слышал. И другие, понятно, шли соревнования: забеги на короткие дистанции, ядро у мужчин, диск у женщин...

Когда его вызвали на вторую попытку и он уже стоял на своей точке, раскачиваясь вперед-назад перед разбегом, судья поднял красный флажок, и Диму остановили. На стадион вошли ходоки на двадцать километров, сперва только двое, победители, и своим дурацким, раздражающим Диму шагом, бурно работая локтями, замельтешили по дорожке. Трибуны оживились, зашумели,— этот вид воспринимался как некий забавный номер.

Дима все стоял на своем месте. Он чувствовал, как мелко, почти неуловимо задрожали его колени.

Судья поднял разрешающий белый флажок, но Дима видел краем глаза, что в ворота стадиона входят группой еще несколько ходоков. Они были еще далеко, но уже мешали Диме.

Но делать было нечего. Он опять мощно прошел по дуге, резко толкнулся и чисто миновал планку.

Следующая высота — с первой попытки.

Два ноль пять тоже: раз — и там.

Если бы были правильные, да не слишком большие интервалы, он так бы и щелкал одну за другой. Такое появилось ощущение.

Но тут вошли в игру асы, ритм опять нарушился.

Теперь уже рядом с ним прыгали Сверчков и еще двое своих. Они переходили через планку с огромным запасом. Но и он прыгал тут же как равный. Держался, не сходил.

Два ноль восемь с первой попытки перешел и, уже летя вниз, на поролон, непонятно как задел планку пят-

кой. И услышал, будто заглушки вынули из ушей,— как весь стадион ахнул огорченно. Дима даже не понял сначала, что это связано с ним.

Со второй попытки он взял высоту чисто. Буднично даже как-то взял. Он лежал на спине, над ним было ярко-голубое, с одним белым облачком небо, резко пересеченное неподвижной, будто врезанной в голубизну, планкой. Он тут же, конечно, вскочил, но картина эта осталась.

Два одиннадцать он почти взял с трётьей попытки,— планка опять подрожала на упорах и упала. Зрители, однако, хлопали ему. Он поднялся и помахал трибунам обеими руками.

Кто-то из ребят взъерошил ему мокрые волосы. Даже Сверчков шлепнул сзади по трусам.

— Поздравляю.

— С чем?

— С чем! С кандидатом.

Тут до него дошло: он выполнил норму кандидата в мастера. Сделал чисто, не придерешься.

Солнце заваливалось за срез трибуны. Стало прохладней.

Он очень устал. Хотелось под душ. Но он натянул костюм и остался смотреть, как прыгают ребята.

С результатом два двадцать шесть первое место занял Сверчков.

Войдя в столовую, он вспомнил про дискоболку-дискобулку. Казалось, что он разговаривал с ней месяц или два назад. Быстро глянул на часы — было только полвосьмого. Когда он подошел — минута в минуту — она уже смотрела, как пляшет армейская самодеятельность. Он остановился рядом с ней, тоже глядя на эстраду,— она его не замечала,— он притиснулся ближе, вплотную, она машинально отодвинулась и недовольно взглянула в его сторону.

— Ой,— сказала она.— Увлеклась. Как дела?

— Да ничего,— ответил он безразличным тоном.— Пошли к площадке? Там танцуют...

Они выбрались из толпы зрителей.

— А я смотрела тебя, все глаза высмотрела,— призналась она.

— На пьедестале, что ли?

— А где же еще! Слышу, Сверчков выиграл.

— Это наш. А у меня свой рекорд, скромный, конечно. Кандидатскую норму выполнил,— объявил он небрежно, ликуя внутри.

— Ой, это ты? Я слышала, объявляли. Дмитрий?

— Да. Кто объявлял?

— Диктор объявлял по стадиону, поздравлял. Жаль, я тогда не знала.

— А я ничего не слышал.

— Ну, как же! И я поздравляю. Дмитрий. Митя, значит?

— Димой кличут.

— Да, Дима лучше. А я — Ира.

— Ну, а ты как? — спросил он, уже чуть снисходительно.

— У меня третье место.

— Ну, ты молоток!

Над бетонной, с выбоинами, танцплощадкой звучала радиола. Дима подал Ире руку, обнял за плечо, ощущая ее литую, сдержанную силу. Она споткнулась и засмеялась:

— Танцы устроили, чтобы напряжение снять, а колдобины такие — травму получишь!

Он отпустил ее, и они раскованно пританцовывали, друг к другу лицом, словно делали легкую разминку.

Она внимательно посмотрела на него и сказала сочувственно, как женщина, а не как спортсменка:

— Ты так осунулся за этот день, Дима...

— Осунешься.

Потом они еще долго бродили от танцплощадки к эстраде и обратно. В окнах корпуса, где они жили, горел яркий свет, или же темные стекла отсвечивали только наружным огнем. В первых двигались люди, сделавшие сегодня все, что было в их силах, за вторыми — спали или пытались заснуть те, кому это еще предстояло.

— Послушай, Ирина,— спрашивал Дима,— а кто ты такая, собственно, есть? Военнослужащая или медичка? Или офицерская жена?..

— Нет, я вольнонаемная. Физрук. С ребятишками занимаюсь. А заочно в Инфизкульте учусь на втором курсе.

— С этим все ясно. А я рядовой...

— Дима, а знаешь, мне кажется, мы сегодня правда удачу друг другу принесли.

— Возможно.

Не доходя до корпуса, он остановился с ней под тремя крупными липами, остатком старинной аллеи, сказал:

— Ну, ладно, давай прощаться. Поцелуемся? — и нагнулся к ее лицу.

«Сейчас как даст по уху — улетишь»,— успел с улыбкой подумать он, но она, не жеманясь, подставила неожиданно мягкие губы и сама встречно поцеловала его.

— Ходили, ходили, не целовались,— сказал он, отпуская ее,— а поцеловались один раз — и тут же до свидания. Нелогично. Давай еще погуляем...

— Вам, мужчинам, только бы целоваться,— согласно отвечала она, переводя дыхание.

— Почему только? Не только! — говорил он обиженно. А перед сном еще в столовую зайдем, кефир пить...

Дед похвалил назавтра:

— Молодец.— И добавил задумчиво: — С таким точно результатом Кашкаров на Олимпиаде бронзу взял. Вот как жизнь меняется...

— Каспаров? — переспросил знакомый гиревик, проходящий мимо. Прыгуны посмотрели на него презрительно:

— Ка-шка-ров. Игорь. В пятьдесят шестом, в Мельбурне.

В части, когда вернулись, тоже были ими довольны: место заняли высокое. Выдали в поощрение за небольшую совсем цену импортные тренировочные костюмы. «Адидас» ему, конечно, не достался, но и «Пума» неплохо.

Прапор зауважал его еще больше,— кандидат!

— Такой молодой, а уже кандидат!— валял дурака Дима.— Как Палыч...— Дед был кандидатом педагогических наук.

— Молодой, да ранний, Димитрий,— серьезно вторил Прапор.

— Эх, знаешь,— размечтался Дима,— к этому бы результату сантиметриков тридцать, и вон ты

где — мировая элита. А всего-то тридцать, пустяки!..

— Погоди, Димитрий,— наставлял его Прапор.— Ты слушай меня, у меня большой опыт. На кандидате останавливались многие. Это как подполковник. До него офицер плавно идет. А вот полковника получить куда труднее. Ну, а уж генерала! Ты это учитывай, Димитрий...

Но Дима знал про себя, что вряд ли получится пойти дальше. Амбиции не хватало, упорства, злости. Отсюда и — «не дорабатываешь!..» Он внутренне словно уже удовлетворился.

— Скоро демобилизуюсь, Димитрий,— говорил между тем Прапор.— Приказа жду. Потрубил, хватит. Да и врачи ишемышечную болезнь находят. Хотя жалко, конечно. У тебя телефон мой есть? Запиши новый. А? С женой развелись, разменялись. Теперь у меня комната. Записал? Будешь в Москве, звони, Димитрий...

Дима при случае охотно записывал адреса и телефоны всех, кто предлагал ему это сделать, а иногда и сам проявлял инициативу: «Давайте, я ваш телефончик запишу...» На всякий случай, авось пригодится.

— Да ведь и мне уже скоро,— отвечал он Прапору.

Дома его встретили как героя — кандидат в мастера, один на целый город. От него ожидали последующих подвигов. Но он безошибочно осознавал, что выше той отметки ему уже не взлететь. Не увидеть, падая на спину, высоко над собой в голубом небе неподвижную планку. В армии какие были условия, и то не получилось!

Конечно, если было бы в придачу физкультурное образование, да еще высшее, он бы получил отличное место: старшим тренером бы взяли или председателем спортобщества. И все опять загалдели — и родители, и Альберт Иваныч: в институт, в институт. Не в областной уже, а в Москву. И Дима согласился.

Может быть, это было ошибочное решение, а может, и нет, кто мог это знать заранее!

Время для подготовки оставалось, он занимался, разбирался, но не очень запоминал, усваивал. В его ушах все еще стояли голоса Палыча, Сверчкова, Прапора, он близко видел детски-распахнутые глаза Иры и ощущал под ладонями ее крепкие плечи. Он слышал дале-

кий звук армейской трубы и теперешний птичий гвалт за окном,— и это его занимало тоже. Не только отвлекало, но и заинтересовывало.

Он уходил с книгой на речку, читал, лежа под кустом, засыпал над ярко освещенной страницей, пробуждался, входил в нагретую воду,— ему было здесь мелко,— плавал кролем, выбирался, обсыхал на солнышке, опять читал.

Вода рябила в глазах, от нее шли радужные слепящие пятна, буквы на странице расплывались, порой в стороне появлялась лодка, он с трудом различал ее сквозь дрожащий летний зной. Где-то поблизости, в кустах, лениво переговаривались загорающие женщины. И это, все вместе, не тревожило его, а доставляло смутное удовлетворение.

А потом было купе скорого поезда, нижняя полка, невозможность распрямиться, вытянуть согнутые в коленях, немеющие ноги. Потом заполненная народом, как в праздники, привокзальная площадь, короткая обалделая растерянность в метро, автобус. На Диме был фирменный тренировочный костюм, кроссовки, на плече сумка. В ней — тонкий плащ, водолазка, трусы, майка, носки. И все. Ну, там, мыло, зубная щетка. И два учебника.

Потом он, держа в ладони талончик с номером комнаты и заглядывая в него, поднимался по лестнице общежития, стучал в дверь.

На застеленной кровати лежал на животе и читал учебник черноволосый парень. Увидев вошедшего Диму, он принял сидячее положение, протянул руку и представился: «Тенгиз». Это сработало в нем нечто сугубо южное, потому что через секунду он уже опять лежал в прежней позе, уперев локти в матрац и поставив на кулаки голову.

Дима сел на стул возле своей койки, тоже достал учебник по литературе и начал листать его. Но все его отвлекало — шум автобуса за открытым окном, слабый шелест листвы возле дома. Его отвлекала и уверенная, упорная фигура Тенгиза. Тот читал учебник, не отрываясь,— как детектив.

Дима тоже смотрел в свой учебник, но взглядывал и на Тенгиза и ничего не понимал, как тогда, перед прыжком. Лишь почувствовал, как опять мелко задрожали колени. Но не было Сверчкова, чтобы

одернуть его. Хотя здесь, наверное, и он бы не помог.

Неожиданно Тенгиз, не выпуская из рук книжки, перевернулся на спину, положил ноги на спинку кровати и продолжал читать.

Это совсем доконало Диму, и он тоже прилег. Глаза его слипались, он задремывал. Раздался скрип кровати, и он раскрыл глаза. Тенгиз поднялся, сделал несколько круговых движений корпусом и наклонов и начал отжиматься от пола. Он отжимался так неутомимо и долго, что Дима опять задремал.

Вечером Тенгиз спросил:

— Дима? Ты откуда? А я из Батуми.— И продолжал чтение.

А потом? А потом Дима как во сне стоял возле «Доски объявлений». И другие стояли, вглядываясь. А над ними висела тишина.

Наконец Дима нашел себя в списке. Не поверил — но инициалы сходились. Он не отошел сразу, как другие. Он продолжал стоять, ни о чем не думая. Это был список получивших неудовлетворительные оценки по письменной работе.

И закрутились, затолпились в голове шарики, как в барабане «Спортлото». Домой? Нет, только не это.

В коридоре попался ничего не знавший Тенгиз, улыбнулся, кивнул, но отрешенно, погруженный только в себя, сильный, решительный.

Дима вспомнил выражение Палыча: «Собран на выигрыш». Старые игроцкие эти слова подходили сейчас Тенгизу.

Дима быстро собрался и вышел почти с облегчением.

В автобусе он обратил внимание на объявление о наборе на курсы водителей. «Иногородним предоставляется общежитие». Значит, его внимание заработало выборочно. Он вылез около парка, нашел телефонную будку и сел возле нее на скамью. Здесь было пустынно,— вдали вокруг большой клумбы катались ребятишки на велосипедах, сгрудившись возле одной из скамей, старики-пенсионеры наблюдали за игрой то ли в шахматы, то ли в домино,— Диме за их спинами не было видно.

Он вынул и начал листать свою алфавитную книжечку. Московские телефоны помещались у него отдельно. Были дядя с тетей,— им он звонить не собирался.

Он вошел в будку, набрал номер и долго держал трубку около уха. Но там не отвечали. Он набрал другой номер.

— Да,— сказали ему скучным голосом.

— Здравия желаю, товарищ гвардии прапорщик запаса! — крикнул Дима.

— А, Димитрий. В Москву приехал?

Дима прямо сказал, что не поступил, но так, что жалко было не его, а институт. У него это само собой получалось.

Через минуту он уже шагал к остановке.

— Как здоровье, Димитрий?

— Ничего, не жалуюсь. Как ты?

— Тоже ничего. Диагноз тот сняли.

— Ишемическую?

— Да.

Казалось, они расстались лишь вчера.

Комната у Прапора была довольно просторная. Кровать с ковром над ней, еще диванчик, стол, конечно, стулья, одно кресло. На книжной полке стояли собрания сочинений Закруткина и Теккерея. Небольшой черно-белый телевизор «Рассвет» был включен чуть ли не на полную катушку. Передавали о какой-то отстающей бригаде. И о передовой тоже.

— Смотришь?

— Да так, по привычке,— хозяин выключил телевизор.— Недавно Леонида я встретил. Помнишь? Ну, значит, он до тебя еще служил. Мастер спорта. Только что защитился. Тоже хороший парень. В отряд космонавтов его берут. Там такие позарез.

На тумбочке рядом с телевизором, на спинке кресла, на кровати, выбиваясь из остальной обстановки, лежали довольно изящные, вязаные из разноцветной шерсти салфеточки или коврики с затейливым узором.

— Ты что, женился, что ли?

— Нет, я же в разводе, Димитрий. Жена живет отдельно, то есть, бывшая, конечно. Сын с ней. Она на него, считаю, плохо влияет. Но я не только материально помогаю, а встречаюсь с ним, участвую в воспитании. А? В восьмом классе. А платочки эти другая женщина подарила. Приходящая няня.

— Няня?

— Ну, я так называю. Приходящая. Хорошая женщина, но пожениться нам сложно.— И перевел на дру-

гое: — Ночевать останешься? Оставайся. Вот у меня кушетка. Выпить, правда, ничего нет.

— Я же не пью.

— Ну, я не знаю. Может, ты начал. Попьем чайку, как бывало. Сам я работаю в ВОХРе. А? Вооруженная охрана. Работа хорошая, сутки отдежурил, двое свободный. Хочешь, могу тебя рекомендовать. Вот завтра с утра заступаю. И знаешь еще что, ты извини, Димитрий, но без меня здесь оставаться нельзя. Из-за соседей. Я пустил нашего, нет, ты его не знаешь, Ковалева, ушел на дежурство, он женщину привел, еще кого-то, напились, скандал устроили. Соседи милицию вызывали. Я обещал: без меня никого. А при мне, пожалуйста, ночуй.

— А как же няня?

— Я же сказал — приходящая. Она только днем. Мальчик у нее. А вообще замечательная, актуальная женщина.

— Больно уж ты добрый, Прапор.

— Я своим всегда помогаю, Димитрий. Это у меня правило.

— Чем же ты помогаешь?

Прапор, казалось, несколько смутился:

— Ну, например, билеты. В нашей фирме билеты и на поезд, и на самолет, и в театр всегда достать можно. Ну, ладно, чайник вон уже свистит на кухне как шпана.

Он включил телевизор. На экране был огромный, с ветвистыми рогами лось, а дикторский голос говорил про «братьев наших меньших»...

«Ничего себе меньших! — подумал Дима.— Вот где сила привычки».

Наутро они вместе вышли из дому. Прапор на службу, а Дима — куда?

— До завтра,— они расцепили руки, и Дима пошагал, высокий, прямой, с сумкой на плече.

Хорошо пройтись вот так, налегке, по солнечной стороне улицы, по утренней ранней Москве. Все спешат, бегут, торопятся, не смотрят друг на друга, задерживаются на миг у газетного киоска, пихают в портфель «Московскую правду» или «Труд», и дальше, дальше,— к трамваю, к троллейбусу, к метро. И все гуще, слитнее этот поток. Бегут хмурые, серьезные мужчины,

но особенно странно видеть хорошенькие лица молодых женщин, напряженные, озабоченные. Эти люди ничего не видят вокруг и перед собой,— только свою цель, свою дорогу. Но ведь и это немало. Они не хотят опоздать.

А ты никуда не торопишься, ты стараешься рассматривать прохожих, но их невозможно рассмотреть, они промелькивают, как в старом кино. Если бы так спешил один человек,— это было бы странно, тревожно, может быть, забавно, но когда торопятся тысячи, это становится нормой.

Странно выглядит тот один, движущийся совсем в ином ритме, но они не замечают его.

Тихо, безветрие, листва берез и лип неподвижна.

Сзади, по тротуару, швыряя струю до самых стен, едут машины-поливалки. Люди шарахаются, перебегают на газон, скрываются в магазинах. Дима забирается в телефонную будку, плотно захлопывает дверь, набирает номер, ждет. Он и вчера набирал несколько раз — никого.

Поливалки уже прошли. Он ступает на мокрый тротуар.

Хорошо прогуляться по утренней Москве, но что, если гулять нужно весь день! А впереди еще и вечер. А потом ночь.

«Иногородним предоставляется общежитие». Почему эти нелепые слова лезут в голову?

Болтаясь по городу, он остановился около огромной гостиницы, построенной к Олимпиаде. Этот прекрасный отель, как современный волшебный замок, гордо возносился в высоту. У его подъезда не наблюдалось особого оживления. И Дима четко представил себе, как он входит в вестибюль, а сперва швейцар открывает перед ним тяжелые двери и выхватывает багаж, а портье спрашивает: «Какой бы вы хотели номер? Для вас забронировали люкс и первый класс. Вы один?» — «Да, я один,— отвечает знаменитый Дима.— Я предпочитаю первый класс. Не терплю излишества в апартаментах».— «Будьте любезны, вот ваш ключ»,— и лифт плавно несет его в высоту.

Дима, грешным делом, любил пофантазировать.

Он вкусно и недорого пообедал в диетической столовой. Правда, в очереди пришлось постоять,— но ведь время было.

Потом он опять сидел на бульваре.

Иногда ему казалось, что он вернулся с войны. Родные его погибли при бомбежке. Их было жалко. И себя тоже. Он был никому не нужен. Но почему же никому? Он встретил симпатичную девушку. Но он без ноги. Впрочем, это уж слишком. А спорт?..

Он встряхнулся и встал.

Потом он смотрел какую-то заграничную кинокомедию. Но какую и о чем — совершенно не запомнил. Он только боялся, чтобы не украли сумку, намотал ремень на руку и зажал ее между коленями.

В течение своей жизни он не привык заботиться о еде и ночлеге.

Однако теперь он уже перешел черту уязвимости.

Денег оставалось маловато. Но до дома-то, он был уверен, доберется,— девочки-проводницы довезут, не дадут пропасть.

«Иногородним предоставляется общежитие».

«Одиноким предоставляется общежитие»...

Время от времени он входил в телефонные будки и набирал номер. Будки были разные — номер один.

Он решил поездить на метро. До часу. По кольцевой и по другим линиям тоже. А переночевать на каком-нибудь вокзале,— выбрать по дороге.

Гораздо медленнее, спокойнее, разреженнее, чем утром, прошла обратная людская волна — с работы. В ней было нечто умиротворенное.

Зажглись фонари. Над одним проспектом — голубоватые, над другим — оранжевые. Эти, вторые, бросали на мостовую и под стволы лип ровный тревожный свет.

Как дневные цветы, закрывались магазины.

Дима шел к метро. На глаза попалась светящаяся зеленая вывеска — «Парикмахерская». А ведь он давно собирался постричься. Часы работы... до 23. Он глянул на циферблат — без четверти одиннадцать, и впервые поднялся по этим сбитым ступенькам.

В мужском зале посетителей уже не было. Худенькая старушка подметала пол, толкая шваброй целый ком разномастных волос. Седой румяный мастер посмотрел на Диму, на часы и сказал пожилой толстухе:

— Рая, обслужи!..

— Да я уже все собрала, Леночка! — взмолилась она.

— Тогда ты, Алевтина.

Светловолосая девушка в отглаженном халате ответила, глядя на себя в зеркало:

— Больно мне нужно...

Потом повернула голову, посмотрела на него и кивнула на кресло:

— Пройдите...

Ночевал он уже у нее.

Просыпаясь, она всякий раз не верила своим глазам, видя его рядом. Она таких еще не встречала, трудно даже объяснить — каких.

Она всегда,— да что всегда, это было всего три раза, а казалось, что всегда,— просыпалась раньше, чем он. И сейчас она тихо встала с тахты, поискала глазами халатик на спинке стула, обнаружила его на полу и, повесив на стул, вышла в ванную. Потом вернулась и легла рядом.

Он спал на спине. Простыня сбилась, открыв его чистую грудь, плечи, тонкие руки. Ему что-то снилось. Вдруг лицо его сделалось отрешенным, ноздри затрепетали, он откинул назад голову, вдавливая ее в подушку, и прогнул спину. Она испугалась и хотела разбудить его, но он толкнулся торчащей из-под простыни левой ногой и еще выше задрал подбородок. Это длилось несколько секунд, потом он счастливо улыбнулся и перекатился на бок.

Она, подождав, тихонько поцеловала его в шею, потом в уголок рта. Он посмотрел на нее, голую, еще не проснувшимися глазами.

Да нет, никаким он не был бабником.

Она рассказывала ему свою жизнь. Есть женщины, и их немало, которые считают нужным рассказывать кратким избранникам о своих первых возлюбленных. Почему-то они думают, что именно это им интересно. Однако Аля рассказывала про свою жизнь, деревню, сестру. Он молча слушал ее.

Но если что-нибудь отвлекало, прерывало ее, пусть на самом интересном месте, он никогда не предлагал продолжить, не спрашивал: «Ну, и что же?..»

Она, подождав, сама говорила: «Так вот...»

А сейчас он сказал:

— С сестрой все ясно. Мы же ее увидим сегодня?

— Да, пойдем к ней, в этом же доме. Она прекрасная хозяйка.

— Сестра-хозяйка?

— Перестань, она медицинская сестра. Операционная. Причем старшая.

— Все ясно. Больно уж ты любишь просыпаться рано.

— Любишь! Мне же на работу,— удивилась она.— А так мне это не в кайф.

Сегодня было три операции. Одна особенно тяжелая, длительная, осложненная болезнью сердца и диабетом. Даша вымоталась (на работе не только девочки, но и многие врачи звали ее Дарья Степановна, но самой ей до сих пор нравилось — Даша). И еще не очень она привыкла к новому молодому шефу, к его шуточкам. «Дайте в руки мне гармонь»,— говорил он о скальпеле. Не в разгар операции, не вслух, конечно, но она уже знала, что он именно это имеет в виду. Понятно, с Петром Васильичем не сравнить, да и вообще — какие могут быть сравнения.

Витька ушел играть в футбол, а она запекла в духовке брус говядины, разделала селедочку, украсила кинздзой паштет. Аля больно уж просила, а к сестре у Даши было стойкое родственное чувство.

Имелась также бутылочка, но Алевтина предупредила, что он не пьет. Даша поставила все же на стол три рюмки.

Очень хотелось, чтобы устроила наконец Алька свою судьбу. Ведь все у нее есть для этого. Вышла бы замуж, родила, пока не поздно.

Когда-то они жили в деревне, трудно жили, даже скудно. Но воспоминания у Даши остались удивительно чистые, добрые. Мужиков совсем нет, только такие, как отец, хромающий после ранения, и парней почти не видать. Но как вечер, гармошка за окном, девичьи частушки. Она еще мала для гулянок, а все равно замирает сердце. И еще запах земли,— весной особенно. Был в соседнем селе совхоз, и там хорошие лошади. Иногда им разрешали покататься. Как она — лет десяти была! — неслась на серой резвой кобыле,— без седла, галопом. Говорили, со стороны смотреть было страшно. Эта скачка

до сих пор в ней. Тогда в деревне стояли солдаты, и вот командир толковал отцу, что, мол, жила бы она в городе, занималась бы в конно-спортивной секции, чемпионкой бы стала.

В город она по другой причине попала,— отпустили из жалости, только школу окончила. Выучилась на медсестру, стала работать в клинике, жить в общежитии. Медицинские сестры, а прежде, говорят, называли: сестры милосердия, всегда нужны. А она спокойная, миловидная, доброжелательная.

В той клинике и свела судьба с Петром Васильевичем. Мало того, что он был старше ее,— в полевом госпитале еще работал в войну,— он был знаменитый хирург, золотые руки, все, кому выпадала нужда, мечтали оперироваться только у него. И к тому же он был профессор, студенты за ним табуном ходили.

Два года проработала там Даша, и тут проводили на пенсию старшую хирургическую сестру по прозвищу «Королева»,— он без нее просто обходиться не мог. Но ведь незаменимых, как известно, не бывает. И вдруг он предложил ее — Дашу. Она испугалась, но он поговорил с ней обстоятельно, убедил, что все она знает и умеет, и она согласилась.

Хорошо было работать с ним!

А потом стали замечать, что он оказывает ей знаки внимания. Приглашает, например, в свой кабинет выпить с ним после трудной операции.

Вокруг зашушукались. Одна говорит: «Даш, смотри, ведь жена у него». А другая подружка: «Жена не стена, можно и подвинуть».

Это Даша запомнила.

Нет, она ничего не сделала, чтобы о т б и т ь. Он сам ушел от семьи, оставил жене и двум уже взрослым детям профессорскую квартиру, дачу, машину, почти все, что было у него.

Сняли двухкомнатную квартирку у каких-то людей, уехавших в длительную заграничную командировку, стали подыскивать готовый уже кооператив. Но тут возникла другая сложность. Аля уже год как тоже приехала в Москву, окончила курсы парикмахеров, начала работать, а жила на птичьих правах у сестры в общежитии. Теперь ее, разумеется, выселяли. Пришлось взять ее к себе, во вторую комнату. Но что это за любовь — на глазах у семнадцатилетней девушки! И когда

нашелся подходящий кооператив, профессор и Але приобрел отдельную квартиру,— однокомнатную.

Даша хорошо с ним жила. Можно сказать, счастливо. Родила сына Витьку, а когда он немного подрос, опять стала работать.

Отдыхали они втроем, ездили на новой машине в Крым, а больше в Прибалтику. Но не в респектабельных санаториях жили, как того хотелось Даше, а на турбазах Дома ученых, где-нибудь в лесу. Сдирая с лица паутину, нужно было чуть не на карачках лезть в палатку, страдать от комаров и сырости. Но почему-то так любили отдыхать даже некоторые академики. А однажды их соседом был известный гитарный поэт, тоже с новой семьей.

Умер Петр Васильевич три года назад, скоропостижно, едва выйдя из клиники. Подхватили, бегом понесли в реанимацию, но бесполезно,— от сердца, по сути, ничего не осталось... А Витьке уже двенадцать...

Дашей в течение многих лет постоянно владела смутная врожденная тяга к земле, страсть к саду, цветнику, огороду, но проявить, удовлетворить ее не удавалось — как раз из-за того, как они отдыхали, от отсутствия своего, пускай крохотного клочка земли.

Реализовала она это после смерти мужа — на его могиле.

Каждую субботу или воскресенье ездила она туда, за рулем «Лады», с лопатой, тяпкой, грабельками, лейкой, с дополнительной рассадой. С хирургическими перчатками в сумке.

В дверь позвонили. Даша обтерла руки промереженным кухонным полотенцем и пошла открывать.

Мальчик был симпатичный. В синем тренировочном костюме, высокий, хорошо подстриженный. Но мальчик! Зато Алевтина расфуфырилась, вся светилась. Даша мельком с умилением посмотрела на нее.

Сели. Даша принесла из холодильника заиндевевшую бутылку «Пшеничной», протянула ему:

— Дима, откройте.

— Он не пьет,— тут же сказала Аля.

— Похвально. Я попросила только открыть.

— А может, он не умеет...

Дима открутил винтовую пробку, поставил бутылку.

— Значит, никак? — попросила подтверждения хозяйка.— Нет так нет.

— Я тоже, пожалуй, не буду,— скромно сказала Алевтина.

— Вот что значит благотворное влияние,— улыбнулась Даша.— Тогда я себе налью капельку. В знак знакомства. Гулять так гулять.

— Под такую-то закуску! — застонала Алька.— Ты попробуй, какие пирожки.

Дима ел, хвалил еду, улыбался и смотрел на хозяйку покровительственно-наивным взглядом. Он был подсознательно уверен, что нравится ей. Не как мужчина,— она-то уж совсем была стара для него,— а просто как пришедший в ее дом человек.

А она поглядывала на него с симпатией и спокойным любопытством. Она навидалась таких мальчиков, и женщин, и мужчин, она навидалась их в н у т р е н н е й с у т и. И в буквальном смысле тоже.

— Дима,— мягко сказала она.— Аля просила меня порасспрашивать о каком-либо хорошем месте для вас. И вот знаете, что я подумала? Сейчас идет набор на курсы спортивных массажистов. Туда, правда, приглашают людей с медицинской подготовкой, но у вас, я думаю, свои преимущества. Вы спортсмен, мастер спорта...

— Кандидат.

— Неважно. У вас есть немалый опыт, вам делали массаж перед выступлением, во время соревнования и так далее. По-моему, стоящее дело.

— Соглашайся, Дима,— подхватила Аля.— Знаешь каких спортсменок будешь массировать!..

— Ну и реклама у тебя поставлена, сестрица,— не в силах сдержать смех, отвечала Даша.— Оригинальная.

— А что? Язык мой — враг мой?

— Спасибо,— сдержанно поблагодарил Дима.— Надо подумать...

Он давно рассматривал комнату. Настоящий интеллигентный кабинет. Масса книг. Фотография профессора на стене. Но, наверное, зря он в хирургическом одеянии, в халате и в шапочке, видно, перед операцией. Был бы просто так — в гражданском. Хотя такой, может быть, ей ближе. И хрусталя многовато...

— Вы думаете, почему так много хрусталя? — словно читая его мысли, внезапно спросила Даша.— Так вот, это лишь малая толика. Петр Васильевич все раздаривал. Исцеленные пациенты тащили потоком, невозможно было от них отделаться...

Но его занимал уже не хрусталь. На большом спящем телевизоре и на спинке дивана висели связанные из разноцветной шерсти коврики-салфеточки с затейливым изящным узором.

Сомнений не было. Точно такие же он видел у Прапора!

(«Приходящая няня»... «Замечательная, актуальная женщина»...)

Это же оперетта, водевиль: две пары,— старшая и младшая...— и по идее в конце обе счастливы. Но только по идее.

А Даша, не подозревая о его открытии, смотрела, как Алька припадает к Диминому плечу, и думала: «Когда они расстанутся, сестренка скажет презрительно: «Подумаешь, пришел в одних кроссовках!..»

Она любила Альку.

Холодно, льет дождь, кончается лето. В листве берез и лип резкие желтые пряди. По тротуару идет высокий парень в тонком плаще поверх спортивного костюма. На плече сумка, голова не покрыта. Парень слегка сутулится или, может быть, просто ежится от дождя. Он перешагивает и перепрыгивает через лужи, он никогда раньше не предполагал, что на московских тротуарах так много выбоин.

Скорее уже по привычке он, пригнув голову, входит в телефонную будку и набирает номер. По лицу его продолжают стекать капли дождя. На другом конце снимают трубку.

— Можно попросить Иру?

— Дима?

— Да, это я.

— На соревнования?

— Уже проиграл.

— Не поступил? — и после паузы: — Что думаешь делать?..

— Не знаю еще. Жениться, может быть...

Она смеется. Он ждет, что она спросит: «На мне?..»

Но она не спрашивает. Она говорит:

— А сейчас что делаешь? — и добавляет: — Мы с Колей вчера вернулись из отпуска. Может, придешь к нам обедать?..

За окном дождь. Аля, сбросив туфли, сидит с ногами на диване и слушает сестру. Говорят негромко — за стеной Витька.

На столе — заварочный чайник, сдвинутые чашки.

— Я же ничего против не имею. Но подумай. Тебе сколько сейчас? Считай, двадцать пять. А ему двадцать...

— Понимаю, что мальчик. Но нравится ужасно. Да я за него знаешь... И потом, больше бывает разница. Не устроен пока? Кормить его буду. А что? Не хватит, что ли?..

— Но где он, где? Мы вон уже почайпили! (Петр Васильевич обожал это ее слово.)

— Придет, куда он денется!

— Не скажи, еще где-нибудь пристроится. Такие не пропадают...

...За окном кончается лето, идет дождь.

МАРАТ ТАРАКАНОВ

Фамилия его была Тараканов. Родители назвали Семеном. Он считал, что это их ошибка. И в дальнейшем переменил имя на Марата. Марат Тараканов. В то время лишь самому тонкому уху такое сочетание могло показаться сомнительным.

Как бы там ни было, он сразу после войны прибыл из провинции в столицу,— едва окончил десятилетку, а прошел, поступил, вместе с фронтовиками.

Стал учиться,— Марат да Марат. А вокруг стучали костыли, скрипели протезы. Вообще-то учился он неплохо, средне, наверно, чертил только хорошо, и внешностью не бросался в глаза: среднего роста, белобрысый. Но вот обратил кто-то внимание: иной раз идет, будто не он,— левую руку в брючный карман, правой отмахивает, а голова закинута. «Ты чего это?» Он сперва не отвечал, а потом говорит как-то: «Через три года после института буду начальником главка, вы все ко мне на прием запишетесь, да мало кого приму». Посмеялись, конечно. Но он вскоре — опять.

А время летит — и неплохо. Отменили карточки.

И вдруг он женится. Привел ее на вечер, все удивились — миловидности необыкновенной. Такая приятная, маленькая, мягкая, волосы волнистые, глаза большие, даже смотреть в них как-то неудобно.

— Видали, у Марата жена?

— Глазастенькая такая?

— Да, да, с глазами.

Чем же он ее взял? Да тем же, конечно: через три года буду начальником главка. То да се...

Звали ее Даша, а жила она в одной комнате со своей старшей сестрой Клавой. И он к ним прописался. Квартира двухкомнатная, соседка — старушка, тихая, правда, вылезала раз в три дня, но все равно соседка.

Марат с Дашей отгораживались с вечера фланелевой ширмочкой, какие бывают у артистов-кукольников. Клава среди ночи иногда демонстративно шумно вздыхала.

В отличие от сестры, она была тяжелая, крупная. Видно, терпела через силу, но уж больно любила сестру.

Родила Даша девочку, комитет комсомола и профком подсуетились немножко: подарочки там какие-то. А Тараканов ходит, голову откидывает: да я через три года после института... Дался ему этот начальник главка!

Когда дочке сравнялся годик, Даша ушла от него. Незадолго перед этим он встретил около подъезда молодого, в орденах, полковника,— вот с ним она и уехала. Это уж Клава расписала, не в силах скрыть злорадства: любил давно, помнил всю войну, вернулся, взял с ребенком.

Все в жизни бывает, но тот, первый, день он не смог забыть никогда. Даша не оставила даже записки. Комната выглядела как при переезде, почти уже освобожденная, в самом конце.

Через много лет он был в гостях у одной женщины, и пока она строгала на кухне салат, подошел к книжной полочке. Там стояли стихи: Ахматова, Цветаева, Евтушенко, Римма Казакова, Асадов. Он хотел было взять Евтушенко, но тут заметил еще томик — Борис Пастернак — и вытащил его,— он что-то такое слышал об этом Пастернаке, только поэтому. Раскрыл наугад, попался стих про зимнюю ночь и свечу, которая горела на столе, он перелистнул, и тут, следом, шло стихотворение «Разлука». Его прямо как ударило:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома,
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.

Он был поражен.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Он читал, готовый в любую минуту, когда войдет хозяйка, захлопнуть книжку, не показать это место, будто рассматривал нечто стыдное, тайное.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

А еще захотелось вырвать эти странички, сунуть в карман,— не то чтобы украсть, а потому что это было его, кровное.

Но это все случилось через много лет.

А тогда Клава потребовала, чтобы он выматывался. Он отказался: находится на законном основании, прописан. Они так и жили — в одной комнате. Время от времени она стала приводить мужчин, они оставались, он громко возмущался, совестил их из-за своей ширмочки. Некоторые конфузились, пугались, тут же уходили, другие не обращали внимания, иные сами ругались или грозили ему.

Однажды она заявилась с его однокурсником, Сашкой Щекалиным, боевым летчиком, теперь одноногим. Любопытно, что тот ничуть не удивился.

Тараканов совсем зашелся.

— Молчи, Мюрат! — миролюбиво сказал ему Сашка и с грохотом бросил на пол протез.— Молчи, Варяг! — и спросил Клаву, поскольку тот все еще не унимался: — Он что, всегда так?

Следует заметить, что на работе у Клавы была самая хорошая репутация,— и как общественницы тоже. Дважды ее выбирали народным заседателем.

Нужно отдать должное и ее характеру: она так и не сказала Марату, куда и с кем именно исчезли его жена и дочь.

Но ведь и ненависть не беспредельна. Есть жизнь, ночь, молодость. Случайно или нет, но они оказались наконец в одной постели, и им владели суровые, карающие чувства возмездия и наказания.

После этого его как подменили.

Все, конечно, знали о случившемся с ним,— кто жалел его, кто посмеивался. И тут он опять начал появляться с девушками и с молодыми женщинами — чуть не каждый раз с другой.

— Я теперь народный мститель,— объяснял он наиболее близкому своему приятелю Кольке Чужмину.— За всех мщу. Пощады нет!

К тому времени старушка соседка померла, и Марат Тараканов стал полноправным хозяином отдельной комнаты.

— Понимаешь, Коля,— растолковывал он,— мы просто дураки. Ведь им это нужно, так же как и нам. Не менее...

У него была тактика широкого охвата. Он подходил к незнакомым девушкам, здоровался, назначал свидания. Одни отскакивали, крутя пальцем у виска, другие слушали, снисходительно посмеиваясь, а третьи нерешительно соглашались.

— Раз на раз не приходится,— важничал он.— Но одна из двадцати пяти — тридцати попадает. Статистика.

— А унижений сколько! — смеялся Колька, чуть задетый.

— Оборотная сторона удачи! — снисходительно ответствовал Тараканов.

Трал он заводил с размахом.

К выпивке был совершенно равнодушен.

С годами Тараканов женился вторично. Жена его была спокойная добрая женщина, обихаживала его, любила, заботилась.

Товарищей его пораскидало. Сашка Щекалин умер. Один из сокурсников действительно стал начальником Главного управления в республиканском министерстве,— разумеется, не сразу.

Тараканов работал на заводе сменным инженером. Он был высокий, словно еще подрос, поджарый, нравился женщинам. Длинные, прямые, уже поседевшие волосы он зачесывал назад и весь был выдержан в голубых тонах,— как говорила его жена: в серебряной гамме.

На этом же заводе работал Николай Чужмин.

В пятьдесят семь лет Тараканов овдовел. В воскресенье проснулся утром, полежал, окликнул жену — слышал, как слабо дважды щелкала дверь при ее уходе и возвращении,— но жена не отзывалась. Он вышел в соседнюю комнату и первое, что увидел,— выкатившийся из сумки батон на полу, а потом уж и ее, лежащую на спине поперек дивана. Она умерла скоропостижно. Так же скоропостижно ушла когда-то и Даша.

Потом, через полгода, через год, женщины, которым нечего делать, подбирали ему пару, просили Чужмина подсказать, намекнуть, но Марат неожиданно твердо заявил, что жениться больше не будет.

— Не по возрасту,— объяснил он.— Лет в сорок, в сорок пять, там еще можно создать семью, а тут поздно.

А когда Колька заметил, что женятся люди и куда старше, ответил с удивившей Чужмина жесткой точностью:

— В семьдесят? В восемьдесят? Но ведь это от неприкаянности, от беспомощности. Это совсем другое...

Он шел высокий, прямой, закинув голову, сунув левую руку в брючный карман и отмахивая правой.

Где-то у него была дочь, может быть, внуки...

АЛЕША И АЛЕНА

Алеша Иноземцев женился поздно,— по понятиям родителей. Сперва им это нравилось, что он такой серьезный, усидчивый, занимается много. Но и тогда друзей у него было полно, и девочки приходили, сначала одноклассницы, потом однокурсницы, и среди них попадались симпатичные,— Капитолина Григорьевна во все вникала, со всеми знакомилась.

Жили Иноземцевы раньше в коммуналке, но когда Алешка был еще детсадовского возраста, вступили в кооператив по месту работы, в один их первых, дешевый еще. Но все равно записались на маленькую двухкомнатную квартирку, и когда сын подрос, стало тесно.

Алексей окончил институт с отличием, взяли в солидную фирму, и все шло у него успешно, но и время шло. И тут родители слегка забеспокоились: внука надо бы. Прямо, конечно, не говорили, намеками, а он будто бы не понимал.

Девушки появлялись, но все как-то не так: эта просто товарищ, та — жена друга. Была, правда, одна, Аня, очень им нравилась, маленькая, приветливая, из Перми. Бывала, можно сказать, постоянно, и по праздникам, и на днях рождения, и так, стала своим человеком, почти членом семьи.

Тут уж они за него взялись: не тяни, гдé ты еще такую найдешь! И тайно подали заявление в Правление — пока на однокомнатную, а то ведь тесно будет вчетвером.

А сын посмеивается, кивает, но все на месте. Аня поехала в командировку длительную, потом реже стала бывать, совсем редко, и вообще исчезла. Капитолина Григорьевна до этого пыталась с ней как-то пооткровенничать, как союзница, но ничего не получилось, та уклонялась, отнекивалась, отмалчивалась. На том и окончилось.

И вдруг, года два уже прошло, он говорит:
— Друзья! Сообразите завтра что-нибудь на стол, приду с товарищем...
Они удивились:
— С каким товарищем?
— Со знакомой.
И привел. Но это была уже не Аня. Алена! Дело, разумеется, не в имени. Эта была другая,— высокая, подкрашенная, правда, в меру. Курила. Пепельницы в доме не нашлось, задевалась куда-то, она длинным розовым ногтем сбрасывала пепел на блюдечко. Держалась вежливо, сдержанно.
Потом Алешка пошел ее провожать, а они с Валерием Денисовичем даже не обменялись мнением. Вымыли посуду и сели смотреть телевизор. По московской программе передавали третий период «Спартак» — «Торпедо».
Сын вернулся не скоро, веселый, чуть смущенный, она знала за ним такую манеру, сказал бодро:
— Ну, что, не понравилась? А ведь показывать приводил. Женюсь! — и засмеялся.
— Шутишь? — спросила она тихо, хотя знала, что это правда.
— Но вы же сами хотели!
Свадьба была в кафе «Молодежное», и действительно, преобладала молодежь, но и пожилые присутствовали, какие-то его начальники и руководители. Говорили об Алексее уважительно. От невесты были двоюродный брат, быстро упившийся, и древняя бабка. И она, и старшие Иноземцевы чувствовали себя здесь почти лишними. В какой-то момент отец, расчувствовавшись, сказал напутственную речь о долге и ответственности молодых перед обществом и друг перед другом, но затянул, и его плохо слушали.
Молодоженам выделили одну комнату, жить стали, конечно, по-людски, общим хозяйством, но Валерий Денисович вскоре первый заметил, что Алена старается по возможности ограничить общение с ними. А Капитолина Григорьевна говорила ей «ты» и долго настаивала, чтобы невестка называла ее мамой, но та почему-то упорно уклонялась от этой родственной привилегии.
Тут после ряда кооперативных передвижек подо-

спела однокомнатная квартира, которой добивались, имея в виду еще Аню, и молодые переехали.

Теперь они жили в том же доме, но бывали у стариков редко,— Алена явно тормозила их отношения. Но когда заходили, все протекало нормально. Алешка любил рыться в своих старых книгах, что-то искал и находил, и, увлекшись, тихонько счастливо смеялся. Алена иногда возмущалась:

— Да возьми ты их с собой!

Он этого не делал, так ему было интереснее.

Однажды, когда еще жили вместе, зашла к Алене подруга Дина, и они уселись на кухне пить чай. Алеши и отца дома не было. Капитолину не позвали. Она возмущенно походила по своей комнате, выдержала минут десять и появилась на кухне:

— А, чай пьете?

Алена промолчала. Дина пригласила:

— Садитесь, Капитолина Григорьевна.

Та налила чаю, подсела к столику.

Дина рассказывала:

— В пятницу норовит уже на дачу к родителям. Устал, говорит, отоспаться. Один норовит. Хоть бы ребенка взял. Так нет, прямо с работы.

— Теперь все такие,— усмехнулась Алена.

Капитолина Григорьевна слушала, расширив глаза.

— Возможно,— согласилась Дина.— Отдыхать только отдельно. Нет, не погулять. У меня тетя Глаша говорит: «Смотри, наверно, он у баби». А я ручаюсь, что не у баби! Зато на теннис у него хватает.

— Времени? — спросила Капитолина.

Та посмотрела на нее с сожалением, помолчала, ответила:

— И времени тоже.

Они обе закурили, и Дина добавила:

— У нас шеф новый, молодой, стройный такой. И тут выясняется, что холостой. Но ни на кого не глянет. Так его прозвали: холостой патрон! — и засмеялась както задето.

— Так то шеф,— утешила Алена.— Чего захотела!

— Диночка,— сказала Капитолина Григорьевна, потрясенная услышанным,— а как там Света?

Света была одноклассница Алеши и в то же время знакомая Дины,— мир тесен.

— Разошлась. Сама. Да нет, не пьет. Иждивенец

он, понятно? Ну, и чтó, что мальчик! Нужен кому такой папаша! Вот Светка и говорит ему стишок детский:

Не хочу водиться,
Хочу разводиться!

А? И правильно!

Вечером, когда легли, Капитолина пересказала все это мужу:

— А ведь правда,— горячо дышала она ему в ухо.— И наш тоже — то к бабушке, то к другу. Поговори с ним, Валера...

— Я? Да ты что! — и вдруг расчувствовался, вспомнил: — А мы не так, бывало! — и обнял Капу.

Разговор все же произошел полгода спустя,— Алена была на чьей-то защите, и Алешка заявился поужинать.

Валерий Денисович мигнул жене и, когда они остались одни, как-то особенно внимательно посмотрел в молодое худощавое лицо сына.

— Ну, как, сынок, жизнь?

— Все в порядке.

— Диссертация?

— Заканчиваю.

— Ну, а дома как?

— Тоже все хорошо.

— Ты меня пойми правильно,— сказал отец, с трудом подбирая слова.— Мы ведь уже старые. Погоди, погоди, не молодеем. Как там у вас с этим?.. Нам ведь это тоже нужно, нас это еще тоже подержит на земле...

— Да брось ты, отец, ну что ты. Все будет хорошо. Но нельзя же воспринимать женщину как устройство по производству внуков.

Старшему Иноземцеву неожиданно страшно захотелось закурить,— он бросил двадцать лет назад, и ни разу так не тянуло.

— Не хочешь так, государственно погляди,— он помахал в воздухе ладонью, будто отгонял дым.— Мы сами сплоховали: не одного тебя надо было родить. Но время тяжелое было. Ты слушай: у моих родителей было трое детей, у матери твоей еще три брата, так? Значит, две пары произвели семерых. А мы только тебя одного. А вы вообще на нуле. Чем же это кончится?

— Демографическое исследование серьезное. Но не волнуйся, отец, скоро все будет.

— А как вы живете? — неожиданно закричал отец.

— Отлично.
— Помогает она тебе?
— Да ты что! Конечно. И я ей тоже.
— Что за шум? — заглянула мать.— Валера, успокойся.
Но тот уже не мог остановиться:
— Почему редко заходите?
— Папа, времени нет. Ну, совершенно.
— Почему к себе никогда не зовете?
Алешка был обескуражен. Действительно. По той же причине, наверное. Другой нет.
— Мы вам поможем, не сомневайтесь,— пообещала мать.
— Диссертацию ей напишешь?
Позвонили в дверь.
— Есть хочешь? — спросил Алеша.
Алена улыбнулась:
— После защиты?
— Садись, чаю выпьешь,— пригласила мать. Она упорно отстаивала это свое «ты».
— Нет времени! — громко продолжал между тем Валерий Денисович, и Алена посмотрела на него с удивлением.— Нет времени! Удивительно, как раньше на все его хватало: гулять, ходить на футбол, в гости, в кино. На лодке кататься. Да оно раньше просто другое было! Раньше, еще в шестидесятые, если заменяли, скажем, вратаря в хоккее,— он повернулся к жене,— ему для разминки, для разогрева, полагалось десять минут. Целых десять минут он разминался, а партнеры ему бросали, готовили его. Поняли? А сейчас — ни секунды! Вышел — вставай в ворота и играй! Жизнь не ждет, не дает поблажек, не прощает медлительности. Времени — нет!
Все смотрели на него, пораженные его красноречием.
— Ну, монолог ты выдал, отец! Хоть на эстраду. А главное — правильно. Нет времени. Порой даже дослушать. Нам вот, например, пора.
— Ох и ловкач ты, Алешка! — восхитился отец и добавил неожиданно: — Зато играли прежде вратари без масок! Сейчас трудно себе представить...
Когда молодые ушли, Иноземцевы вымыли посуду и сели смотреть телевизор.

ПЕРВАЯ ЖЕНА

В институте, где работал Борис, и особенно в их секторе, одно время пошло поветрие: брать жену с готовым ребенком. Прямо формула такая появилась — «с готовым ребенком». Этот вариант считался самым предпочтительным. Подразумевалось: чтобы не отвлекаться от работы, от науки. Трое приятелей так женились и остались очень довольны. У двоих из них дети были уже школьники.

Борис тоже хотел бы так, но не нашел, как прежде говорили, подходящей партии. Он был все-таки по воспитанию и по натуре слишком традиционен, излишне консервативен. Это ему отчасти мешало и в деле. Однако и он в должный момент проявил определенную отвагу — женился на Клаве. Познакомился у друзей на вечеринке и увлекся.

Клава работала плановиком.

Про нее говорили: «Она сама себя сделала».

Ее отец, человек простосердечный, малограмотный, размышляя над этой, слышанной им формулировкой, не вполне понимал, что это значит.

«Сама — себя? Так уж и сама!»

В ее облике была некоторая тяжеловесная элегантность. Учась в школе, она занималась художественной гимнастикой, дошла до первого разряда и сохранила грубоватую осанку, грацию. Она нравилась. Но, скажем, таксисты или сантехники не обращали на нее внимания, смотрели сквозь,— она для них была слишком своя.

Особенно она бывала привлекательна, когда немного подтягивалась, держала вес.

Мать ее говорила:

— Я к вам приехала на метрé...

Зять не выдержал однажды, переспросил:

— На метле?..

Она его поправила.

Родителей своих Клава не только не стеснялась, но еще и гордилась — вот я откуда.

Они были разнорабочими. Они ее ничему не научили. Они были так потрясены, что она хорошо успевает и легко переходит из класса в класс, что ничего с нее больше не требовали.

— Первый раз за хлебом сходила, когда в седьмом была,— сказала как-то мать с гордым умилением.

Готовить Клава не умела, покупала, когда попадались, сосиски, пельмени, московские котлеты.

А Борис и мясо мог куском поджарить, и шашлык. Но времени почти не было, работал как проклятый, преподавал, писал докторскую. Она порой поглядывала на него с недоумением. Только по ночам они вполне понимали друг друга.

Она работала в своем плановом отделе — спокойно, не торопясь. С достоинством проносила по коридорам свое некогда тренированное тело. Мужчины оборачивались.

Иногда Борис думал мимолетно: «А может, есть кто у нее?» Или вспоминал: «А ведь не уделяю ей внимания»...

Да, так вот готового ребенка у нее не было. Он говорил ей, что воспринял это как ее недостаток. В некоторых островных племенах в Океании, толковал он, существует именно такой взгляд на девушек. Если у нее до замужества нет ребенка, значит она неполноценная, что-то у нее не в порядке, и жениться на такой рискованно.

Она смотрела с недоверием:

— А ты как же?

— Рискнул.

— Ты понимаешь,— философствовал он перед своим закадычным другом Алешей Иноземцевым,— вот у нас есть выражение: простой человек. То есть не занимающий каких-то постов, должностей, без высшего образования, конечно. Но почти исчезли из употребления понятия: простонародье, простонародная внешность. Простонародное тело, как сказано, кажется, у Бунина. А ведь в этом есть какая-то сила. Вот и в Кланьке нечто простонародное, в высоком смысле.

— Борь, а тебе интересно с ней?

— Здрасьте! Это ведь понятие широкое. Но, скажу честно, с ее отцом интереснее. Когда он про войну рас-

сказывает. Такого нигде не прочитаешь. А ее он зовет: Клавдия...

Борис помолчал, сказал строго:

— Ладно, заболтались. Давай за дело. А с ней бы надо на танцы, что ли, пойти. В Парк культуры,— и добавил, подумав: — и отдыха...

Потом у него началась трудная полоса. Вернее, сначала все было нормально. Диссертацию написал, отзывы хорошие, публикаций полно. Но — очередь и вообще какое-то нарочитое противодействие. И тут пригласили защититься в закавказском институте, с которым они были связаны тематически. Восточное, так сказать, гостеприимство. Поехал, защитился, работа ведь действительно отличная. Но не успел обрадоваться по-настоящему, как узнал, что не понравился сам факт: нет, нет, пусть у себя, а это аннулировать.

Как говорил Алеша: ВАКХ не утвердил. Но здесь до бога виноделия, кажется, вообще не дошло.

Борис приехал с работы, всячески стараясь скрыть свою расстроенность. Клава листала альбом «Сокровища Оружейной палаты».

— Клаш,— сказал он с усталой небрежностью.— Знаешь, не утверждают мою диссертацию...

Она ничего не отвечала, продолжала переворачивать страницы, но смотрела в сторону.

Он испытал странное чувство одновременно обиды и нежности.

— Ну, ты чего,— шепнул он ей в ухо, сев рядом с ней,— все будет как надо. Работа добротная. Ну, ты чего? В муже разуверилась?..

Она не отвечала.

«А ведь ей это безразлично,— с неожиданным облегчением подумал он.— Но что же ей нужно тогда? На хоккей ее пригласить? Глупость какая-то...»

Со следующего дня он начал готовиться к новой защите, шлифовал и оттачивал отдельные места. Дополнительные отзывы тоже поступили самые благожелательные. Он был весь напряжен и еще ждал подвоха, как ждали его многие в секторе и сам руководитель, молодой член-корр. Но подвоха не случилось...

— Клань,— говорил он в трубку счастливым голосом.— Сейчас приедем с ребятами и с шефом. Шампанское привезем, закуску кое-какую. Давай все, что есть, на стол...

А рядом с ним, с телефонной трубкой, смеялись, кричали, кто-то пел.

Так они и ввалились гурьбой, со свертками и с бутылками. Она сдержанно встретила их в дверях.

На столе ничего не было.

— Прошу! — кричал Борис несколько изумленным голосом.

Женщины пошли на кухню резать колбасу, рыбу, сыр. Иноземцев открывал консервы.

— Клавк, ну, ты что,— прохрипел Борис в коридоре,— картошку-то почистить...

— А почему я должна принимать эту ораву!..

Она стала очень медленно, задето, выгружать из серванта рюмки, фужеры, тарелки... Осанистая, важная.

Среди гостей чувствовалась некоторая растерянность. Но уже несли закуски, захлопали пробки.

— Никакой ВАКХ не подкопается! — возбужденно говорил Алеша.— Какая диссертация!..

Жена его Алена стряхивала ногтем пепел с сигареты.

— Друзья! Прошу внимания! — шеф поднялся с фужером в руке.— Дорогой Борис Сергеевич! Дорогая Клавдия Ивановна!..

Она повернула и удовлетворенно подняла изящно причесанную голову.

ДОН ЖУАН ВЕНЯ

Она вскакивала раньше него, мылась, торопясь завтракала, стоя допивала чай. Бежала к метро, натыкаясь на прохожих, свежая, счастливая, привлекая взгляды нежными румяными щеками, натертыми его утренней щетиной.

А он еще полеживал, потом вставал, делал зарядку. У него была вольная преддипломная пора, а Люся уже окончила и работала в статистическом управлении.

Тесть уезжал еще раньше, за ним приходила казенная машина. Он был подполковник, но занимал высокую должность, по снабжению. Он всегда знал, что нужно делать, и все делал вовремя. Едва появилась мода на дачные участки, он взял одним из первых, рядом с Москвой. Да и материалы тогда почти ничего не стоили. Другие спохватились, а участки-то вон уж где, да и построиться встанет раза в три-четыре дороже.

И с машиной также. Ездил на служебной, но свою приобрел, пускай стоит в гараже,— хлеба-молока не просит. Она еще и пробежать-то ничего не успевала, а он уже менял ее на новую модель. Но все по закону.

Вениамин брился, выходил в кухню, Ангелина Степановна тут же жарила ему глазунью. Теща ему нравилась, если быть откровенным — даже больше, чем жена. Не буквально, конечно, а когда он представлял себе ее молодой, сравнивал. И она это понимала,— он был уверен. Между ними установилось некое условное чувство.

Иногда, по праздникам, когда сидели за общим семейным столом, Веня заводил песню, слышанную еще от деда. Она в свое время была очень популярна в армии:

Ой, сад — виноград,
Зеленая роща.
Ой, кто же виноват,
Жена или теща?

Тут и тесть вступал, подхватывал:

Теща
Ви-и-но-ва-та-я...

Смолоду Вене нравилось ухаживать за девушками.

Ребята на футбол поедут или пиво пить наладятся, а ему с ними скучно. Они там тоже, конечно, порой кого-то встречают, знакомятся,— в трамвае или в метро, но случайно. А он выходил как на работу. Вернее — как на охоту. Не один, вдвоем с дружком Аркадием — это дело для двоих. Ведь и девчонки обычно парами. Волнующий холодок неторопливой вечерней улицы. Они ходили на танцы или просто по бульвару,— пристраивались, подсаживались, заводили разговор.

Если Венькой и двигала страсть, то страсть преследователя, определенный спортивный интерес. Тактика разная, конечно, но в общем-то не новая, одинаковая: сначала мягкость, внимательность, а потом уже настойчивость, напор.

Сперва он остерегался красивых. Если из двух девушек одна хорошенькая, а другая так себе, он обычно выбирал вторую. Так ему казалось вернее. Но вскоре выяснилось, что некрасивые, не владея дополнительными козырями, упорнее защищают то, что имеют. Красотки же гораздо легкомысленнее, снисходительнее, добрее. Им льстит, что ими восхищаются, и они не против отблагодарить за это.

В пылу гона они с Аркадием часто попадали черт знает куда: в чужой двор или даже в общежитие, и слишком поздно обнаруживали опасность. И ведь что интересно: Веньку ни разу не били. У него была обезоруживающая улыбка и манера держаться: «Извините, ребята. С вами тоже, наверно, бывает...»

Постепенно обострилась проблема: место дальнейшей встречи. Мучительный вопрос: где? Особенно, если зима и вообще плохая погода. Девчонок, которые бы жили одни, ему почти не встречалось.

Но и тут судьба оказалась к нему благосклонной.

Мать несколько раз писала, чтобы он навестил своих теток, и он наконец выбрался.

Они жили в огромном старом доме с коридорной системой. Выходишь на площадку из вместительного тихоходного лифта — и тут же под прямым углом два длинных коридора, шагаешь наугад, всматриваясь в номера квартир.

Тетя жила со своей дочерью, которая тоже была его тетей. Это случилось потому, что старшая тетя на самом деле доводилась ему двоюродной или троюродной бабушкой. Они угощали его чаем и говорили про неизвестных ему родственников, у которых, если поехать в тот или иной город, можно остановиться.

Выйдя от них, он случайно пошел не по тому коридору и заметил в тупичке у окна деревянную скамью, мощную как на вокзале. Она была покрыта слоем пыли, на нее давно никто не садился. Он попал на другую лестничную клетку и пошел вниз,— лифт здесь не работал. Дверь подъезда запиралась изнутри на хилый врезной замок. Веня открыл его, надавив на рычажок, и попробовал отпереть снаружи: пятнадцатикопеечная монета не влезала, гривенник подошел.

Вечером он проверил эту дорожку.

Потом он часто водил туда девочек. В случае чего, всегда можно было сказать: «Мы из сорок девятой» — и назвать фамилию.

Но никто ни разу не потревожил.

Потом он, сидя здесь и целуясь с очередной избранницей, иногда бегло думал: а вдруг забредет какая-нибудь из прежних подружек? Или всех сразу приведет сюда ностальгическое чувство? Вот бы они устроили ему демонстрацию протеста!

Однажды Аркашке родители передали с девушкой-землячкой посылку из Конотопа. Что за допотопная манера,— отправили бы по почте! Аркадий созвонился, и они вдвоем поволоклись к ней в институт. Познакомились безо всякого интереса, взяли посылку и только навострились уходить, вернее, уже пошли, хозяйка окликнула какую-то девушку, по делу. И Венька остановился, влез в разговор, предложил отправиться вчетвером есть мороженое или покататься по реке.

В общем, включился.

Они согласились. Аркашка проклинал его, таща посылку.

На Люсе был жакетик с подложенными плечами, длинная юбка, но Венька с полувзгляда определил, что у нее отличная фигура. А смотрела она на него странно: неуверенно улыбаясь и в то же время в упор, как-то очень смело. Потом выяснилось, что она близорука. Очков она не носила и даже умудрялась не щуриться. Он для нее был как в тумане,— она поведала об этом

позднее. Но все равно ему нравилось, как она на него смотрит.

В дальнейшем ей все-таки пришлось пользоваться сильными очками, что сыграло поворотную роль в его судьбе.

Венька начал с ней встречаться, обхаживать. Она была сдержанной, долго ничего не позволяла и даже, когда уже целовались напропалую, в дом тот с коридорной системой идти отказалась наотрез. Но она, чувствовалось, привязывалась к нему. Потом уже она призналась, что хотела, чтобы это произошло у нее дома.

Стоял осенний пасмурный день, мать уехала куда-то, отец был на службе. Люся задернула шторы, но в последний момент непритворно засопротивлялась, однако сдалась.

А ему словно голос был свыше, словно из мегафона: «Женись на ней!» — и еще пояснение: «Дурак, лучше не найдешь...» И он так считал тоже.

Он всегда побаивался идти в дом, сталкиваться с родителями после э т о г о. А тут пошел, и они вполне понравились друг другу. Квартира оказалась трехкомнатная, плотно обставленная, дом, что называется, полная чаша.

Аркадий был на свадьбе, а потом отпал — за ненадобностью. Все же Венька иногда звонил ему, приберегал на всякий случай. Это когда уже окончили.

Чтобы жить вот так, в чужом доме, требуется все-таки определенное нахальство. У них с Люсей была отдельная комната, по вечерам он порой испытывал неловкость, когда нужно было щелкнуть изнутри ключом. Его не оставляло чувство смущения, что он лежит в постели с их дочерью,— он привык держать такие вещи в тайне. И когда он выходил утром, Ангелина зыркала на него, на миг, но с любопытством. Да и Люська стеснялась своих горящих, натертых его щетиной щек.

С самого начала они не береглись, потом опомнились, забеспокоились, но ничего не происходило. Он считал, что это по ее, женской, части.

Жизнь текла размеренно. Вечером включали телевизор, Люся предпочитала радио, иногда ходили в кино, совсем редко в театр. По субботам обычно ездили на дачу. В мае Веня полетел отдыхать, один,— второй путевки не было, да и время отпусков у них не совпадало.

И когда он, едва переодевшись, спустился вниз к санаторной балюстраде, где под доцветающими глициниями пестрели на скамейках стайки женщин, все в нем подтянулось, подобралось, и он наметанным взглядом выбрал самую привлекательную. И даже умилился: хватка осталась,не подводила его.

Вернувшись, он встретился в кафе с Аркадием,— смеялись, вспоминали, рассматривали в записных книжках нехитро закодированные номера телефонов. И снова начались их набеги,— не то что прежде,— скрытные, осторожные, да и пореже, конечно, но начались. Скорее, продолжались.

Победы доставались достаточно легко, жена его не подозревала, и Вениамину пришло однажды в голову, что следует подозревать ее. Если ему понравилась, могла приглянуться и другим. И он исподтишка начал контролировать, проверять, сопоставлять факты.

Тесть, приезжая со службы, снимал форму, садился ужинать, рассказывал что-нибудь забавное.

— Захожу к Пролеткову, а он на склад звонит: «Маслята есть у вас? Какие-какие! Жена наказывала. Кажется, греческие...» А это — маслины...

Все смеялись.

Люся начала при разговоре сужать глаза, щуриться.

Тесть сказал твердо:

— Ну, хватит модничать. Повезу тебя к профессору Федорову. Да не оперироваться, не бойся, очки подбирать. А оправу тебе достану хоть японскую.

Ангелина Степановна, иронически улыбаясь, подбавила:

— Соглашайся, доча, а то ведь встретишь на улице мужа с женщиной и не увидишь, не разглядишь...

Она словно все про Веньку знала.

И подобрали Люсе очки на американском компьютере. Теперь она смотрела на него с интересом нового узнавания, спокойно и просто. Ему нравилось, когда она их снимала.

Здесь начинается самое главное. Вениамин Николаевич поехал с утра на весь день в филиал их института, за город. Он давно уже ездил на машине тестя, она была как его,— брал, не спрашиваясь.

А Люсю послали в министерский архив, за папкой какой-то старой отчетности.

Она ехала троллейбусом и увидала в окно совсем небольшую очередь у магазина «Галантерея». Это была очень хорошая «Галантерея», там регулярно появлялась редкая косметика. Люся сошла и вернулась назад. Она ошиблась. «Галантерея» оказалась на учете, а очередь была к лотку с огурцами.

Люся вновь направилась к остановке, обойдя вылезшие почти целиком на тротуар «Жигули»-универсал бутылочного цвета. «Похожа на нашу,— мимолетно подумала она,— и даже номер похож. Хотя, стоп!..» Она повернула голову. Номер был не только похож, это был их номер. Она перепроверила это четырежды. Потом заглянула в салон: на заднем сиденье лежал его плащ. Она машинально посмотрела на часы: двенадцать часов двадцать две минуты. «Как в детективе,— пришло ей в голову.— На случай алиби...»

— Как съездил? — спросила она вечером.

— Нормально,— ответил он.— Весь день проканителились...

Она удивилась своему хладнокровию. Все в ней призывало, требовало, чтобы спросить,— спокойно, ехидно, или зло закричать ему в лицо: «А почему же тогда наша машина в двенадцать двадцать две и позже находилась в Москве, на проспекте...»

Но он бы мог ответить: «Извини, не хотел огорчать батю, это же его «Жигуль». Друг попросил, ему срочно нужно было в город...»

И все. И тут бы она сама захотела поверить. А друга бы он как-нибудь ненавязчиво потом представил,— в подтверждение.

Но нет, она ничего не сказала.

Она начала присматриваться к нему, внимательней вбирать и классифицировать его запахи. Она вела расследование, но в частном порядке, не прибегая к помощи общественности. И он не чувствовал опасности. Два раза, когда он говорил по телефону и называл абонента мужским именем, она, бесшумно сняв трубку параллельного аппарата, уловила в женских голосах непозволительные интонации. Нет, она не подслушивала, ей этого было достаточно.

Поразмыслив, она решила вызвать огонь на себя. Когда Вениамин собирался в институт на Октябрьский вечер,— она точно знала, что он идет именно туда,— Люся появилась в комнате, нарядная, улы-

бающаяся и объявила, что отправляется вместе с ним.

Он растерялся, начал бормотать, что это не принято — приводить жен и мужей, но она уверенно настаивала, и он вынужден был уступить. Общаясь с его сослуживицами, она постаралась выглядеть до предела доверчивой и наивной. Ей не требовалось особенно притворяться,— ведь совсем недавно она такой и была.

Она танцевала с его сослуживцами, смеялась, и домой они вернулись веселые. Вениамин был доволен, что все так благополучно окончилось.

Ночами она не уклонялась от его ласк,— ведь скоро,— думала она,— этого уже не будет.

Вскоре Люся получила два письма — одно анонимное, а другое с подписью и номером телефона. Писали женщины, якобы пожалевшие ее, а на самом деле имеющие на Веньку зуб, обиженные им когда-то и сообщавшие теперь о его прегрешениях. Нет, не на работе, но они кое-что знали. Стоило только потянуть за эту ниточку... А у одной было на него чуть ли не досье...

Сперва он отрицал все, отказывался, отпирался, стоял на своем, вопреки фактам,— ей даже бывало жалко его,— потом не выдержал, сломался, признал один или два случая.

Ей и этого было достаточно. Они расстались. На жилплощадь он не претендовал.

Непостижимым образом он умудрился остаться в хороших отношениях с ней и даже с ее родителями. Звонил, расспрашивал, сочувствовал или смеялся. В нем все-таки что-то такое было.

Через три года Вениамин снова женился. Это была женщина строгая, старше его на пять лет. Она взяла его под жесткий контроль, и он почти не возражал, сдался, хотя иногда и взбрыкивал, хихикал по телефону с Аркадием.

Когда они бывали в гостях и он, сидя за столом, говорил, обращаясь к другим, она задумчиво рассматривала сбоку его голову, даже, отклонившись, затылок, словно не слыша его или прислушиваясь к чему-то своему.

И Люся вторично вышла замуж и, к удивлению Вениамина, родила. К тому времени профессор Федоров сделал ей операцию на обоих глазах, и мир поразил ее своей выпуклой яркостью.

Однажды в гостях, у каких-то отдаленных родственников жены, Венька встретил Ангелину Степановну. Она довольно сильно сдала. Они обрадовались друг другу, с приязнью смотрели через стол.

Никто не знал, откуда они знакомы.

Когда они с женой уже собирались уходить, бывшая теща с трудом обувалась, сидя в передней на стуле, потом разогнулась, подняв красное лицо, и сказала ему, виновато улыбаясь:

— В старости ноги становятся длиннее, а руки короче...

А он подумал, что у нее всегда были длинные ноги, но промолчал.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАССКАЗ

Дежурная сестра Лида освободила одну и вторую ногу от туфель без задников, встала на стул, потом на широкий подоконник и, взявшись за никелированную ручку, с грохотом открыла фрамугу. Он смотрел, как она спускается на пол. Остальные сестры были девочки, их никто иначе и не называл,— даже тех, кто были замужем и сами имели детей. Лида была женщиной, знавшей себе цену.

— Не дует?

Он лежал на спине, укрытый до подбородка.

За окном было совершенно темно, но сейчас сквозь фрамужную щель стало явственно видно мельтешение снежной крупки, и тут же он уловил ее тоненькое позванивание о стекло. Повеяло холодом. И вдруг где-то необыкновенно далеко, за березовой рощей и скоплениями однотипных домов, смутно возник почти неопределяемый звук, скорее даже отзвук чего-то бесконечно знакомого.

Больной лежал, прикрыв глаза и вслушиваясь. Неожиданно звук сделался отчетливее,— вероятно, ветер повернул в сторону больницы. Теперь сомнений не было: это шел поезд, различалось его сухое костяное пощелкиванье.

«Где же это,— подумал больной,— неужели у трех вокзалов? Нет, это в Черкизове, на Окружной...»

«Та-та́, та-та́»,— доносилось из темного весеннего пространства, и эти перестуки при желании можно было сосчитать, как считают разделенный краткой паузой голос кукушки, загадать,— но он не решился.

— Не замерзли? — вошла Лида и, опять оставив у стула туфли, легко поднялась и захлопнула фрамугу.

Он лежал на спине, обклеенный датчиками, подсоединенными тонким проводком к висящему над его головой монитору. И по экрану — он видел, когда сильно закидывал голову — колеблясь, бежала тоненькая светящаяся ниточка — нить его жизни.

А в углу на столике стоял наготове аппарат «искусственное сердце». Он походил на средней руки, устаревшей конструкций телевизор.

Лида неплотно притворила дверь палаты, и он краем глаза наблюдал движение жизни по коридору, пусть и замедленное. Там, гуляя, проходили, вернее, прохаживались люди в пижамах и халатах, неторопливо, осторожно уплывали в один конец и не скоро появлялись снова. И он думал: неужели и он когда-нибудь будет вот так же вальяжно прогуливаться там, в коридоре? Быстро промелькивали только белые халаты,— сестры и врачи жили по иным законам, в другом измерении.

Фрамуга давно была захлопнута, а ему все еще казалось, что он слышит ритмичное постукивание тяжелых колес.

Осенью он был в доме отдыха. Стояла ясная сентябрьская пора, пластами валились листья с лип, крутясь, порхали каленые березовые листки. Его окно выходило в сторону железной дороги. «Ничего?» — извиняющимся тоном спросила сестра-хозяйка, которую он хорошо знал.— «Ничего, я даже люблю...»

Напрямик, через дачные участки, до полотна было не более полукилометра, и, открыв на ночь окно, засыпая, пробуждаясь и вновь окунаясь в сон, он слышал и слушал эти памятные с детства звуки.

Поезда шли один за другим, как трамваи. Прежде проход поезда был событием: выходили на платформу или к насыпи — помахать. Теперь поездной шум накатывался один за другим — как порыв ветра. Иногда тон его менялся, пронизываясь громом встречного состава — так в слитном оркестре один инструмент накладывается на другой. Затем наступала тишина — и вновь аккуратно баюкающее пощелкивание. Стоило начать напевать про себя какую-нибудь — любую — мелодию, и казалось, что поезд выстукивает именно ее.

Они жили тогда за городом. Тоже мела листва, потом снежок. Топилась печка, отбрасывая на стену колеблющийся свет. Одна ножка стола не доставала до пола, но стол стоял достаточно прочно, держался на трех, как собака с подбитой лапой. На табуретке царила чуть сужающаяся кверху башенка керосинки со слюдяным избушечным окошечком, озаренным светом широкого плотного фитиля.

Керосина в поселке не было, но отец работал в городе и ездил каждый день. Это строжайше запрещалось — провозить керосин в поезде, но приходилось, ничего не поделаешь. У отца был маленький чемоданчик и в нем плотно подогнанный латунный резервуар с завинчивающейся крышкой. В конце концов отец заснул в вагоне, и чемоданчик украли.

Как все это помнится! — не только стук колес, но железнодорожный угольный запах. Паровозы разных марок, тендер с углем, водокачки с длинным горизонтальным рукавом, хоботом-поильником. Надпись за вагонным окном: «Закрой поддувало. Не сифонь!» — воспринималась как нечто крайне остроумное.

Перед вокзалом в Москве путь кончался рельсовой рогаткой. Потом, в сорок первом, похожие ежи ставились против немецких танков.

Над их домом и жизнью таинственно стояли сияющие буквы — НКПС. Эн-Ка-Пэ-эС. Там работал отец. Как они шли с отцом, почти бежали, торопясь на пригородный паровик, через пути, мимо будок и пакгаузов, и везде, где стоял человек в форме, отец небрежно бросал: «Служебный!» Мальчик еще не вполне понимал значение этого слова и поэтому не удивлялся, что никто ни разу не сказал отцу: «Предъявите». А может быть, его уже знали в лицо.

Как-то раз, вернувшись с работы, отец сообщил, что пока не готова обещанная квартира, им временно предлагают для жилья два купе в стоящем в тупике вагоне.

— Ура! — закричал мальчик. Он знал, что это такое, ведь они с матерью не раз провожали отца в командировки. Он представил себе, как они будут жить в двух волшебных комнатках, где дверь открывается вбок, уходя вглубь стены мерцающим зеркалом.

— То есть как в купе? — спросила мать, глядя на отца с изумлением.— А как же, собственно, например, уборная?..

— Там поблизости на путях диспетчерская.

— Ага, на путях... А кухня?..

Так они и не въехали в эти игрушечные комнатки...

А поезда все стучали, невдали, за дачными крышами, то ли баюкая, то ли пытаясь разбудить.

Под утро он вспомнил, как ехал с Мишей в одном купе в Ленинград, и неожиданно остро пожалел его.

Днем поезда были слышны меньше, как меньше слышны днем часы на стене.

Потом он встретил Маликова. Тот жил поблизости на даче и вид имел дачный: сапоги, суковатая палка в руке. Лицо его, особенно в скулах, было розово от холодного сентябрьского воздуха.

И, глядя на усыпанную пестрыми листьями дорожку, они, как бы ни с того ни с сего, заговорили о Мише и Сергее, сознавая, что именно это объединяет их сейчас в наибольшей степени, сближает и связывает.

Миша и Сергей умерли недавно, один за другим, так внезапно, словно погибли в автомобильной катастрофе. Их судьбы и жизни еще стояли рядом с ними, как книжки на одной полке.

— Жалко ребят...

— Что там жалко! Сердце кровью обливается...

И, лежа сейчас в своей реанимационной палате, подключенный к контрольному монитору, он, усмехнувшись про себя, подумал, что это точная формула происшедшего с ним,— сердце кровью обливается. Или еще — нож вострый,— нет, какой там нож,— как отбойным молотком сердце разворотило. Впрочем, все-таки нож. Он проснулся среди ночи именно от чего-то подобного и, еще надеясь, что это другое, лежал, не будя домашних, пытаясь приноровиться к боли. Потом, уже вечером, когда санитары подняли носилки с ним, выяснилось, что они не могут развернуться («Как? Ногами вперед? Ни за что!»), и они развернулись. Внизу, у подъезда, стояла в темноте небольшая толпа соседей, он с трудом удержался, чтобы не помахать им рукой. Холодная внутри машина перевозки, временами идущая юзом по скользкой дороге. Длинный освещенный коридор, блок нижней реанимации, яркий свет у столика, укол, громкие — среди ночи — голоса нескольких сестер и, наконец, рассвет, и густой, серый от инея березняк рядом с окнами.

Прежде он боялся этого слова,— точнее, не представлял его применимым к себе. Совсем недавно это слово имело для него только одно обозначение — конца.

Дежурный врач сказал ему доверительно:

— Я вам объясню сущность вашей болезни: кровь размывается.

Он сразу понял и представил себе это. Вот стоит на тротуаре помпа, откачивает воду из открытого люка,

толстый шланг расправлен изнутри напором воды, но вокруг все растущая лужа,— насос не справляется, где-то в клапане течь. Именно так. Но сердце кровью обливается — все же точнее.

Как же он не сумел проскочить ту наиболее простреливаемую полосу — от пятидесяти до шестидесяти лет? Что? Болезнь помолодела? Ну, хорошо, от сорока пяти. Такие зоны следует преодолевать рывком, броском, короткими перебежками. Не получилось... Но если уж попало — лежи, не вскакивай под пулю, скосит враз, тут все пристреляно.

И Миша, и Серега не могли примириться, рвались в возбуждении, не верили,— это их и погубило...

— И еще знаете, какая перед вами будет стоять задача? Избавиться от чувства страха. Я понимаю, что это нелегко, но чем скорее вам удастся...

Страх? Но он почему-то его не чувствовал, хотя прямо сказать об этом постеснялся.

Теперь его подняли на восьмой этаж, он лежал, склонясь головой к правому плечу, подремывал, а когда туман отступал от окна, иногда видел вершины вчерашней березовой рощи, самые веники.

Тоже мелькающие сквозь туман больничные дни: естественная простота Веры Филипповны, приносящей утром умываться, как ребенку говорящей ему «ты», регулярная бодрость Виталия Никитича и твое родное, испуганно улыбающееся лицо в едва приоткрытой двери...

По нескольку раз в день открывали фрамугу, но поезда больше ни разу не было слышно. А может быть, его не было и тогда?

Однажды отец, вернувшись из командировки, рассказал о своей поездке. Возможно, что и не сразу, а спустя несколько лет. Он ехал через Сибирь, за окнами стояла морозная стонущая зима, но в вагоне экспресса было тепло, уютно. Отец был в купе один. В середине дня он пошел в ресторан, там тоже было малолюдно. Кормили обильно и вкусно,— только-только отменили карточки (да, да, это был тридцать пятый год), он долго смотрел в окно, курил, в который раз поражаясь безмерной суровой красотой этих мест. От деревни до деревни здесь было по пятьдесят, а то и более верст. В вагоне он взял у проводника железнодорожный трубчатый ключ, отщелкнул купе, сел на мягкий, плав-

но качнувшийся диван, машинально поднял глаза к антресоли над дверью и ахнул — чемодана не было.

Чемодан безусловно лежал с самой Москвы там, но отец на миг усомнился, растерянно заглянул под оба дивана и лишь тогда кинулся к проводникам. Они пили чай в своем узком отсеке; тут же вскочили и первым делом бросились в соседние вагоны и подняли беззвучную тревогу там. Сразу же вернувшись еще с одним, они втроем, рослые, хмурые, начали деловито, одно за другим, проверять незанятые купе, чемодан обнаружился в последнем. Он словно перелетел туда сквозь стенки. Отец открыл его, все было на месте.

Теперь проводники стояли перед дверью занятого туалета. За все это время оттуда никто не выходил. Проводник подергал за ручку, подождал, постучал в дверь ключом, затем отпер и резко распахнул ее.

Там, вытирая вафельным полотенцем руки, стоял и, щурясь, смотрел на них парень в бостоновом костюме. Под пиджаком на нем был пестрый вязаный джемперок, на ногах хромовые сапожки,— брюки, надетые с напуском, наполовину прикрывали голенища.

— Кто такой? — спросил проводник.

— Из ресторана в третий вагон шел,— отвечал тот спокойно.— Прихватило.

— Документы.

Ответил ли он что-либо, отец не заметил, но двое мигом втиснулись в узкое пространство туалетной комнаты и схватили его за руки,— он безуспешно попытался освободиться,— а третий, став к нему боком, во избежание удара ногой, начал его обшаривать.

В кармане пиджака у него оказалось несколько рублей и паспорт, в заднем брючном, зашитом намертво и тут же вспоротом,— еще один паспорт, на другую фамилию, но с такой же фотокарточкой.

— Так,— теперь они втроем вытащили парня в тамбур. Там качалась не захлопнутая дверь в затянутый клеенчатой гармошкой вагонный переход с находящими одна на другую, колеблющимися стальными пластинами пола. Било холодом по ногам. Теперь парень старался вырваться отчаянно.

— Что вы собираетесь делать? — хрипло спросил отец.

— Не мешайте,— огрызнулся проводник. Вообще-то он сказал: «Не мешайте-сь»,— как бы с этакой почтительной трактирной частицей. Он рывком открыл наружную дверь, и они сноровисто, мигом выкинули малого с площадки. Словно его и не было.

Отец прижался щекой к стеклу крайнего коридорного окна — путь в этом месте как раз делал очередную неуловимо плавную дугу — и ему на секунду или две удалось увидеть парня. Он увидел его в миг, когда тот, непостижимым образом поднявшись на ноги, погрозил поезду кулаком и тут же исчез из поля зрения. Кончался день. За окном поезда звенела красно-лиловая сибирская стужа.

И отца давно уже не было на свете, а картина эта так и стояла перед глазами.

Весна разворачивалась медленно, в больничном парке еще кое-где лежал меж берез старый и новый снежок, но скамьи были уже сухие, пригревало солнышко. Ничего не было слышно, кроме дальнего крика ворон и воробьиного чириканья.

Больной сидел на скамье, подняв воротник пальто. Вчера это еще называлось — дозированная прогулка.

Если бы кто-нибудь вздумал наблюдать за ним, он мог бы показаться тому беспомощным и грустным. Но за ним никто не наблюдал, кроме него самого.

Неожиданно он легко поднялся и, заложив руки в карманы, не спеша пошел по аллее.

АКЕНТЬЕВЫ

Акентьевы прожили жизнь ровно и дружно.

Паша вообще был человек легкий, запросто отбрасывающий, отсекающий все, что ему не нужно сейчас,— в нем сидело такое избирательное устройство.

Его спрашивали:

— Вы на каком фронте были?

Он слегка медлил с ответом, словно задумывался, и говорил не вполне уверенно:

— На Третьем Украинском...

— А в какой армии?

Он колебался и сам спрашивал:

— В Девятой?

— А корпус?

Он смотрел удивленно:

— Не помню.

— Ну, как это можно не помнить! Кто командовал?

Он удивлялся еще больше:

— Да не знаю я! Сколько лет прошло!

Паша не помнил фамилии даже своих ближайших командиров и товарищей. Они остались там, во фронтовой дымке. Он забыл названия взятых деревень, не помнил врачей и сестер из госпиталя, где лежал после ранения. Так, в общих чертах.

Он не интересовался встречами однополчан — ему там нечего было делать.

Можно было подумать, что он не воевал,— нет, воевал, все как положено. Некоторые подозревали, что, может быть, он после контузии потерял память. Ничего подобного. Контужен он не был, и память у него находилась в порядке, когда дело касалось другого. А *это* ему было не нужно.

После войны он поступил в институт легкой промышленности,— там училась в тридцатые годы его

старшая сестра и вроде осталась довольна. Легкой дороги он не искал, но, как ни говори, это название звучало обнадеживающе. Не то, что, к примеру, тяжелое машиностроение. Ведь учиться предстояло пять лет.

Он подал документы, сдавал экзамены. Видел, что девчонок много, но слишком был занят делом, сосредоточен на другом. А когда вошел первого сентября в самую большую институтскую аудиторию, улетающую амфитеатром круто и далеко вверх, внутренне ахнул.

Как будто он попал в женский полк,— например, в зенитный. Каких только девчонок тут не было, и сколько! Их можно было разбить на учебные группы по более очевидным признакам: цвету волос, глаз, по росту и комплекции. Редкие мальчишечьи и мужские головы тонули среди этого цветника.

Групповые занятия проходили в небольших комнатах или в лабораториях, а с этой аудиторией — она называлась десятой — были связаны лекции для всего потока, и общие комсомольские собрания, и шумные веселые вечера.

Очень скоро, может быть, через две недели, Паша, поднимаясь по ступенькам посреди рядов, наткнулся взглядом на уже сидящую девушку: носик сапожком и синие глаза. Садясь немного выше, он еще подумал: «И почему это синее всех привлекает? Какая разница — синие они или нет!» Теоретическое такое размышление.

Тут началась лекция. Профессор, местная знаменитость, сразу строго-доброжелательно объявил, что *этого* материала они нигде прочесть не смогут, ибо прежний учебник безнадежно устарел, а новый, написанный им самим в соавторстве с двумя коллегами, выйдет, когда они уже окончат первый курс. Ну, может быть, не все, но наиболее усердные окончат. Выход один — вести подробный конспект. Записывать! Короче, страху навел — все зашелестели тетрадками.

Впрочем, Паша Акентьев и так решил с самого начала заниматься хорошо, а иначе смысла же никакого.

Выходя, Паша очутился на лестнице рядом с нею. Оказалось, что она одного с ним роста. «Каблуки наде-

нет — выше меня будет»,— подумал он бегло. Но и это понравилось. Потом выяснилось, что она на сантиметр ниже, это его успокоило, удовлетворило самолюбие. А может, она и нарочно себе рост убавила,— это он иногда подозревал. Женщины каким-то образом и возраст себе убавляют, а здесь тем более, в паспорт же не вписано.

Звали ее Лида Бутонова. Сама фамилия как бы предполагала дальнейший расцвет. Потом, когда они решили пожениться, Лида оказала короткое отчаянное сопротивление, желая сохранить фамилию, но он был непреклонен, и она сдалась.

Однажды он заметил, что, здороваясь или прощаясь с ним, она всегда перекладывает портфель в правую руку, а ему подает левую. «Левша она, что ли? Да нет, другим протягивает правую».

Когда он спросил ее об этом, она удивилась: «Правда? А я не замечала.— И засмеялась: — Наверно, потому что левая ближе к сердцу...»

Один Пашкин земляк учился в Горном институте,— они виделись очень редко,— и рассказывал, что у них девчонок мало, по две-три в группе, и все уже выскочили замуж, даже самые неказистые.

А здесь все обстояло наоборот. Паша был парень открытый, да и собою не дурен — крепкий, чубатый. По нему вздыхали многие, записки подсовывали. А некоторые, поактивней, атаковали ради спортивного интереса,— при полной удаче и отбить, а так попробовать что получится, проверить собственные возможности. И опять же — безо всякого результата. Его к этой Бутоновой как прицепили.

Они окончили институт — инженеры! — и уехали по распределению на завод, в небольшой среднерусский городок. Получили комнату в общей квартире.

Ему нравилось просыпаться около нее, смотреть на ее лицо, будить, трогая губами ее ресницы. Когда ждали первого ребенка, он хотел девочку и чтобы она была похожа на Лиду. Но родился мальчик.

Они не успокоились — но опять получился мальчишка.

Жили в согласии.

Лида действительно расцвела, была спокойная, ровная, а он мог изредка и вспылить. Однажды днем ворвался в полной ярости. Она сперва ничего не могла

понять. Выяснилось, что он шел на обед,— завод был рядом, и обедал Паша дома,— и вдруг увидел в окне Лиду, которая в голом виде разгуливала по комнате. Они жили тогда на втором этаже. Паша был не один — дом ведомственный, заводской,— но, кажется, другие ничего не заметили.— Что это за манера французская?! — кричал он.

Она не стала спорить. Но почему французская?

Просто сторона была солнечная, и комната вся прокалилась.

Лида тогда не работала — мальчишки были маленькие.

Перед тем как открыть Паше дверь, она, разумеется, накинула халатик.

При всем том и в нем самом жило какое-то удивительное легкомыслие. Умер бывший его начальник,— три года назад он перешел с повышением на соседнее предприятие, а Паша занял его место.

Акентьев отправился на панихиду. На рынке он купил три гвоздички, хотел пять, но получалось дорого, а после церемонии могли обозначиться новые траты. По дороге он решил забежать в библиотеку за нужной срочно книгой — он вполне успевал, а Леночка, всегда благоволившая к нему, выдавала ему дефицит вне очереди.

Он поздоровался, а она прореагировала простодушно:

— О, цветы!..

— А это вам,— тут же нашелся Паша и вручил букетик.

Спеша к клубу, он хмыкал, несколько смущаясь своего поступка, но вскоре решил, что Леночке цветы куда нужней, чем покойному.

Он быстро выдвинулся, стал начальником цеха, да и Лида, когда немного подро́сли пацаны, вернулась на завод,— правда, в соседний цех.

Так оно все и шло. Однажды, когда еще жили в одной комнате, Акентьевых обокрали, унесли все, что было. Не ахти что, конечно, но после этого просто надеть было нечего. Приходила милиция, с собакой, но воров не нашли. Обокрали, конечно, свои, днем, нахально. Старший был в школе, а младший гонял по двору со стандартным ключом на шее,— Акентьевы до того случая не удосужились врезать собственный замок.

Вскоре им дали новую квартиру.

А младший сын, носившийся когда-то с ключом на веревочке, уезжая через десять лет учиться в мореходку, покаялся матери, признался, как все было. Он забежал домой попить и почему-то запер дверь комнаты изнутри, оставив ключ в скважине. Буквально через несколько минут он услышал металлические звуки и увидел, что ключ подрагивает,— с наружной стороны пытались вставить другой. Это продолжалось очень недолго, потом все стихло. Он посидел, затаясь, подождал, открыл потихоньку замок, опять запер дверь и выбежал на улицу.

Видимо, вслед за этим их и обокрали. Он испугался и ничего не сказал родителям. Ему было шесть лет.

Теперь испугалась мать:

— А если бы ты вынул ключ? Они отперли бы, вошли и увидели тебя. Они могли бы тебя убить,— ведь ты их знал, наверное...

— Очень может быть,— ответил он, улыбаясь.

Когда она рассказала об этом Паше, тот отмахнулся:

— Да ладно!

Он уже почти и не помнил о том случае.

— Ведь его могли убить!..

— Но ведь не убили. И меня могли убить, мало ли что!

По правде говоря, грех было на мальчишек обижаться. Учились нормально и не докучали по пустякам. Гоняли в футбол, в каких-то кружках занимались,— Паша и не вникал в это.

Когда знакомые жаловались, говорили о проблемах с детьми, Акентьевы только переглядывались коротко: им это было незнакомо.

Неожиданностью для Паши оказалось решение старшего поступить после школы в военное училище. «А ты хорошо подумал?» — хотел он спросить, но не стал спрашивать. Парень уехал, сдал, прислал фотографию в форме. Через два года младший поступил в мореходку. Конкурс жестокий, но прошел молодцом, хотя и вполне сухопутный малый. Теперь отец даже не удивился.

Опять стали жить вдвоем, как когда-то в молодости. Но ведь они еще и не были старыми. Письма сы-

новьям писала мать, Акентьев делал в конце обязательные приписки, ответы ребят читали вслух, но отдельно от этого Паша почти никогда не думал, не размышлял об уехавших сыновьях. В этом было что-то ущербное. Лида чувствовала это и старалась расшевелить его, но безуспешно. Ему достаточно было ее.

А время шло, и еще как! Завод, да что завод, весь мир был начинен кибернетическими устройствами, вычислительной техникой, всякого рода электроникой, а время пользовалось только старыми счетами. И как оно сухо щелкало полированными костяшками справа налево: раз, раз, раз, в каждой — год, а потом уже — в одной целый десяток!

Старший окончил училище, уехал в дальний гарнизон, женился.

На свадьбу не позвал. Паша утешал:

— Да я бы тебя сам не пустил. Туда же не добраться!

После нескольких напоминаний сын прислал свадебную фотографию. Лида долго рассматривала невыразительную пухлую мордашку невестки.

— Посмотри, а он какой-то грустный,— вздохнула она и коротко всплакнула.

Акентьев глянул и сказал бодро:

— Никакой он не грустный, а она, конечно, медсестричка. А на ком еще жениться, на медведице? Кругом тайга! — и засмеялся: — Вот у меня был выбор...

Павел объяснил, что подобное случается с военными: женится лейтенантик где-нибудь в глуши, потом выйдет в большие генералы, а жена все на том же уровне. Но ведь не менять же,— целая жизнь за плечами, дети, внуки. Жизнь не поменяешь.

Впоследствии выяснилось, что невестка была подавальщицей в офицерской столовой, и Лида подивилась Пашиной мудрости.

А младший плавал уже на своем сухогрузе по всему свету, присылал цветные открытки, жениться, правда, не собирался.

Так и жили Акентьевы, работали, а что еще делать!

Лида носила теперь в крайнем случае только средний каблук, но почему-то стало заметно, что она всетаки ростом выше Павла.

Время все быстрее щелкало на своих счетах, но это бы еще ничего. Хуже другое. Лида стала скверно себя чувствовать, похудела. Врачи велели соблюдать диету, подозревали плохое, она догадывалась, нервничала. Жизнь враз изменила ритм, сбилась с ноги. Положили в больницу, лечили. Акентьев доставал через московских знакомых заграничные лекарства. Потом возил жену в областной город на консультацию к знаменитому профессору, каких и в Москве-то мало, потом ее опять клали на обследование.

Теперь уже и Павел похудел, спал с лица, глаза лихорадочно поблескивали. Но старался подавать пример, шутил, подбадривал.

Наконец ему сказали: все, надежды никакой. Жить осталось недели три, от силы месяц. Забирайте домой, никаких ограничений, пусть ест, пьет, живет как хочет.

— Домой! — произнес он, входя к ней, как мог весело.— Хватит больниц!..

Она недоверчиво смотрела на него своими по-прежнему синими глазами.

Платье, которое он принес, висело на ней как на вешалке.

Он ввел ее в дом, сам едва сдерживая слезы. Они выпили по рюмочке кагора — за ее возвращение. На другой день она уже варила ему кофе.

Прошла неделя, две... Они уже гуляли около дома, в скверике. Прошли три недели, месяц, полтора... Они с аппетитом ужинали, смотрели телевизор. Были в гостях у соседей...

Через три месяца Павел Александрович Акентьев скоропостижно скончался от тяжелого инфаркта.

На похороны прилетел старший сын с женой. Он был уже полковник. Он не бывал дома с тех пор, как его покинул. Отпуска они проводили в Сочи. Младший был в плаванье.

После кладбища собрались дома — соседи, сослуживцы. Сын уехал прямо с поминок, он опаздывал, вид у него был усталый, озабоченный. Он обещал созвониться с братом, когда тот придет из плаванья, и сообщить ей. О чем — она не поняла. Невестка, соответственно моменту, выглядела грустно значительной.

Они уехали, а остальные, проводив их до машины,

вернулись и еще долго сидели у стола. А во главе его, с торца, сидела синеглазая старуха, бывшая Лидочка Бутонова.

Она слегка оживилась, и, когда говорили о Паше, порой недоумевала, почему его здесь нет.

ОКНО

Воздушную тревогу объявили заблаговременно, все кому положено, давно убрались в бомбоубежища, а до отбоя было еще далеко.

Налет только лишь разрастался,— это был мощный налет, один из самых крупных на его памяти, во всяком случае, самолетов прорвалось к городу больше, чем всегда.

Если вдуматься, это было дико — налет на Москву. Но Петров привык, как все привыкли. Сейчас ко многому пришлось привыкать.

Он стоял на крыше, словно поднятой к небу, открыто подставленной под его холодный мрак, стоял возле поручней, как на палубе. Это была высокая крыша с хорошим обзором. Когда он дежурил здесь днем, он видел в ломающихся лучах предзакатного солнца чуть не весь город,— зашитые тесом витрины, слепящую восьмерку реки, черные трубы Могэса; затянутые в чехлы звезды и купола, купы осенних рощ, писанные маслом на скатах кремлевских крыш.

Сейчас он стоял, готовый выполнить свое дело: привычно схватить брызжущую огнем зажигалку, сунуть ее в бочку с водой или в ящик с песком, а то и просто скинуть с крыши. Но до их кварталов еще не дошло.

Было почти совсем темно, лишь вспыхивали и исчезали в вышине огненные очертания воздушного боя. Затем небо стало полосоваться молочно-голубыми прожекторами, они выбрасывались и втягивались назад мгновенно, как удар штыком, а иногда и задерживались. Как у них на занятиях: «Коротким коли, на выпаде останься!..»

Вдруг один из лучей после множества промахов выхватил из тьмы тяжелый самолет. «Дарнье»,— почему-то подумал Петров, хотя и не был уверен. Прожектор выявил, высветлил его и тут же передал другим, подоспевшим, как передают с рук на руки пойманного вора. Тот еще пытался вырваться, уйти, ослепший, затоп-

ленный прожекторным светом, а по нему уже били скорострельные зенитки, и вот он вспыхнул и опрокинулся. Прожектора тут же отстранились, и в черном небе радостно было видеть его устрашающее падение.

И еще один внезапно обнаружился уже горящим,— его завалили истребители.

Сквозь слитную пальбу близких и дальних зениток улавливались больно отдающиеся где-то внутри отдельные ухающие удары. В нескольких местах горело, а в Замоскворечье, в той стороне, где был его дом,— а может, и не там? — начало колебаться, расти и шириться густое зарево.

Потом звуки налета скатились вбок, стали слабеть, стихли.

— Николай, давай закурим,— услышал он голос Вити. Друг подходил, гремя по кровельному железу, остановился рядом.— Жив буду, картину напишу «Ночной налет». Серьезно.

— Боюсь, не по дому ли моему попало,— отвечал Петров, не слыша.

Едва окончился комендантский час, он вышел из общежития и заспешил к метро. Подземный вестибюль уже освободился от ночевавших там и заполнялся утренним рабочим людом. В вагоне было много женщин, несколько военных с оружием. Разговоров не было слышно.

Перед войной Петров перешел на четвертый курс художественного факультета и имел сейчас отсрочку от призыва. Почему им дали ее,— никто не мог понять. Петров устал от всей этой неразберихи, от трудового фронта с долгим бесцельным копанием противотанковых рвов, с бесконечным выбрасыванием бесконечных кубов серой смоленской земли, от ожидания, недоедания, собственной неприкаянности, нелепости своей гражданской жизни, от самой этой брони.

Они с Витей подали заявления добровольцами, но старый военком, может быть, жалея их, посоветовал подождать до очередного набора в офицерские училища.

Отец Петрова, несмотря на изрядные годы, был уже на войне, мать и сестру эвакуировали. Иногда, в перерывах между дежурствами и занятиями во Всевобуче, Петров забегал домой, проведать пустые стены, глянуть, все ли в порядке,— как обещал матери. Соседи почти

не встречались. Со странным чувством тревоги и смятения он поворачивал ключ в замке, вступал в крохотную темную прихожую. Пол и мебель были закрыты газетами,— как при ремонте. Он с минуту стоял посреди своей комнаты, служившей ему и мастерской. Окно, выходившее в некогда людный, веселый двор, закрывала защитная штора, склеенная еще им из черной плотной бумаги. Он никогда не отгибал ее.

Сейчас, поднявшись из метро, Петров почти побежал к своему переулку. Сердце его стучало, дыхание сжималось дурным предчувствием. Навстречу ему несло запахом недавно горевшего кирпича и металла, охваченных нездешним огнем.

Он остановился. Соседний пятиэтажный дом был развален прямым попаданием. Двор, где Петров еще недавно играл в волейбол, где сидел в темноте на лавочке с девчонками, слушая патефон с открытого освещенного окна, этот двор был косо заполнен рассыпавшейся осевшей стеной, и еще дымящийся завал разбирали пожарные.

А его дом — рядышком — чудом был цел,— то есть он был побит, фасад закопчен пламенем, в окнах ни одного стекла, но он стоял,— живой рядом с убитым.

Петров взбежал по лестнице. Под ногами хрустела осыпавшаяся штукатурка, он не обращал на это внимание. Дверь была цела, он открыл замок и вошел в квартиру.

Внутри пахло дымом, гарью,— не своими, наружными, но еще более резко. Порванная бумажная штора была скомкана в углу, будто кто-то топтал ее ногами. Газеты со стола, стульев и кушетки сдуты и словно прилеплены к противоположной стене. Отдельные редкие осколки висели на полосках, прежде перекрещивавших окно. Остальное размельченное стекло ровным слоем лежало на полу.

Окно зияло. Петров подошел и посмотрел на черно-рыжие, все еще едко дымящие развалины, на разрез живой жизни, сделанный жестоким, смертельным ножом.

О том, чтобы вновь застеклить окно, разумеется, не могло быть и речи. Он начал было разбирать, а потом просто отбрасывать в сторону свои учебные курсовые работы, прислоненные к стене. Затем он взял гвозди и

молоток и стал забивать окно. Он плотно забивал его старыми холстами и картонами с окрестными пейзажами, наивными довоенными натюрмортами, с обнаженной натурой,— лицевой стороной, разумеется, внутрь. Еще бы не хватало наружу!

Через месяц был объявлен комсомольский набор в воздушно-десантные войска, и они ушли с Витей.

И как это все пошло в охотку,— служба рядом с подмосковным аэродромом, откуда еще недавно поднимали свои машины все самые прославленные летчики. Строевая, стрельбы,— стрелковое оружие они уже хорошо знали,— окапывание,— помнишь трудфронт? — выходы, тактика. Укладка парашюта па парашютном столе, оказавшимся просто расстеленным на траве длинным авиазентовым полотнищем.

И прыжок — с ТБ-3. Они, как куры в курятник, набились в эту громоздкую неудобную машину. Внутри крыла, где стоял Петров, мешали какие-то рейки, перемычки, жердочки. Люк, из которого предстояло выпрыгнуть, выглядел слишком узким. Его открыли, Петров сел, свесив ноги над немыслимой глубиной, а затем, не видя земли, с трудом протиснулся в проем. И тело его с неожиданной готовностью рухнуло в небесную зыбкую пелену. Когда раскрылся купол, смазало лямками по лицу, и Петров с ужасом заметил, как что-то, вероятно, из его снаряжения, оторвалось и стремительно унеслось к земле. Потом выяснилось, что это был противогаз. Ох, старшина его и жучил!..

Как случалось на войне, и на этот раз десантников использовали на земле, пехотой. Фронт стоял в сплошных болотах. Кочки, чахлое мелколесье, пустые дома на высоких подклетях. Они с Витей попали в артиллерию. Семидесятишестимиллиметровые, но не дивизионные, а старые, тяжелые пушки тонули в сырой почве, под колеса и правило нужно было класть жерди. Они стреляли с закрытых позиций и ни разу не видели немцев.

Стояла весна, дороги совершенно развезло, со снабжением стало совсем плохо, продуктов не было, и осталось по нескольку снарядов на орудие. Большое наступление готовилось где-то в другом месте.

Но с передовой санинструкторы, выбиваясь из сил, тянули на волокушах раненых,— а умерших сбрасывали на ходу.

— Что же ты делаешь! — обратился раз Петров к пожилому, черному от усталости санитару.— Разве так можно?..

— А что же делать? — отвечал тот зло.— Мы обратно, к живым спешим, нам их вывозить надо!

Однажды появился на вездеходе незнакомый майор, с ним еще офицеры.

— Кто здесь старший? — крикнул он.

Петров не был здесь командиром, но он был сержант, а рядом, на лапнике, из-под которого проступала вода, сидело несколько солдат, и то не совсем свои,— соседи.

— Сержант Петров,— доложил он.

— Я вернусь через сорок пять минут,— сверля его глазами, сказал майор.— Если не будут убраны убитые, вы будете расстреляны.

Петров хотел объяснить ему, что он это сделать не в состоянии, что нет людей и нет сил, что надо управляться с орудием, а мертвые все прибывают. И почему именно сорок пять минут?..

Но он ничего не успел сказать, даже «есть» или «слушаюсь», потому что майор вскочил в свой вездеход и мигом уехал.

Солдаты встали и не говоря ни слова начали оттаскивать близко лежащих покойников за кусты, но очень медленно и неумело. Потом приспособились цеплять их проводом и тянуть к лунке, как на волокуше. Там, за кустами, складывали их бедные тела и забрасывали лапником. Это было все, что они могли сделать. Петров просовывал руку в нагрудный карман каждого и вытаскивал документы. Всякий раз он отворачивал лицо, старался не смотреть, но нельзя же было оставить их безызвестными.

Майор на вездеходе так и не возвратился.

Потом их полк сняли, отвели на переформировку. К тому времени они уже съели всех артиллерийских лошадей, пушку везли на себе, по воде, под ногами лежал донный лед. Побросали все, что могли,— почти все, кроме оружия,— и так брели вплоть до эшелона.

А потом на юг, на юг. И все совсем другое. Старинная барская усадьба, где они формировались, каре из густо-лиловой сирени, третий эшелон.

Потом наступление, мощнейшая, не то что в болотах,

артподготовка, дымы горящих танков, соединенные в один низкий горизонтальный черный дым.

Немцы оказались в кольце, но не хватало сил и средств, чтобы затянуть до конца, и они медленно, как вода, вытекали из котла.

Врезалось в память: чуть смеркается, и на фоне пожара четко видятся за оврагом немецкая пушка и немец, ломающий ветки орешника и аккуратно маскирующий ее. А Петров от него в семидесяти метрах за станковым пулеметом, тоже как на ладони, на бугре.

И еще: по завязшему нашему танку бьют немцы и попадают то и дело — болванки рикошетят от брони,— и каждый раз падает сердце. И наконец танк взрывается. Но танкисты раньше уже выползли из нижнего люка и лежат за кустами,— Петрову видно это.

А потом ранило и его, сразу после форсирования Днепра, когда налетели «лаптежники» и хлестали длинными, как бич, очередями. Он шел, загребая носками песок, а кровь текла по руке и боку вниз, в сапог, и он не понимал и не верил, что это его кровь...

Здесь он остановился, потому что об этом он рассказывал мне раньше и даже не раз.

Четверть века спустя, делая мой акварельный портрет, он рассказывал мне все это,— не по порядку, к месту, вразбив, как, впрочем, почти всегда идут и ведутся фронтовые воспоминания.

— Давно я мечтаю написать вещь,— говорил Петров,— да все руки не доходят. «Мастерская художника. 1941 год». Ну, там стол, печурка и прочее. А главное — окно, забитое холстами с натюрмортом, пейзажем, портретом, все такое мирное,— иные работы боком или даже вверх ногами,— просто как сподручнее легло...

А я, слушая его, подумал о том, что этот пронзительно-жизненный сюжет выглядел бы сейчас на холсте, пожалуй, несколько литературно.

ПУЛЯ

Мой товарищ, художник Николай Петров, получил когда-то в сорок третьем, сразу после форсирования Днепра, пулевое ранение в грудь, ранение слепое, то есть не навылет,— пуля застряла в грудной клетке, внутри, в глубине. Хирурги решили ее не трогать.

Так он жил,— отвалялся в госпитале, сперва не работали пальцы, мучаясь, начал опять рисовать, поправился, вернулся в свой институт, окончил его, женился, стал отцом, потом дедом.

Много работал, просто зверски; работает вовсю и до сих пор. Крепкий мужик, здоровый. Да и наследственность завидная: и отец, и мать завершили свой путь где-то у отметки девяносто.

Когда изредка смотрели его на рентгене, обычно спрашивали:

— А что это у вас? Пуля? Ну, ладно, пускай...

Вот характер русского человека — он ни разу не поинтересовался самому посмотреть, не попросил сделать снимок. А чего смотреть? Да и некогда, всю жизнь голова другим занята.

Может быть, давно когда-то и сказал мимоходом домашним, а возможно, и не сообщал ничего.

Наступили иные времена, ввели диспансеризацию, и среди прочего флюорография — крохотный снимочек, вроде простейшей схемы. Пуля там выглядела ничтожной черточкой.

И вот более сорока лет прошло, и встретил Коля Петров бывшую соученицу по школе, одноклассницу. Не видел ее с войны, еще до того ранения. Теперь она оказалась врачом-рентгенологом. То да се, чем могу быть полезна? Что у тебя, бронхит? И вот так, по не слишком серьезному поводу, сделали снимок.

Он развернул на свет еще мокрую, непросохшую пленку и испугался.

Ранение было в правую сторону груди, через погон, через ключицу,— может быть, с самолета, тогда как раз налетели «лаптежники»,— но пуля оказалась слева, поблизости от сердца,— она прошла наискосок.

Он смотрел как зачарованный.

Пуля была хорошо видна и лежала в глубине его тела, как лежит на дне вражеская подводная лодка, которую давно затянуло песком и илом, а вокруг нее движется и дышит живое спокойное море.

Но все равно выглядела она жутковато.

— Сейчас профессору покажу,— сказала одноклассница весьма бодро,— хирургу...

Тот пригласил Петрова в кабинет.

— Ничего, ничего,— ободрил он,— жить можно. Нужно только ограничить физические нагрузки...

Петров подумал о том, как сразу после войны и в дальнейшем многие годы копал у сестры в деревне картошку, какие таскал мешки и какие ворочал бревна, перебирая избу, да и по своей работе — сколько раз рюкзак и этюдник ломали ему плечи. Он вспомнил все это и поблагодарил, вежливо улыбаясь.

РУКИ

Кожа на его пальцах была шершавая как наждак, толстая, грубая, многослойная, в старых, очень глубоких шрамах, ее невозможно было проткнуть шилом. Ногти тоже покалеченные, сбитые.

Когда он здоровался с напарником, их ладони, касаясь друг друга, издавали почти металлический звук,— как два рашпиля.

Уголек для прикуривания он брал из печки, не обжигаясь.

Иногда казалось, что он в больших рабочих перчатках.

Это были не руки, а ручищи. Они словно были от другого человека.

Кулак его обладал тяжестью кувалды, пальцы — силой и цепкостью гаечного ключа. Он действительно мог открутить любую гайку.

Иногда, в свободное время, он словно не знал куда их девать, смущался.

Поразительно выглядели в его руках молоток, топор, лопата,— словно это были детские, игрушечные инструменты. Про ложку и вилку и говорить нечего,— в его кулачищах их почти не было видно.

Но особенно трогательно смотрелась в его ладонях книга — раскрытая, белая. Это была готовая, глубоко символичная картина. Скорее, плакат. Здесь четко и прямо отражались идея и время.

Однажды настоящий художник попросил его послужить натурой для этюда или эскиза. Собственно, интересовали живописца именно руки. Он согласился и терпеливо сидел, упершись локтями в колени. Не знаю, нашлось ли для его рук место где-нибудь на большом полотне, но здесь, на картоне, чувствовался их нешуточный вес.

Он признался мне однажды, что всегда, когда он ласкал женское тело, касался ее груди, его пальцы

почти ничего не чувствовали. Зато женщины инстинктивно напрягались, страшились его руки, будто терки.

Лицо у него было небольшое, чистое, почти детское.

ПОВЯЗКА НА ГЛАЗАХ

Такси остановилось возле калитки. Петр Федорович Вязанкин расплатился и вылез из машины. Шофер поднял крышку багажника, и Вязанкин взял оттуда рюкзачок с продуктами, сумку картошки и свой старый портфель.

«Охота была — в такую пору»,— безразлично подумал водитель и стал отъезжать задним ходом.

Вязанкин глянул вдоль улицы. Вдалеке играли близняшки,— закаленная бабушка привозила их по воскресеньям в любую пору.

Он отпер металлическую калитку, и она сухо щелкнула за его спиной.

Он шел по мощенной серой плиткой дорожке к крыльцу, и взгляд его, как всегда, отмечал некоторые разрушения, причиненные зимой: трещины в отмостке, два листа шифера, содранные с сарая.

Последние дни стояла солнечная синяя погода, и почки на ветках почти всех деревьев и кустов неостановимо набухли, но сегодня, особенно пока он ехал, голубизна, как нарочно, исчезла, стало хмуро и холодно.

Петр Федорович приехал после зимы посмотреть, что́ с домом, но это заодно, главная причина была другая: требовалось написать статью для очередного выпуска. Можно было, разумеется, поработать и в городе, но там бы обязательно что-нибудь отвлекало. А тут впереди была свободная неделя: новый директор, невзирая на время года, выгнал в отпуск всех, у кого были неиспользованные остатки.

В доме поначалу показалось тепло, но, раздевшись, он скоро понял, что это не так. Вязанкин поднялся на чердак, открыл крышку бачка и проверил, есть ли в системе вода. Сквозь пыльное чердачное окошко посмотрел сверху по дворам и никого не обнаружил. Он спустился и раскочегарил отопление. То есть это так говорится: раскочегарил, а на самом деле передвинул до конца рычажок АГВ. Затем он включил холодиль-

ник, перегрузил продукты и прошел по комнатам. Все было на местах, и он радостно встречал обшарпанные стулья, разрозненные, со щербинами, тарелки и чашки, оставленные с лета журналы, игрушки внучки. Все это сейчас трогало и умиляло.

Иногда он оглядывался, прислушивался, ему казалось, что в доме кто-то есть. В комнатах пощелкивало, потрескивало. Это в батареях расправляла свое затекшее тело просыпающаяся вода. Он совал руку под подоконник и чувствовал ладонью медленно нарастающее тепло.

Тогда он решил сесть и написать хотя бы несколько фраз, чтобы не начинать завтра, в понедельник. Он устроился в большой комнате, лицом к окну, вытащил из портфеля свои бумаги, вывел заголовок.

Тема и суть идеи были ясны, но сформулировать, четко выразить это не всегда удавалось. Это для него было самое трудное. Но постепенно и тут раскочегарилось, пошло на лад. Он увлекся и написал почти две страницы.

Думая над очередной фразой, он поднимал голову и смотрел за окно. Это был знакомый до подробностей вид, и так же, как вещи в комнатах, каждое дерево было на месте. Ведь вид из окна — это не просто пейзаж, это как бы картина в раме. И в задумчивости взглядывая за окно на голые ветви ближних вишен и чуть отдаленных берез и лип, Вязанкин порой путал, забывал, какое сейчас время года, ему почему-то казалось, что скоро будет Новый год, а ведь впереди был май.

Невозможно было представить, что все это пустое пространство скоро заполнится густой зеленью, белизной цветения и желтой россыпью одуванчиков, что эта береза с голыми опущенными вениками нальется свежей листвой и будет по-петушиному выпячивать грудь на ветру.

И тут ему вспомнилась стихотворная строка. Не своя, конечно.

Когда-то, в молодости, он сам был не чужд поэзии, после войны ходил на вечера в Политехнический, знал тогдашних молодых поэтов и теперь, когда встречал их стихи, обязательно прочитывал.

Он и сам сочинял тогда немножко, но сугубо любительски. Однажды, когда были на практике в Восточной Сибири, он написал такие стихи...

Хотя нет, все забылось. В памяти с трудом отыскались только две строфы:

«Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета»,—
Ребята поют у огня.
«Одержим победу,
К тебе я приеду...»
Но нету коня у меня.

Тайга золотая
стоит, затихая,
Пока без особых примет.
Я маме и папе
На данном этапе
Шлю свой комсомольский привет.

Этими стихами Пети Вязанкина и восхищались, и издевались над ними. Одни их восприняли всерьез, другие как иронию или пародию. Они были напечатаны в стенной институтской газете. Их даже пели под гитару. Боже, когда это все было!..

Новых поэтов Петр Федорович фактически не знал. Да и некогда было читать все подряд, выделять кого-то, отыскивать сборники. Он любил повторять и смаковать отдельные изолированные строчки. Он их брал обычно из статей о поэзии. Увидит статью — и пробежит глазами только по стихам, по цитатам. Если что-нибудь останавливало, задевало, он обычно просматривал и самую статью.

Так ему попалась замечательная строчка:

...Лес вернулся в запущенный сад...

Это было очень ему близко, понятно душе, волновало. За этим была целая жизнь. Лес выкорчевали, участок расчистили, разбили сад, но наступили иные времена, когда за ним уже некому стало следить, он заглох, и лес в е р н у л с я. Вторжение его столь могущественно, что не остановит никакая ограда. Вязанкин отлично знал это.

Но сейчас ему вспомнилась другая строка:

...Родной пейзаж — повязка на глазах...

Она была из стихов литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса. В той статье, где Петр Федорович расковал ее, критик объяснял, что поэт смотрит на весь мир сквозь родной пейзаж, сквозь его повязку. Полу-

чалось, что это не повязка, а очки. Вязанкин с такой трактовкой не согласился. Сквозь повязку ничего не увидишь, если только не исхитришься, как при игре в жмурки — когда-то или теперь с внучкой. Любую повязку можно снять при желании. Но родной пейзаж — это исцеляющая повязка.

И, глядя за окно на голые ветки, он особенно остро чувствовал это.

Ветер усиливался. Неожиданно пошел косой дождь со снегом или снег с дождем,— как угодно можно назвать, на выбор. А потом только снег.

Но и это не огорчило Петра Федоровича. Это тоже была повязка.

Он приехал сюда не гулять, а работать.

Батареи уже пылали — не дотронешься.

Он оставил бумаги на столе, не опасаясь, что кто-то их сдвинет, быстро почистил картошку, поставил варить, открыл консервы «Завтрак туриста».

На улице уже стемнело, и, поочередно подходя к каждому окну, он обнаружил, что нигде не видно света. Даже близняшки с бабушкой уехали. Он слегка пожалел, что у него нет собаки.

Снег валил, тут же таял и снова валил.

Вязанкин задернул шторы, накрыл на стол и с аппетитом пообедал. Скорее, это был ужин.

Потом он включил телевизор и, пока нагревалась трубка, не был уверен, заработает ли он. Но все оказалось в порядке.

Телевизор в городской квартире — одно из множества удобств, он привычен до надоедливости. А здесь, в пустом поселке, под свист ветра, это — чудо, единственный сигнал из обширного мира.

На далеком южном стадионе начинался футбольный матч. На аккуратный газон выбегали команды; показали трибуну: люди щурились от солнца, большинство из них были в рубашках с коротким рукавом.

Петра Федоровича не слишком интересовала игра, но ему был приятен сам факт того, что вот они играют *там*, а он на них *здесь* смотрит.

Сейчас этому не удивляется ни один ребенок. И Вязанкин тоже поражался своей наивной заторможенности, но ничего не мог с собой поделать.

Порой ему казалось, что он сам только что изобрел этот невероятный аппарат.

Всю ночь надоедливо пел сверчок. Как-то он перетерпел холодную пору, а теперь ожил, невыносимо расчувствовался. От него некуда было деваться.

Петр Федорович убавил отопление и спал при открытой форточке. Заснул сразу, но потом ночь тянулась долго и тягостно. Когда-то снились такие сны, что жалко было просыпаться, теперь его посещали беспрерывные кошмары, тревожные, смутные. Может быть, это происходило и от снотворных.

С утра опять шел дождь, потом снег, но настроение было неплохое. Сделав зарядку и попив чаю, Петр Федорович опять сел со своей работой против окна и первонаперво повторил про себя вчерашнюю строчку.

ПОЛЕННИЦА

Он увидел ее, идя в составе взвода по улице, он увидел ее из строя, а это в понимании военного человека, которым он уже становился, почти то же самое, что из окна трамвая или автобуса.

Он увидел ее, стоящую на тротуаре, и одновременно она увидела его и сступила на дорогу, ни на миг не задержалась, не заколебалась, что его тронуло более всего. Они были знакомы, но настолько, что в другое время могли пройти мимо как незнакомые.

— Товарищ старший сержант! — громко сказал он и не узнал своего голоса, как поначалу не узнают собственного голоса, записанного на пленку.— Разрешите выйти из строя.

Помкомвзвода удивился, но тут же заметил ее и разрешил. Как бы для нее.

Он двинулся навстречу, подал ей руку, а она обе и взяла его за обе руки.

— Я на фабрике работаю,— объяснила она, не дожидаясь его вопроса.— А ты?..

— Наши землянки в лесу.

— Я приду,— пообещала она.

Они шли за взводом, не по тротуару, а по краю мостовой, постепенно отставая.

Помкомвзвода обернулся неодобрительно.

Тогда он отпустил ее руку и побежал трусцой. Этот основной, экономный, солдатский бег был известен задолго до нынешних времен.

— Я приду,— подтвердила она вслед.

Он догнал взвод и занял в ряду свое место.

Он знал ее немного до войны, когда жил за две остановки отсюда, в рабочем поселке,— она дружила с его знакомыми девчонками. Потом, когда стал подходить немец, их семья эвакуировалась, да и все знакомые эвакуировались, и призвали его уже на Урале. А после запасного полка он неожиданно опять попал сюда, в

маленький подмосковный городок, где заново формировалась гвардейская бригада.

Немцев уже отогнали, и он даже съездил, с разрешения, в свой поселок, но никого там не нашел: из уехавших никто еще не вернулся.

И вот эта встреча.

Землянки располагались в сосновом лесу. Со стороны города была ограда, контрольно-пропускной пункт,— ворота со шлагбаумом, будка с полевым телефоном, дежурили сержант и два солдата,— останавливали всех: рядовых и офицеров, «виллисы» и грузовые машины. Но с другой стороны — лес не перегородишь. Бабы с молоком и махоркой подходили прямо к задней линейке. И еще приезжали из Москвы толпы женщин — скапливались в лесу, к концу дня и особенно в полумраке — матери, жены и, нет, слово невесты не было в ходу,— девушки. Одни привозили скудный гостинец, другие только так, навестить. Солдат выпускали к ним почти беспрепятственно.

Через несколько дней его окликнули после ужина:

— Там спрашивает тебя какая-то...

Он, не веря, выбежал за землянку и увидел ее.

— По всему батальону прошла, около всех землянок спрашивала,— сказала она, беря его за руку.— Теперь знаю.

Они пошли вглубь леса. Стояло начало осени, смеркалось. Лес вокруг был густо наполнен голосами, тихим смехом, шепотом, шорохами. Казалось, у всех было свое место, своя стоянка. Они тоже остановились уже в темноте около сосны, она стала спиной к стволу, положила руки ему на плечи и тихонько, бегло поцеловала в губы. И они говорили о чем-то далеком, довоенном, а потом пошли обратно к землянкам — она провожала его — и там, прощаясь, еще раз поцеловались.

Они не договаривались о встрече, но она пришла на другой день, и опять. И в шевелящемся, шепчущем лесу, она опять повторяла какие-то четко или смутно знакомые сочетания имен, и он радостно подхватывал и произносил свои, другие.

Это было как пароль и отзыв, пропускающие туда, в недавнее, довоенное. Или, наоборот, оттуда. Она при-

ходила каждый вечер. Теперь они целовались почти беспрерывно. Он боялся за нее, когда она уходила одна в темноту.

После его неожиданных отсутствий — учений или наряда — он не спрашивал, появлялась ли она без него. Это было ясно.

Все круче забирала осень, все более холодало.

Теперь она приходила в пальто, он в шинели. В лесу висел туман, с хвои капало. Они стояли, прижавшись друг к другу. Он чувствовал ее груди сквозь шинельное сукно. Как он ругал себя и сожалел о том времени, когда был в гимнастерке! Но распахнуть шинель духу не хватало. И как бы он выглядел — не по форме. Странно, но это уже сидело в нем.

Однажды перед вечером объявили об отъезде. Слух об этом уже возникал, но дата отправки не была известна. И сейчас присутствовал момент неожиданности — для всех, кроме женщин.

Это было непостижимо: они всё знали, словно им объявили по радио. Их, тоже по тревоге, собрали сюда телепатические токи любви и жалости.

Куда уезжают — сомнений не было. Рота за ротой, неся на себе оружие и нехитрый свой скарб, двигались в холодной темноте к станции. А по обеим обочинам, забегая вперед, отставая или идя рядом, окликая или молча глотая комки в горле, неразличимая и слитная, текла женская толпа. Но все, кому было нужно, замечали и узнавали своих. И он в темноте увидел ее,— она шагала рядышком с их взводом.

На боковом пути стоял эшелон, а на платформе во мраке уже раздавались спокойные, сдержанные голоса:

— Хозяйство Самсонова!..

— Хозяйство Алейникова!..

— Хозяйство Меняйло!..

Так, для секретности, именовались роты и взводы.

Погрузились по теплушкам, на ощупь составили в походную пирамиду автоматы, побросали на нары вещмешки. Сержант выделил дневальных, а остальные высыпали наружу.

На платформу женщин не пускали, но по другую сторону эшелона тянулись высокие и длинные полен-

ницы крупных, даже громадных, березовых дров, грузимых поверх угля в паровозные тендеры.

И вот за этими штабелями и между ними, в каждом проходе и колене, как недавно в лесу, скопились женщины со своими дорогими и любимыми или просто со своими знакомцами, кого, неизвестно, придется ли когда-нибудь еще повидать.

И как в лесу, все кругом шуршало, шептало, но не смеялось, а чаще плакало.

И он стоял рядом с нею, приперев ее спиной к поленнице, а она целовала его в губы. Он, с трудом выковыривая пуговицы из петель, расстегнул ее пальто, дотронулся до ее груди, потом до другой — осторожно, словно боясь привлечь к своим действиям ее внимание. А она прижималась к нему, тихонько дрожа.

— Замерзла? — спросил он.

И тогда она сказала ему:

— Я трусы не надела...

Эти слова потрясли его до основания. И в тот же миг над черно-белыми поленницами, над платформой, над безмерной затемненной землей, многократно повторяясь, подхваченная вблизи и вдали, прокатилась команда:

— По вагонам!..

Много разного было потом в его жизни, но забыть это ощущение растерянности и стыда оказалось невозможно. Многое было впереди, но этот ранний опыт не слишком добавил ему смелости в отношениях с женщинами.

Всего несколько раз в жизни, под влиянием минуты, он рассказывал об этой истории самым близким своим друзьям. Столько лет прошло, и он не боялся показаться нелепым. Но никто никогда не смеялся.

ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА

Ждали гостей на печеную картошку — фирменное блюдо жены. Тут уж никто не опаздывал. Жена к тому же любила повторять, что печеную картошку обожал Пушкин,— вычитала где-то,— и это тоже всем нравилось.

А пекла она здорово. Отмытые щеткой, аккуратно подобранные, одинаковые картофелины укладывала в духовку на лист, покрытый толстым слоем соли. Картошка пеклась в ней как в золе, не подгорала, а постепенно румянилась и пропекалась до самого нутра.

Подруги тоже пекли по этому методу, но у них почему-то так не получалось.

Остальное все уже было па столе: селедка с лучком, квашеная капуста и прочее, и Дмитрий Александрович сидел в кресле, в полутьме большой прохладной комнаты, слабо ощущая ногами идущий из кухни истомный жестяной жар духовки.

Он сидел, расслабившись перед приходом гостей, и смутно вспоминал, как пек картошку в детстве и особенно в армии. Как, дуя на пальцы, поднимал из кострища испачканную землей и золой картофелину с впаянными в кожуру синими угольками, обжигаясь, разламывал и ел торопясь, чтобы поспеть к следующей. Один бочок или сердцевина порою оказывались почти сырыми, но и это он глотал,— не выбрасывать же.

Да, не то, что в духовке. Впрочем, почему же,— потом стало именно так. Какой-то гениальный рационализатор додумался, и все подхватили. Были американские консервы, нет, не тушенка, что-то вроде колбасного фарша,— высокие, узкие четырехгранные банки, по два килограмма восемьсот. Открывались припаянным щелястым ключиком, сматывающим с крышки тонкую жестяную ленту. Но до этого не доходило,— вскрывали финкой. Он пробовал-то эти консервы, наверно, раза два,— а так ими заправлялась каша на кухне. И вокруг валялись пустые банки. Умельцы,

понятно, их приспосабливали: кто звездочку вырежет, кто портсигар смастерит.

И вот сообразил кто-то в них картошку печь. Принцип тот же, что в духовке: мытые картофелины закладывали в банку, закрывали крышкой, и под угли. Получалось — объедение. Была бы только картошка!

Он неожиданно остро увидел, как они сидят на валежинах вокруг огня,— только что поели, и костер еще шевелится, догорая. Коля Кудряшов уснул и не заметил, что отскочивший уголек прожег ему полу шинели.

Ах, короток привал! Еще бы немного. Но нет, пора, сержант уже встал и подал команду. Они тоже поднялись и окончательно затушили костер старинным и простейшим солдатским способом.

А чай? Как заваривали чай? Дмитрий Александрович не раз видел эти огромные пачки. По килограмму, наверное, была расфасовка, не меньше. Заваривали в обычном походном котле на колесах. Высыпали в кипяток и затягивали болтами крышку. Но ведь что характерно: солдат чаёк пьет, только когда сыт. А голодный к нему никакого интереса,— пить-то его не с чем.

Всплыли как сквозь сон первые дни в училище. Начало службы — все как сквозь сон. Рота стояла километрах в двух от столовой. Уходили на обед, в расположении оставался дневальный. А котелков в училище не положено,— был у старшины один, кажется, трофейный, плоский, с крышкой. Вот в нем и приносили дневальному обед. На первое — борщ с нарубленными сосисками, на второе — пшенка с чайной ложечкой масла, на третье — компот из сухофруктов. Все — в одном котелке, да еще ледяное — зима стояла. Ел за милую душу, только дай!

Недавно Дмитрий Алексеевич читал новую книгу своего любимого писателя, который был его сверстником, даже моложе на год. Писатель не был в армии по состоянию здоровья, по зрению, и Дмитрий Александрович охотно прощал ему это, хотя многим не прощал их бронь. Но ведь больно уж точно, по живому, писал он о всей сумятице, сложности и неразберихе семейной и прочей другой жизни.

И вдруг прочитал в одной фразе, между делом, мимоходом, что главный герой был в армии, прошел вой-

ну. Об этом только упоминалось, потому что автор, видимо, не знал, куда определить его на эти четыре года. Но ведь так не бывает, чтобы был т а м, и нигде, ни разу не вспомнилось, не отозвалось, не заметилось, не заныло. Нет, не бывает. И в первый раз не поверил...

— Митя, ты что, задремал? — долетел из кухни голос Нины.

Но он уже сам услышал дверной звонок и шел открывать.

ПРИПЕВ

Валентин Викторович Богучаров гостил после долгой болезни у родственников жены, в знаменитом приморском городе.

Путевку в санаторий достать не удалось, совсем дикарем ехать было глупо, но родичи, как только узнали, сами позвали: мальчишка уезжает в пионерский лагерь, их только двое, никого Валя не стеснит.

Фамилия их была — Прометей. Фамилия — его, но и жена взяла, конечно. Никто и не удивлялся.

Когда Богучаров начал рассматривать номера квартир над подъездом, сидевшие на лавочке женщины спросили:

— Вам куда? В девятнадцатую? К Прометеям? Идите, они дома...

На дверях красовалась латунная пластинка с гравировкой: «М. И. и С. А. Прометей». Прометеи были милые, отзывчивые люди. О похитителе огня они имели довольно смутное представление.

Они уходили на работу чуть свет, Богучаров еще дремал в детской комнате с «Робинзоном» на полке и глобусом на столе. Потом потягивался, щурился блаженно, вставал, высовывал голову на залитый солнцем балкон. Выходить туда в трусах он стеснялся, но потом стал замечать, что здесь это в порядке вещей: на балконах греются и загорают мужчины и женщины разных возрастов.

Вдалеке, между высокими крышами, виднелся синий треугольник моря, напоминавший о тельняшке, внизу, над тротуаром, громоздились мощные шары платанов.

А напротив балкона размещалось морское училище — мореходка. Богучарову был виден кусочек мощеного двора, мачта с флагами расцвечивания, ясно слышалось, как бьют склянки, а также доносились

частые сигналы трубы, не всегда понятные Богучарову. У входных ворот, по надобности открывая или закрывая их, находилось двое или трое курсантов — вахта.

Но еще раньше чем он выходил на балкон, еще в полусне, Богучаров слышал песню, строевую песню. Припев выплескивался внизу, потом повторялся в отдалении, потом совсем уже далеко.

Богучаров пил кофе, привезенный им на все время и для всей семьи, просматривал местную газету, брился. Потом он гулял, вернее, болтался по прекрасному городу, посещал музеи и выставки, ездил на трамвае на пляж. Пляжи с желтым мелким песочком были забиты битком — и не только приезжими. Жители многих курортов относятся к пляжу несколько брезгливо, он выглядит для них слишком грязно, скученно. Здесь — нет. Горожане прибывали сюда семьями, надолго, с магнитофонами, мячами, надувными матрасами; кастрюли с домашним обедом они обвертывали полиэтиленовой пленкой и зарывали в раскаленный песок.

Богучаров, одетый, задумчиво разглядывал эту плотоядную жизнь, загорелых и неуклюжих толстяков и толстух. Купаться ему было запрещено.

А песня непонятным образом привлекала его все больше и больше. Или, может быть, он уже отоспался, немного окреп?

Утром он сделал над собой усилие и поднялся раньше обычного. Над улицей еще держался знобящий холодок. Вахта растворила ворота. Строй выглядел довольно большим,— по сухопутным понятиям — не менее роты. Ребята были в полотняных рабочих штанах и выцветших робах с синими воротниками-гюйсами на спинах. Они шли в строю и даже как будто в ногу, но словно бы вразвалку.

И тут вступил запевала. Песня сразу организовала этот строй. Однако с балкона не только слов, даже голоса почти не было слышно. И тут слаженно, в охотку, ударил припев. Вот припев был слышен хорошо, но слов все равно не разобрать. Они *почти* угадывались, но все-таки их нужно было знать заранее,— вот тогда было бы понятно каждое слово.

Так и ушли они вместе со своим припевом.

Возвращались они почему-то без песни.

Миновало еще одно утро, второе, а на третье Богучаров вышел из дома вместе с обрадовавшимися Прометеями:

— Молодец! Идешь на поправку!..

На тротуаре и на пятнистых стволах платанов лежала роса. Прометеи сразу побежали за угол к трамваю, а он стоял, подставив лицо раннему солнышку. Накануне он купил в газетном киоске записную книжку и шариковую ручку. Он волновался.

Уловить песню сразу, конечно, не удалось. Начальные строчки, пока запевала не распелся, были заглушены шарканьем подошв. Припев он усвоил только со второго повтора.

Морячки шли хорошим шагом, и ему было неудобно семенить рядом со строем, как мальчишке. Он следовал по тротуару, будто по своим делам. К тому же отвлекала красота строя, смышленых юных лиц, сама картина — как в кино без звука.

Но он многое понял.

Песня полностью расположилась в блокноте только через три дня.

У стенки, у причала,
Пока еще в порту,
Морских дорог начало.
Но вот мы на борту.

И дальше, первый раз, еще не разогревшись, припев:

Свистят-ревут стихии,
Вздымается вода.
Со всех концов России
Мы прибыли сюда.

Видно было по лицам, что эти слова доставляют им удовольствие. «Со всех концов России...». Так и дружба вавязывается, часто не с тем, кто рядом жил, а совсем из других мест. И потом, удивительно, но ведь многие даже крупные флотоводцы родом бывают не с морского берега.

И следующий куплет:

Встает волна стальная
Навстречу кораблю.
Но пишет мне родная:
«Вовек не разлюблю».

Молодежь! Им это надо. Да и не только ведь молодым.

И опять припев — почти обвал.

И тут Богучаров догадался, сделал открытие. Припев — это не только участие в песне всех, но и рубеж, граница, отсекающая один куплет от другого, один сюжет от следующего, в отличие от песен повествовательных, со сквозным сюжетом.

Третий куплет запевала выводил особенно подчеркнуто-задорно:

Чтобы носить нам, братцы,
Шевроны-галуны,
Не следует бояться
Нам драить гальюны.

Теперь припев — уже на полную катушку.

И наконец, спокойно, сдержанно:

Я стану офицером,
Когда наступит срок.
Во всем служа примером,
К себе я буду строг.

Сперва Богучаров удивился: почему — офицером? Это что же, песня военных моряков? Может быть, и так, но в гражданском флоте помощники капитана, штурманы, старший механик и другие руководители судна тоже именуются офицерами, вспомнил он. Даже палуба, где расположены их каюты, называется офицерской.

Ну и снова:

...Со всех концов России
Мы прибыли сюда.

Это место особенно нравилось — и им, и ему.

Вот и вся эпопея. Хотя, конечно, не вся.

Через несколько дней, в универмаге, Богучаров увидел себя в большом зеркале,— загорелого, подтянутого. Но особенно обольщаться не стоило. Однако пора было и домой.

Вечером он сказал:

— Завтра пойду за билетом.

— А куда спешить! Живи, Валя,— добродушно ответствовал Прометей.

— Посвежел. Тьфу, тьфу,— отметила Прометеиха.

Укладываясь на ночь, Богучаров подумал о том, что вот прежде, живя дома, болея в последнее время, мыкаясь по поликлиникам и стационарам, выкарабкиваясь из болезни, он думать не думал, что каким-то образом его может задеть за живое неведомая матросская песня. Он никогда не знал за собой такого.

«Дадут инвалидность, выйду на пенсию, буду писать всякие такие штучки-заметочки. Пенсионеры все любят что-нибудь делать не по специальности»,— подумал он, засыпая.

Встряска



ВСТРЕЧА

Съезжались со всех концов страны, раз в два года,— ежегодно получалось слишком хлопотно. Совет ветеранов корпуса даже бронировал гостиницу — вблизи ВДНХ. Собирались тоже на Выставке, в зале административного корпуса, а потом в ресторане «Золотой колос».

Встреча официально занимала два дня. В первый день — торжественное заседание. Во второй — «товарищеский ужин, начало в 15 часов». Кроме того, были и другие мероприятия: построение, фотографирование, посещение Мавзолея, возложение венков к могиле Неизвестного солдата и на могилу бывшего командира корпуса.

Ну, и встречи друг с другом, возгласы, объятия, узнавания.

Общая молодость, тогдашняя одинаковость судьбы — заслоняли все остальное.

Это длилось всего десять лет, и с каждым разом собиравшихся становилось больше, а не наоборот. До сих пор вновь отыскавшиеся количественно превышали навсегда уходящих.

Вместительный зал административного корпуса теперь бывал переполнен, не хватало стульев,— однако сидящие в зале составляли один процент от личного состава корпуса, укомплектованного перед последним наступлением. Один человек из ста!

Оба моих друга приезжали накануне первого дня встречи и обедали у меня. Они отыскали меня около двадцати лет назад, я тоже бывал у обоих. На этот раз они прибывали с женами.

Был, правда, еще один кровный друг, Серафим, но его я повстречал, когда уже расстался с ними. Грозился впервые приехать и мой первый номер пэтээровского расчета.

Но к обеду ждали двоих,— вернее, две пары. Поезд из Пскова приходил чуть свет, и Николай, уже устроившись, позвонил и степенно доложился. Котласский поезд прибывал в середине дня, и Боря проклюнулся часам к пяти.

— Шибанов не приехал! — кричал он в трубку.— Я по спискам проверял.

— Да он уже звонил давно. Выезжайте.

— Троллейбус идет до метро «Щербаковская».

— Давай-давай. Ты что, дороги не знаешь?

Мы с Шибановым стояли на балконе и смотрели, как он вместе с Тасей появился во дворе, широким шагом решительно направился к другому подъезду, остановился, вынул, уточняя, записную книжку. Шибанов добродушно посмеивался.

Потом все сидели за столом. Тася и Надя порывались помогать моей жене. Они виделись впервые, но выглядели старинными подругами.

Борис обращался к ним восторженно и обобщенно:

— Вот, понимаете, совместно прошла боевая молодость.

Николай объяснялся куда конкретней:

— Зима, в землянке холод, а он приносит котелок каши...

Главным были не воспоминания,— мы уже вспоминали столько раз, что они являлись теперь некоей постоянной, неменяющейся ценностью. Главным было слышать голоса и смотреть друг на друга. Это поле, созданное вокруг нас, ощущалось так сильно, что жены действительно чувствовали, будто и их молодость прошла вместе.

Говорили о нынешней жизни,— здесь тоже было много схожего. Оба получили садовые участки,— один, правда, уже построил и оборудовал домик, а второй только поставил сарай и выкопал яму для картошки.

Потом — о детях и внуках, о связанных с ними радостях и сложностях.

И вдруг Борис вскинулся, как очнулся:

— Нужно ехать. Метро до каких? До двенадцати?

— До часу.

— Все равно. Троллейбусы от метро «Щербаковская» ходят до двенадцати часов. А еще нужно добраться.

— Да чепуха это! — сказал я. — Ты подумай, неужто вы не доедете?

— Нет, нет, пора. Николай, пошли. Тася, Надя!..

«Ну, что ты все торопишься? — хотел спросить я его. — Ну, когда мы в следующий раз увидимся?»

Но я не спросил этого. Ведь он мог ответить: завтра. И еще послезавтра! — и был бы прав.

Наутро старые десантники впрыгивали в игрушечные вагончики автопоезда, ехали мимо бушующих фонтанов и ажурных павильонов, густо шли к площади, где, растворяясь в пространствах Выставки, негромко рокотал оркестр.

Мои оба уже были там, при полном параде, — найти было нетрудно: располагались по полкáм. И Симка стоял тут же, чуть в стороне, сдержанно улыбался, ожидая, пока я его замечу.

Мелькали знакомые по прежним встречам лица. И тут ко мне подошел моложавый, повыше меня, человек:

— Не узнаешь? (А может быть, он даже спросил: не узнаёте?)

— Погоди, погоди. Да нет...

— Иван Тимофеевич.

— Ваня! Тявкин!

Вот у него я и был вторым номером. Я не видел его тридцать восемь лет... А ведь нас, помимо всего прочего, связывало и объединяло общее противотанковое ружье — вначале дегтяревское, потом симоновское.

Опять в зале не хватало мест. Приносили откуда-то стулья. Избрали президиум. Был доклад — о боевом пути нашего Венского корпуса. Докладчика мало кто помнил, — он работал в штабе одной из дивизий, а в зале сидели бывшие рядовые, сержанты и лейтенанты. Он длинно рассказывал о событиях, которые остальные хорошо знали, но все равно это не было скучно, а наоборот — умиляло.

Потом, снаружи, стояли уже маленькими группами свои, — и была радость, и растущее ощущение скорой разлуки.

Я оглядывался по сторонам. Народу было больше, чем в прошлый раз, но многих я уже не видел.

А формировались мы под Москвой, в сорока двух километрах, прыгали с парашютом,— сперва с аэростата, потом с «Дугласа». Жили в землянках, в лесу, в каждой землянке — взвод. На нарах было очень тесно, выйдешь ночью, вернешься — еле втиснешься. И в такой же тесноте стояли сами землянки — одна к одной.

А поблизости базировался дальний бомбардировочный полк. И вот перед отбоем — еще было светло — волнами, с ревом, едва не задевая вершины сосен, разворачивались над нашим расположением тяжело груженные машины. Это длилось долго, и нас словно придавливало к земле их весом, их гулом. На рассвете они возвращались и шли над нами на посадку — вероятно, не все.

Однажды, когда мы еще спали, мощный взрыв тряхнул и подвинул землянку, застонали перекрытия, вылетело стекло в единственном окошечке, попадало оружие из пирамиды, покатились по полу котелки, потекла сверху земля.

Недалеко от нас возвращающийся самолет уронил бомбу.

Знаменитый впоследствии летчик-испытатель, служивший тогда именно в том полку, объяснил мне недавно, что подобные случаи бывали: приборы показывают, что все бомбы отделились, а на самом деле одна не полностью вышла из люка, застряла и висит под крылом. Ее удерживает небольшой перекос, и оторваться она может в любую минуту. Потом,— не в связи только с этим случаем, конечно,— сделали специальные смотровые окошечки, сквозь которые экипаж мог бы проверять отсутствие бомбового груза и чисто визуально.

Бомба оборвалась метрах в двухстах от наших землянок. Произойди это чуть раньше, то-то бы полегло народу.

А тут она упала около кухни. Кухня располагалась в чьей-то даче. Там много было пустых дач,— хозяева эвакуировались. И опять везение: наряд уже приготовил завтрак, закрыл котлы и отошел в ложбиночку — вздремнуть до подъема.

Дачу разметало по бревнышку. Каша далеко вокруг попадалась на кустах и деревьях.

И такое вот тоже остается в памяти. А что! — судьба.

В этом городке помнят и уважают десантников,— кроме нашей здесь формировались еще две бригады. И мы его помним.

Сюда тоже приезжают, устраивают митинги, построения. Некоторые старики-ветераны надевают голубые береты, хотя при нас их, разумеется, не было.

Следы от наших землянок с трудом можно обнаружить и сейчас. Правда, это место опять застроено дачами. А недавно на здании школы, в которой размещался наш штаб, была открыта мемориальная доска.

ЭКСКУРСОВОДЫ

Молодая женщина-экскурсовод. Привыкла всегда быть на людях. Одета и причесана тщательно. Одни слушают, ее не замечая, глядя только на картины, рамы, полы. Другие ее рассматривают внимательно, подробно. Она — как и первые — их тоже почти не видит, говорит точно, выверенно, заученно. Каждое слово, интонация, жест,— все на месте, как всегда. Когда пересекаются в проходе две группы, перекидывается словом с подругой-экскурсоводом, совсем другим, обыденным, голосом.

Наверное, пишет диссертацию.

За окно, на прекрасную под хмурым солнцем Неву, не взглянула ни разу. Это у них у всех общее.

Но — чего не бывает!.. Южный город. Дом-музей замечательного русского писателя. Холодная весна. Народу мало, публика еще не хлынула, но есть. Привозят экскурсии из санаториев и ведут тоже группами.

Стараюсь находиться между группами: чтобы хоть на миг увидеть каждую комнату пустой, вхожу в нее «на пятках» предыдущей, но еще до следующей. Таким образом слышу обоих экскурсоводов.

Впереди — мужчина, симпатичный, в помятом костюме. Говорит о писателе:

— Потом он перевез сюда сéмью...

Ну, за что же классику такое!

Зато ведущая толпу следом за мной громко читает стихи об этом доме,— не ахти какие, непонятно чьи, но явно современные.

Я, выждав момент, обращаюсь к ней:

— Скажите, пожалуйста, можно вам задать вопрос?

Не отвечает.

Я, несколько удивившись и подождав немного, повторяю.

И тут из служебного, видимо, помещения в конце коридора появляется строгая женщина и говорит официальным тоном:

— Гражданин, в чем дело? — как если бы я что-нибудь нарушил, шумел, мешал.

Я объясняю.

— Она не слышит,— изрекает женщина.

Вот, оказывается, что. Я с глубоким сочувствием отношусь к человеческим недугам, уважаю их. Я понимаю, что главный жанр экскурсовода — монолог. Но чтобы экскурсовод был глух! Чтобы заранее исключалась самая возможность задать ему вопрос!

За что же это бедному классику?

— Да, послушайте! — воззвал я к удаляющейся официальной женщине.— А чьи это стихи?

Она-то, конечно, слышала, но тоже не удостоила меня ответом.

Правда, это было двадцать лет тому назад.

А недавно побывал в Петровском дворце в Москве, где размещается Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского. Там была встреча с командованием ВВС, да и хотелось посмотреть самое здание, естественно, закрытое для свободных посещений. Дворец и внутри замечательный, а еще навестили в нем, хотя и бегло, музей академии. И вот начальник музея, старый человек в авиационной форме, с такой сдержанной увлеченностью, знанием дела, достоинством и пониманием момента (ждет Командующий!) провел нас по залам, что запомнился и невысоким ростом, и интеллигентным обликом, и смутным желанием туда возвратиться.

И еще одно воспоминание. Несколько лет назад был в Донбассе, и в уголочке его, на границе Донецкой области с Ворошиловградской, попал в шахтерский уютный городок — Снежное. Впрочем, все тамошние жители упорно произносят это название с ударением на предпоследнем слоге — Снежно́е,— что, согласитесь, диковато для постороннего уха. А так городок симпатичный.

Я выступал там на шахте перед сменой, читал стихи. Среди вопросов был и такой, под добродушный смех: не желаю ли спуститься под землю, в штрек, в забой?.. Ясное дело, некогда, не до этого, но приятно, что мог

ответить: бывал в шахте дважды, здесь же, поблизости, на Яновском руднике.

Особое ощущение: небольшая контора, цветочки на клумбах, тишина, а весь труд — и какой! — отсюда невидим. В искусстве тоже такое бывает.

Начальник потом показал по схеме:

— Все почти уже выработано. Скоро уйдем отсюда, последнее добираем, вот здесь и здесь, и вот эту лавчонку. Уйдем? Нет, недалеко.

Затем я выступал в школе, где мне самому дети устроили чуть ли не целый концерт, затем вместе с товарищами по делегации — в городском Доме культуры.

А потом — музей. Там было немало и о трудовой славе, но о боевой — больше. Так, во всяком случае, осталось в памяти. Здесь проходило грандиозное сражение за Донбасс. Врезались в сознание слова из приказа Толбухина на наступление — о том, что другого пути в Донбасс у нас нет. Так мог сказать Суворов или Кутузов.

Нас сопровождало городское руководство. А объяснения давала молоденькая девушка-экскурсовод с указкой в руке.

Утомленный длинным, насыщенным впечатлениями днем, я поначалу не обратил на нее внимания.

Сразу после этого поехали на Саур-могилу. Что это такое? «Саур» — название явно тюркского происхождения,— потом узнал: по-казахски это круп лошади,— а «могила» — по-украински холм, курган. Но по-русски-то!

Это действительно огромный курган, и это действительно громадная могила. Именно здесь, на этой воистину господствующей высоте и вокруг нее, оказался эпицентр схватки.

Мы оставили машины у подножья и пошли по бесконечным ступеням вверх, мимо плакучих деревьев разных пород, посаженных однополчанами павших. В дни освобождения Донбасса у Саур-могилы собираются несметные людские толпы.

На вершине — высокий четкий обелиск. Его тень — тень штыка — лежит на городе, на окрестных степях, на Донбассе.

Кто-то из городского начальства объяснял нам все это, затем замолчал, поискал глазами девушку и кивнул ей:

— Рассказывай!

И она вышла вперед.

Она говорила то же самое, но более подробно, с датами, номерами и наименованиями полков и дивизий.

Но что-то поражало меня в ее рассказе. И вдруг я понял: она говорила о т п е р в о г о л и ц а. Она говорила как мог бы говорить у ч а с т н и к.

Она говорила:

— Плотность огня противника была такова, что мы не могли поднять головы... Мы несли страшные потери... Все же нам удалось ворваться в траншею... Трижды нас сбрасывали со склона... Ночью на маленьком плацдарме зацепились разведчики... И мы опять поднялись... А на рассвете поднялся весь фронт...

И еще она сказала:

— Все было укреплено и настолько густо минировано, что потом в течение ряда лет здесь подрывались наши дети...

Повторяю, она была совсем молода, родилась много после войны, и детей своих у нее, конечно, не было...

Она просто все так ощущала.

Я, уже в Москве, написал о ней стихи.

Девушка-экскурсовод,
Своего дождавшись часа,
Над высотами Донбасса
Объяснения дает:

«Эти мощные холмы
Укреплялись в полной мере.
Наступали снизу мы.
Были страшные потери.

Трижды сбрасывали нас.
Уцелеть случалось редко.
Ночью темною, не враз,
Пробралась сюда разведка.

Холм огнем был вскопан весь.
Фронт поднялся на рассвете.
И потом на минах здесь
Подрывались наши дети»...

Словно голосом войны
Говорит, иным на диво,
И глаза у ней полны
Дымом дальнего разрыва.

Ясно светится она
Отраженным чистым бликом,
До конца растворена
В грозном времени великом.

Что ни говорите, чувство сопричастности — поразительное чувство.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Удивительно: это утро невероятно отдалено от нас, но ясно различимо,— линии четки и краски не потускнели. Более того, наш поезд уходит все дальше и летит все быстрей, а с площадки последнего вагона это утро видится все более отчетливо.

Я закончил войну не в поверженной Германии, а в глубоко дружественной, освобожденной нами стране. На рассвете девятого мы ворвались в чешский город ЗнойМо. Здесь и застала нас официальная весть о Победе,— слухи о ней катились, разрастаясь, уже дня два. Мы — это части 9-й гвардейской армии, переброшенной из Вены,— с Третьего Украинского фронта на Второй,— бывшие десантники.

9-я армия и 9-е мая. Странно, но я только сейчас это заметил.

Вижу поток наших машин, пушек и повозок, огромный портрет фюрера, валяющийся посреди мостовой, фуражку офицера дивизии «Мертвая голова» на столе в коттедже.

Конец войны. Мне еще не исполнилось двадцати лет. Но теперь, наверное, исполнится.

День Победы. Но мы не остановились. Мы двигались и двигались,— вперед, а в селах и деревнях, по сторонам улицы, да порой и в поле, по сторонам дороги, стояли счастливые люди, махали нам, бросали цветы, угощали вином и пивом. И не только девятого, но и десятого, и одиннадцатого тоже.

Противник, не выдержав гонки, сошел с дороги и пёр параллельно ей, напролом, лесом,— ночью только треск стоял,— ломился, все более отставая, но надеясь уйти, вырваться, сдаться не нам, а нашим союзникам. Мало кому из них это удалось.

Всем известно, что наши войска встретились с американцами на Эльбе. Но не только там. И на Влтаве тоже. И я был среди тех, кто тепло и дружески встре-

тился с американцами на высоченном Подольском мосту.

Через год Девятого мая я был еще в армии, но уже в России,— тогда так говорили: в России, а потом стали говорить: в Союзе; через два года — дома.

И вот тут начинается особый, длинный и нелегкий, период приобщения к другой жизни, поисков себя в ней. Людям моего поколения приходилось все начинать с самого начала, почти с нуля. Нужно было устраиваться на работу или поступать учиться,— койка в общежитии казалась верхом счастья. Среди непрочности послевоенного быта начали создаваться новые семьи,— большей частью прочные,— рождаться дети. Было голодно, негде бывало приткнуться, снимали углы и комнатенки, не верилось, что когда-нибудь будет своя,— не квартира, куда там,— комнатка в общей квартире. А потом — не было мебели, наконец, просто одежды: шинели и кителя таскали на гражданке по нескольку лет.

К чему я? К тому, что за всем этим — порою почти незамеченным — просверкивал день Девятого мая. Иной раз обожжет сердце или напомнит кто-то, а то и забудешь до вечера, до следующего утра, как в суматохе забывается иногда день рождения близкого, дорогого человека. Да и вообще День Победы был несколько лет рабочим днем.

А потом словно наступила иная полоса — причем для всех сразу.

Как в пушкинском «Пророке»:

Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон...

Мы как будто очнулись, посмотрели вокруг, увидели: дети уже подрастают. Вспомнили себя, погибших друзей, дорогих товарищей. Вся страна вспомнила. Да и не забывала, конечно,— как это можно забыть! — а просто другим была занята, тянулась, вставала на ноги.

День Победы снова сделался не только государственным, но для каждого очень личным, необыкновенно своим, объединяющим людей праздником.

По-разному встречал я победный день. И с братьями-писателями в Центральном Доме литераторов. Когда-то ходили туда в этот вечер Твардовский, Каза-

кевич, Фатьянов, Луконин, Орлов, Наровчатов. Светлов сочинял шутливый, в стихах, продаттестат. Кажется, давно ли это было! В 1965 году участвовал в нашем ужине восторженно приветствуемый всеми Маршал Жуков.

Встречал и с объявившимися как в сказке фронтовыми друзьями.

Лишь однажды был в Парке культуры, и поразило меня более всего не пестрое многолюдье, не объятия и слезы встреч, а библейской силы одинокие печальные фигуры с транспарантиками в руках: «Ищу однополчан», «Ищу однополчан мужа» и даже: «Ищу однополчан отца!» — а рядом приклеена крохотная фотография, выведено наименование части или номер полевой почты.

Наш 38-й гвардейский Венский корпус тоже обзавелся Советом ветеранов, разыскивающим былых бойцов. Встречаемся на ВДНХ. В первый раз дивизия умещалась за одним столом, а полк представляли трое. С оттенком грусти было это застолье. Но уже на следующий год народу заметно прибавилось. Есть, есть еще живые! Великая сила единения созывает новых и новых.

В прошлом году был создан и Совет нашей 4-й гвардейской воздушно-десантной бригады. Когда-то она формировалась в лесу, вблизи подмосковной платформы «42-й километр». (В войну, бывало, разговаривают два солдата: «Вы где формировались?» — «А мы там формировались...»

А ведь действительно ф о р м и р о в а л и с ь и мы сами.)

Теперь со стены школы извещает об этом мемориальная доска. В школе — музей. Просят экспонаты. Но, послушайте, нет ничего, да и негоже, неловко както при жизни в музей что-то совать, даже в школьный.

Девятого собирались там однополчане. Хотел поехать, но побоялся митинга, выступлений, построений. Решил отправиться как-нибудь в обычный день вдвоемвтроем с друзьями, постоять на месте наших землянок, а самый праздник обещал провести с семьей.

Утро около Внукова выдалось чистое, ясное. Самолеты почти не мешали. Жена и дочь поздравили меня,— вернее сказать, мы поздравили друг друга. Шести-

летняя внучка подарила мне свой рисунок — с флажками и надписью: «Деду».

Вскоре приехал из Москвы в гости мой друг Ян Френкель, рядовой давнишней войны. Мы погуляли с ним по поселку. На многих домах были вывешены флаги, а в прозрачном воздухе разлиты тишина и покой.

Потом мы долго обедали, пригласив соседей — Олега Россиянова, потерявшего на войне ногу, и Георгия Семенова, человека по сути послевоенного поколения. У Межирова есть стихи, где один человек моложе другого не на четыре года, а «на Отечественную войну». Это верно, конечно. И все-таки, скажем, тому же Семенову (он моложе меня на шесть лет) знакомы и бомбежки, и мрак затемнения, и холод, и регулярное недоедание, и ужас «похоронок». Он тоже из нашего времени.

Позднее мы с Френкелем сидели на скамеечке и смотрели на играющих детей. Сидели как два старика, которыми мы, в сущности, и были. Потом я пошел провожать его. Я рассчитывал, что мы сразу поймаем попутную машину, но ее все не было, и мы, то и дело оглядываясь, шли по узкой асфальтовой ленте к станции. За разговорами прошли незаметно. И тут остановилось такси, кто-то вылез, прощаясь, освободилось место, и Яна взяли до Москвы. На обочине стояла молодая компания, и девушка, не зная, что я имею к нему отношение, сказала остальным:

— Увезли от нас Френкеля...

А я пошагал хорошим солдатским ходом, наискосок, через поле, укорачивая путь. Уже заметно вечерело. Сияла первая нежная зелень, лиловея, скапливались тучи. Я был в одной рубашке и не с зонтиком, а с палкой в руке.

Перед воротами увидел ожидающую меня, уже обеспокоенную жену и перехватившего нас боевого генерала Николая Никитича, приехавшего со своей женой к дочери, внуку и зятю-писателю. Он затащил нас к себе, и едва я переступил порог, как буквально потоки воды обрушились с темных небес. Я успел только-только.

В комнате, кроме хозяев, сидели так и не расставшиеся Россиянов и Семенов, а также Яков Козловский, несущий на себе жестокие меты войны, и еще один ста-

рый вояка Коля Старшинов. С ними обоими я вместе учился. Инвалид войны... Как психологически изменилось содержание этой формулы. Тогда инвалидами называли безногих, ездящих, отталкиваясь руками от тротуара, на гремящих деревянных платформах. Моих друзей инвалидами никто и не считал.

Мы еще долго сидели,— разговаривали, пели песни. Над домом грохотала гроза, женщины попросили закрыть окна, даже вышли из комнаты. А мы все сидели за столом, и мощная майская гроза не напоминала нам ни артподготовки, ни бомбежки, ни даже салюта.

ФЛАЖОК

Праздники... Как там у Твардовского? —

И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

Нам же запомнились не попы. Старинные праздники остались связанные с блинами, куличами, крашеными яйцами... Престольные праздники, их приметы, большей частью метеорологического свойства. «Если на Самсона дождь, значит, будет идти еще сорок дней...»

Новым праздникам дополнительные приметы не требуются. Они сами — примета жизни. Первомай. С детства и навсегда чуть свет уже марши и песни из домашних и уличных репродукторов, духовой оркестр где-то невдалеке. Ярко-красное сквозь первую нежную зелень... Октябрьские. Крепкая, примороженная земля. Снежная крупка в лицо. Волшебные слова: «Аврора», Зимний, Смольный... День Красной Армии. Впервые с начала службы белый хлеб в училище, еще в сорок третьем... Восьмое марта. Желтые веточки мимозы. Любимые женщины... Не только на работе, но и в школе, подарки к двадцать третьему февраля и к Восьмому марта. Не подарят девочки, сами не получат. Таким образом, двадцать третье стало просто мужским праздником... И Девятое мая. Моя жена недавно сказала, что этот праздник, как. Новый год,— настолько же общий, настолько же личный, трогательный... А что! С этого рубежа вполне можно было бы начинать счет дням. Между прочим, в некоторых странах, в Азии, Новый год вообще летом.

День Победы — особый, кровный наш праздник.

9 мая 1986 года позвонила днем Вела Орлова, поздравила и, волнуясь, рассказала, что сегодня прямо с утра, после дежурства,— она работает в Лужниках, на теннисных кортах,— поехала на Кунцевское кладбище к Сереже. Народу в автобусе было мало, и уже на Мо-

жайском шоссе она вдруг заметила на противоположной стороне мостовой, посреди асфальта, красный флажок, видимо выбитый ветром из гнезда шибко идущего троллейбуса или иной машины.

И тут же автобус их остановился.

— Ну, что там еще! — недовольно воскликнул сидящий рядом человек, не видевший причины.

Водитель, молодой парень, открыл левую дверцу, спрыгнул, перебежал на сторону встречного движения, поднял флажок, вернулся и укрепил его над своим окном. Теперь уже многие пассажиры обратили на это внимание.

Через две остановки Веле было выходить, и она, потянув вбок дверь кабины, спросила водителя, как его зовут.

— Роберт,— ответил он.

— Спасибо тебе от вдовы солдата.

— Я сам в Афганистане был,— сказал он серьезно и растворил перед ней наружные двери.

— Вернулась, чувствую, нужно рассказать кому-то об этом, а тут, едва вошла, слышу по «Маяку» твоего «Алешу» и решила позвонить тебе,— сказала она со слезами в голосе...

В ЧЕСТЬ ПАВШИХ

Памятники в честь павших сначала появились там, где прошли бои,— над братскими могилами среди поля, на площадях отбитых сел и районных городков. Это были первые послевоенные вехи войны. Одинаковые или схожие белые солдатские фигуры, лепные венки у ног. По этим суровым ориентирам можно было безошибочно определить: сюда тоже добиралась война. На иных направлениях они попадались особенно часто.

Но потом, с годами, горькие знаки стали отходить все дальше, на восток, но место им тоже определяла только человеческая память. Мемориальные доски на стенах школ, у дверей институтов, у заводских проходных,— в честь тех, кто ушел и не вернулся.

Поименные, пополняемые каждый год вновь разысканными героями списки, выбитые на стелах под приспущенными гранитными знаменами — списки земляков, горожан, односельчан, тех, кто ушел и не вернулся.

Вот и в Мытищах по проекту Аркадия Зайцева — моего однополчанина и друга — на месте бывшего военкомата открыт Памятный знак. Отсюда за годы войны отправились защищать Родину многие тысячи жителей города и района. Пятнадцать тысяч из них погибли. Белый мрамор. Латунное кольцо с надписью. Одиннадцатиметровый четырехгранный штык из нержавеющей стали. Пять пилонов — по числу лет войны. То есть как? Война же шла четыре года. Да, конечно. Но военных лет было все-таки пять: 41-й, 42-й, 43-й, 44-й и 45-й.

Все, от начала до конца, сделано, как теперь принято говорить,— на общественных началах.

Былой сержант Аркашка Зайцев специалист по технической эстетике, замечательный мастер. До этого он целиком оборудовал школьный музей нашей бывшей гвардейской воздушно-десантной бригады.

Но вот беда... Памятные знаки, местные мемориалы, особенно сделанные стихийно, на порыве, не везде и не всегда были увязаны с планами дальнейшей застройки городов и поселков и впоследствии оказывались порою в стороне от центральных узлов и магистралей, где-то на заднем плане. Да если бы еще только это...

Другой мой приятель, тоже, к слову, старый десантник, художник Николай Петров был как-то в Средней Азии. Он приехал туда в официальную командировку, с заказом — написать для тамошнего Дворца культуры портрет знатного хлопкороба. Существуют такие договорные работы. Как и следовало ожидать, другие Герои, а также районные руководители тоже пожелали иметь живописные портреты — свои и своих близких. Но Петров человек строгих правил и на обхаживания не поддавался.

Однажды его везли на «Волге» из района в тот колхоз, где он уже заканчивал портрет. Впереди, рядом с шофером, сидел руководящий товарищ в златотканой тюбетейке, и, глядя на него, Петров думал о том, что до войны ковровые и прочие головные уборы этого вида были почему-то очень модны в Москве, их носили летом все, от мала до велика. Остальные попутчики Петрова были в кепках.

Неожиданно машина остановилась. Спутники стали вылезать, Петров последовал за ними. Уже смеркалось. Шумел арык. Они находились с задней стороны какого-то селения. У края дороги валялся строительный мусор, битый кирпич. Человек в тюбетейке похлопал себя по карманам и спросил Петрова, есть ли у того спички.

— Не курю,— коротко ответил Петров.

У других спичек тоже не оказалось. Но поблизости играли ребятишки, и человек в тюбетейке крикнул им что-то властным голосом. Они разом замерли и тут же побежали к домам. Вскоре старший из них принес спички.

Теперь все сошли с дороги, и Петров рассмотрел в сумерках невысокую пирамидку, на которой было что-то написано. Человек в тюбетейке присел на корточки, покопался, чиркнул спичкой, сунул ее в темноту, и тут же рядом с пирамидкой вспыхнуло синее пламя.

— Вот,— сказал он, удовлетворенно выпрямляясь.— Вечный огонь.— И добавил после паузы: — Вы же участник войны.

Он хотел сделать художнику приятное. Петров повернулся и пошел к машине. Человек в тюбетейке немного удивился, нагнулся и закрыл вентиль.

...Однажды я был в старинном славном городе. За гостиничным окном клубилась морозом лютая зима. Был уже поздний час, но четко различался открытый недавно мемориал — три громадных стилизованных колонны-штыка, напоминавшие не только о беспримерном ратном упорстве и подвиге, но и о том, что это город оружейников. А внизу, между колоннами-штыками, металось на ветру пламя.

И тут я увидел молодую пару. Держась под руку и заслоняя от ветра лица, они бежали через площадь. И вдруг они изменили направление и свернули к огню. Они постояли там несколько секунд и побежали дальше. Я не могу утверждать, что они приближались к этому грозному огню, потому что вспомнили о погибших, но как бы там ни было, они хотели впитать частицу его тепла.

ПО ЗВОНКУ

Я сидел в редакции крупной газеты и разговаривал с заведующим отделом и его помощником. Заведующий был очень полный, с одышкой.

— Поезжайте и напишите нам очерк о воинах-десантниках,— посоветовал он.

— Действительно, надо бы как-нибудь закатиться,— неопределенно ответил я, но он уже потянулся к трубке: — Сейчас я позвоню заместителю командующего ВДВ...

— Значит, так,— продолжил он через две минуты.— С билетами нет вопроса, выезжаете завтра утренним поездом, а там вас встретят.

— Не успеем оформить командировочное удостоверение,— засомневался помощник, посмотрев на часы.— Бухгалтерия...

— А зачем? — отмахнулся шеф.— Поедет по звонку. Мы это потом учтем при оплате... Газета ждать не любит.

И назавтра я сошел на перрон.

Встречали — бравый подполковник с солдатом. Они не знали, в каком я буду вагоне, но стояли так, чтобы я сразу мог их увидеть, и едва я направился к ним, выделили меня из толпы. А я еще издали заметил синеющие у каждого на груди родные парашютные значки. И у меня есть такой же, только прыжков, конечно, поменьше.

А во второй половине дня я уже шагал по тенистому дубовому лесу, где размещались летние лагеря. Сам-то я когда-то в молодости распрощался с воздушно-десантными войсками. Я шел сейчас в сопровождении лейтенанта Володи (помните песенку неведомых лет: «Лейтенант молоденький, звать его Володенькой, через год, через два буду я его жена»?), шел по десантному лагерю, слышал голоса команд, дружный смех, дальние обрывки песен. Два солдата боролись, возились прямо на линейке, один пытался ногой сбить с

другого берет. Они, увлекшись, загородили дорогу, и нам пришлось их обойти. Володя засмущался их недисциплинированности.

— Это у них потребность в разрядке,— объяснил он мне,— служба уж больно тяжелая. Но когда нужно, они себя покажут. Все отдадут...

Он подвел меня к стоящему в стороне небольшому, почти дачному домику. На открытой терраске курил высокий старшина, которого я не узнал, но как только Володя назвал его, сразу вспомнил. Это был человек в свое время известный, Александр Иванович Мелихов, командир взвода в разведроте. На редких смотрах он носил наше гвардейское знамя.

Было ясно, что теперь он сверхсрочник,— звания прапорщик еще не существовало.

— Вот,— назвал меня Володя.— Командир приказал к вам определить.

Мелихов смотрел на меня почти неприязненно. У него было лицо киногероя из вестерна — мужественное, загорелое, и на нем ясные голубые глаза.

— А вы в войну где служили? — спросил он настороженно.

— В четвертой бригаде.

— А кто командиром был?

— Киреев.

— А до него?

— Красовский.

— А начальник политотдела?

— Лютов.

— А в каком батальоне?.. А кто командир батальона?.. А в какой роте?.. А кто ротный?..

Это был форменный допрос. Но он доставлял мне только удовольствие. И, как видно, Мелихову тоже,— чем дальше, тем больше.

— А в сентябре сорок третьего где были?

— В Донбассе.

— А летом сорок четвертого?

— В Белоруссии.

И дальше, дальше... В Венгрии, в Вене, в Чехословакии... Вон нас куда занесло.

Он уже проникся ко мне симпатией и пригласил заходить и располагаться.

Полк готовился к воздушному параду, и я собирал-

ся полететь с ребятами на предварительный, по сути пристрелочный прыжок. Но не было погоды.

— Погоду не дают,— звучало каждое утро.

Они ждали уже несколько дней, я только двое суток.

Днем я в сопровождении смущающегося лейтенанта Володи бродил по лагерю. Он был придан мне для того, чтобы отвечать на мои возможные вопросы, а еще более для избежания и пресечения недоразумений: что это за тип в штатском болтается по расположению? Нужно сказать, что выглядел я, наверное, достаточно странно: на мне был черный болоньевый плащ, тоже черный головной убор представлял из себя нечто среднее между кепкой и беретом, а на ногах — армейские сапоги. Дело в том, что между старыми дубами висела мельчайшая, едва уловимая морось, почва, вязкая, суглинистая, густо липла к подошве, мои городские штиблеты для нее не годились. Мелихов, спасибо ему, обул меня как следует.

Днем мы с Володей смотрели, как крутятся на лопингах и «рейнских колесах» ловкие отчаянные ребята, а вечером вдвоем с Мелиховым сидели на терраске маленького домика и предавались воспоминаниям.

А далеко за стволами и кронами старых дубов смутно как сквозь сон раздавались звуки трубы и отголоски новых, неизвестных мне строевых песен.

Помню, мы только что дружески поужинали, сидим, благодушествуя, а дневальный солдатик метет пол.

— Константин Яковлевич,— неожиданно громко обращается ко мне Мелихов,— вот рядовой Наседкин, может, поговорите с ним, позорит он нас.

— А что такое?

— Прыгать отказывается. Поднимемся — в корабле купол распускает. Отчислить его хотели, а потом решили перевоспитать. Из нарядов не вылезает.

Наседкин продолжает безучастно мести.

— Что же ты, Наседкин? — говорю я с максимальной суровостью.— И не стыдно тебе? Какие кругом ребята! А ты, что же, хуже них?

Наседкин, разумеется, не реагирует.

— И еще, Константин Яковлевич,— продолжает Мелихов, глядя на меня яркими голубыми глазами,—

на политзанятиях он слаб. Союзные республики со странами народной демократии путает.

— Ну, это-то как раз не страшно,— успокаиваю я.— Разберется.

Наседкин уходит. Мелихов сидит, задумавшись, и говорит с нескрываемым огорчением:

— Нарушения, Константин Яковлевич, все-таки бывают. Вот у нас есть рядовой Казарян. Ну, армян. И вот, да не в самоволке он был, а на занятиях, на выходе. Ночевал у одной, понимаете, женщины и подхватил у нее...— Мелихов слегка притормаживает свой рассказ: — Как бы вам сказать...

— Триппер, что ли?..

— Да нет... Ну, знаете, эти...

— Понял. С кем поведешься, от того и наберешься...

Мое остроумие он оставляет без внимания. Он слишком занят драматичностью сюжета.

— Заступив на пост, начали они его беспокоить. А он у шоферов знакомых бензинчиком разжился, в кармане у него, в бутылочке. Ну, он раздевается догола. На посту! Чтобы бензинчиком, значит, протереться. Ну, щиплет, наверно, немножко. Он решил посмотреть, а фонарика у него не было. Чиркнул он спичкой, а волос, Константин Яковлевич, богатый...

Тот бравый подполковник, что встречал меня на вокзале, делая доклад на конференции, где были и женщины, и приведя этот факт как случай вопиющего нарушения дисциплины, закончил словами: «Рядовой Казарян самовоспламенился». Это мне уже потом рассказали.

— Ну, и как он? — спрашиваю у Мелихова.

— Многим за него крепко попало,— отвечает тот хмуро.— А сам ничего, служит...

Непонятно, что это было: ночь или утро, когда в комнате, где я спал, зазвонил телефон. Я поднял трубку и сказал сугубо штатское:

— Да.

— Пятый? — спросил голос.

Я не знал, пятый ли я, и потому ответил:

— Допустим.

— Там поэт какой-то...

— Ну я.

— Приказано разбудить.

Я вышел из дому. Туман лежал пластами, один пласт на другом, как тюфяки на складе.

Полк еще спал. Поднялись только те, кому предстояло прыгать.

— Погоду дают,— сказал кто-то, хотя здесь, в дубовом лесу, поверить в это было невозможно.

Солдаты хмурые, невыспавшиеся, залезали в кузовы машин.

Начальник парашютно-десантной службы (ПДС) майор Федосеев позвал меня в кабину. Я уже был знаком с ним. Офицеры полка звали его Грозным, исключительно из-за того, что он был Иван Васильевич. Вот она, цена прозвищам. Высокий, веселый, общительный, он пробежал вдоль колонны и, удостоверившись, что все в порядке, дал команду к отправлению. Теперь он сидел в кабинке между мной и шофером.

Природа еще спала или дремала, позевывая, как солдаты в кузове. Машины выбрались из расположения. Шоссе было совершенно пустым. Было видно, как на открытых местах расползается и рвется непрочная ткань тумана.

На аэродроме с ревом прогревались двигатели. Совсем близко от бетонных полос посверкивала стеклами привычно оглушенная спящая деревушка. Она стояла здесь давным-давно, потом построили рядом аэродром, и она была ошеломлена его рыком, но вскоре привыкла, как привыкают ко всему, и сейчас только-только начала просыпаться.

Солдаты попрыгали из машин. Сонливости в них уже не наблюдалось. В комбинезонах и шлемах, они разминались, готовились надевать парашюты.

Федосеев построил их и, стараясь перекричать шум двигателей, инструктировал:

— Погодку нам дают, но с ветерком.

Все повернули головы:

— Сколько?

— Восемь метров. Так что внимательней, передних может занести на бетоночку. Повторяю, с первого корабля прыгает тридцать человек, с остальных по два, с интервалом в пятнадцать-шестнадцать секунд, чтобы обозначить серию. Первый прыгнул, второй дрожит (все дружно засмеялись). Пятнадцать секунд прошло — второй пошел!

И звонким своим молодым голосом приказал надеть парашюты.

Это его обращение к ним я занес в блокнот через несколько минут после приземления самолета. А в тот же день, вернувшись в лагерь, записал, по горячему следу:

«Надели — некоторые с помощью товарищей, другие сами, полулежа, с усилием пролезая между главным и запасным. Федосеев, высокий, подтянутый, пошел вдоль строя, а ребята уже открыли клапаны запасных, и он еще наклонял их за шею вперед и проверял замок главного на спине, а потом так же прошел сзади. Трудна служба десантника, но самая тяжелая, нервная, ответственная работа у начальников и инструкторов ПДС — и при укладке, и перед прыжком каждый замок, каждую петельку проверить, проверить, проверить, ничего не пропустить.

Вот все готово. Они теперь только ждут команды. Но как по-разному ведут себя эти парни. Один, сидя на корточках и упираясь спиной в свой парашют, читает книгу, другой, не смущаясь тяжестью парашютов, бьет ногой по чьему-то шлему, а его товарищ, изображая вратаря, ловит шлем, бросает обратно, и тот снова бьет, пока не появляется возмущенный хозяин шлема. Несколько человек негромко поют, остальные сидят, углубленные в себя, курят, задумавшись. Они прыгают, конечно, не в первый раз и даже не в десятый, но все равно это требует колоссального напряжения, ибо, что бы мы ни говорили, сама человеческая натура подсознательно противится этому, не слишком естественному для нашей психологии поступку — прыжку в разверзшуюся бездну. Но они превозмогают себя...»

Они сидели на земле в ожидании команды грузиться, а я торчал рядом в своей дурацкой черной болонье. И тут появился подполковник в летной форме, разумеется, сразу же обративший внимание на меня. Я это заметил. Он спросил обо мне у стоявшего рядом, но подбежал Федосеев и начал объяснять:

— Да это же... бу-бу-бу... наш... бу-бу-бу...

Подполковник был недоволен, раздражен моим видом, но кивнул, разрешая... Это был начальник штаба авиаполка.

А спроси он у меня документы? Писательское удо-

стоверение при мне было, но командировочного-то — увы! Ведь я был по звонку. Чем это докажешь?

Федосеев скомандовал, и десантники пошли в корабль через задний люк. И люк, и внутреннее помещение таковы, что ребята вполне могли бы и въехать на машине. Я вошел вслед за ними.

Солдаты расселись друг против друга, вдоль бортов. И тут появился крупный властный по повадкам человек в летном комбинезоне. Он прошествовал в сторону пилотской кабины, и сразу же оттуда выскочил кто-то из экипажа и подбежал ко мне:

— Вас командир вызывает.

Он уже сидел в левом кресле и только повернул голову:

— Кто вы такой?

Это был хозяин, командир полка, лично ведущий на воздушном параде головную машину.

— Корреспондент,— отрекомендовался я.

— У меня приказ: не иметь на борту посторонних, и я не собираюсь получать неприятности из-за каждого писаки,— отчеканил он.

Если он хотел меня унизить, это ему не удалось. Я ничуть не обиделся, я же не чувствовал себя писакой.

— Я не посторонний,— отвечал я спокойно.— Я по договоренности с...— и я назвал заместителя командующего ВДВ, которому звонили из газеты.

— Знаю такого,— сказал командир.

— И начальник штаба ваш обо мне в курсе,— продолжал я.

— Хорошо,— согласился он,— раз уж вы здесь. Но отсюда никуда.

— То есть как никуда! — вскричал я.— Мне же нужно посмотреть, как они прыгают...

— А почему вы без парашюта? Через три минуты мы выруливаем.— Это уже к своим.

Из-за моего плеча высунулся старшина:

— Я ж нэ знав, що воны полетять.

Он мигом выскочил из машины и сразу вернулся с маленьким летчицким парашютом, который тут же надели на меня.

И корабли стали выруливать на взлет.

Ребята сидят друг против друга — кто молчит, задумавшись, кто поет,— не слышно только, что́ именно,— кто закрыл глаза и, кажется, даже дремлет. Од-

ного мутит, и ему приносят ведро,— и это предусмотрено.

А Федосеев идет вдоль ряда, нагибается к ним, кричит что-то в ухо. Я тоже стараюсь услышать, и мне это удается. Нет, он не просто отвлекает их, он напоминает, что ноги нужно поплотнее сжимать, чтобы стабилизирующий не попал, а у земли повнимательнее сгруппироваться. Но и настроение поднимает тоже:

— Веселей, орелики! С криком «ура»!..

И вот раскрывается тот огромный люк, словно уходит стена, и поднимаются створки пола. Мощнейший свет заполняет машину. Только сейчас я ощущаю, что мы находимся в н е б е.

Ребята становятся в затылок друг другу. Комбинезон направляющего треплет жестким наружным воздухом. Они все в комбинезонах и в шлемах, только Федосеев в фуражке. Он снимает ее и примащивает где-то на груди,— под перемычкой, что ли? Меня всегда удивляло это умение, еще с времен моих собственных прыжков. Этот особый шик. И как она удерживается, не выпадает при динамическом ударе?

Я смотрю на этих ребят и на миг вспоминаю тихого ничтожного Наседкина.

А между тем над люком зажигается зеленый свет. Федосеев хлопает переднего по плечу, и словно общая искра проходит сквозь них всех: «ура-а-а!..— и их нет уже в машине. А я стою у самого среза и вижу, как летят они вниз головой, раскрученные воздушной струею,— Федосеев последним,— как выдергиваются вытяжные парашютики, потом стабилизирующие и далеко уже внизу вытягиваются из мешка разноцветные, яркие купола.

Люк медленно закрывается.

Ко мне кто-то подходит:

— Пойдемте, я вас к стрелку-радисту провожу. Помните, он приглашал вас?

Я не помню.

Немножко боязно идти по только что сдвинувшимся створкам пола,— а вдруг они опять разойдутся. После того как закрылся люк, в машине почти ничего не видать, я карабкаюсь в темноте куда-то вверх — как на чердак. И вдруг опять — режущий глаза свет.

Я оказываюсь в кормовой кабине стрелка-радиста, прозрачной будочке, висящей в верхней задней части

самолета. Кабина очень тесная, хозяин садится боком, мы едва умещаемся.

Но обзор! Видна освещенная ранним солнцем равнина, лесок, шоссе, аэропорт. И последние купола над самой землею. И город — не так уж и вдалеке.

Простор земли и, главное, неба — в любую сторону.

Машины уже стройно разворачиваются. Их, оказывается, несколько десятков. За ними густеют вдали их инверсионные следы. А ближайшие корабли из нашей тройки совсем рядом,— хорошо видны лица летчиков.

Самолеты здесь все, что будут участвовать в параде, а прыгнувших лишь малая часть,— изо всех машин, кроме нашей, по два человека,— обозначить начало и конец серии для наземной группы наблюдения. А чтобы вернуться, им хватит одного корабля.

Потом мы приземлились около окончательно проснувшейся деревушки. Я, прощаясь, выразил восхищение слаженностью действий экипажа и десантников. Командир согласился:

— Чисто сработали.

Я пошел к грузовикам, сел в кабинку, кое-что записал.

Как мне показалось, прыгнувшие прилетели довольно быстро.

— И вы с нами прыгали? — спросил меня кто-то из солдат.

— А как же? Обязательно,— ответил ему Федосеев.

Он улыбался, высокий, стройный, фуражка, чуть набочок, ловко сидела на его голове.

Вечером мы с Мелиховым снова беседовали на терраске маленького домика в дубовом лесу. Он вспоминал некоторые свои прыжки,— их у него за спиной несколько сотен.

Утром я уехал в Москву.

А еще через неделю или меньше я сидел в редакции и вычитывал стоящий в номере очерк о десантниках. Газета ждать не любит.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

Я получил это письмо два года назад. Сразу же подумал, что, может быть, в будущем, если понадобится, возьму из него что-нибудь — для работы.

А теперь вот перечитал и решил напечатать лишь с самыми небольшими комментариями.

Тогда я был болен. Писал незнакомый человек, бывший десантник, с целью приободрить. Вообще, мне кажется, что ни у кого нет такой сплоченности, интереса друг к другу, как у старых десантников. Возможно, это объясняется изначальной рисковостью нашего дела. Но вполне допускаю, что я и ошибаюсь, и такое же испытывают остальные, вышедшие из всех родов и видов войск.

Итак — письмо.

«Заранее извините, что отвлекаю Ваше внимание. А с другой стороны, думаю, почему бы и не написать. Ведь Вы десантник...»

Далее — коротко о том, где мы воевали, и сразу же,— самая суть, сюжет, история.

«В 1966 г., работая в школе учителем физкультуры и военного дела, подготовил 50 парашютистов из учащихся старших классов и с ними вместе совершил «непедагогический поступок».

И это было не в мальчишеские годы, а в полных 40 лет.

На призывной комиссии (медицинской) при Дзержинском райвоенкомате, куда я привел своих парашютистов на осмотр для допуска к прыжкам, допустили 15 девчонок и 15 мальчишек».

(Замечу в скобках, что первыми он подсознательно называет девчонок,— видимо, потому, что подготовить их было сложнее, и он более гордится ими).

Дальше: «А меня, хотя я прошел у терапевта, у хирурга, и лора, задержали на весах. Солидная женщина в халате врача молча подписала мое направление и отдала мне. Я пошел в другую очередь, к другому врачу, который мне сказал, что я не годен. Я был взбешен,

возмущен до предела. Видели бы Вы меня, 40-летнего, в одних трусиках, перед женщиной-врачом, да еще возмущенного.

Я спрашиваю врача: «Я здоров, скажите, почему я не годен?»

Я подготовил ребят к прыжкам и соответственно хотел с ними вместе прыгать. Мне было очень неловко перед ребятами, что они пойдут прыгать без меня. Поэтому я всеми способами старался убедить врача, но увы!

Оказалось, что призывники, то есть парни, призывающиеся в воздушно-десантные войска, должны весить не более 80 кг. А у меня в 40 лет оказался роковой для призывника вес — 86 кг.

И в медицинской справке о допусках к прыжкам появилось слово «не годен».

Я объяснял главному врачу, что я не призывник, что я уже отслужил в десантных войсках, где даже прыгал с ротным минометом, укладывая его под запасной парашют.

Доказывал, что я воевал, что приземлялся на запасном, когда основной отказывал, то есть на 36 кв. м, и то меня парашют выдерживал.

Говорил, что как я буду ребятам в глаза смотреть, когда они прыгнут. Ведь мне с ними работать, учить их. Доказывал, что с моей стороны непедагогично бросать их в самую трудную минуту.

Я считал, что должен их своим примером вдохновлять. Я ведь перед этим много рассказывал им о прыжках, о десантниках.

Так что в их глазах я был почти героем. И вдруг — нá тебе. Ребята прыгают, а Петрович, как они меня между собой звали,— в кусты. Я жалко выглядел.

Главврач была неумолима. Она сказала, что у нее инструкция, утвержденная райвоенкомом.

Отпустив ребят после комиссии домой, я направился в военкомат. Пришел к райвоенкому, полковнику т. Куваеву. Обратился со своей просьбой. Он знал меня, как военрука школы. Поэтому задал мне такой вопрос:

— Тебе сколько лет?

Я отвечаю:

— Сорок.

— И ты не напрыгался?

Я ему, не в том дело, напрыгался или нет. Я же не один, а с ребятами. Хотя и самому хотелось молодость вспомнить. Все-таки 16 лет прошло, когда последний совершил прыжок в армии.

Но полковник сказал, что помочь моему горю не может. Что он подписал инструкцию вчера, а сегодня он ее отменить не может.

По-моему, исключение сделать было можно». (Весь его характер в этой последней фразе.)

«Ушел я от полковника возмущенным. Хотел из школы уйти. Да всякие мысли в голову лезли.

А потом, по дороге домой, мне пришла мысль, верно, не педагогическая, но она у меня не выходила из головы.

Все справки учащихся, допущенных к прыжкам, были у меня. Я решил, что если завтра ранним утром, кто-нибудь из ребят, допущенных к прыжкам, вдруг опоздает на машину, идущую на аэродром, то я возьму эту справку и, если удастся провести работников аэроклуба, получу парашют, уложу его и прыгну.

Ночь прошла неспокойно. Утро тоже. К машине пришли 27 ребят и я. Время быстро уходило. Больше никто не пришел. Автобус поехал. Мой план начал выполняться.

Ребята мне не задавали вопросов, буду ли я прыгать. Из деликатности. Я понял, что они меня оправдывали, видно было по их глазам. Я ведь не отказался прыгать, явился на комиссию, явился раным-рано на автобус и еду с ними на аэродром. Сопровождаю их и буду при первой настоящей укладке парашюта, уже не тренировочной. Буду сопровождать их к самолету. Буду присутствовать при совершении ими первого прыжка с парашютом, но только в роли зрителя и смотреть на них буду с земли.

Потом я сказал ребятам, что все-таки решил прыгнуть вместе с ними. Как?! Посыпались вопросы.

Я поделился с ними своим планом, сказал, что возьму одну из справок ребят, допущенных к прыжкам, но не явившихся на автобус. И под одной из фамилий стану в строй для получения парашюта. Если получу парашют, буду укладывать, значит, буду и прыгать.

План мой одобрили».

(Любопытно, он не объясняет, почему не пришли остальные. Проспали? Струсили? Здесь, возможно, он

чувствует и свою «недоработку». Или просто не хочет отвлекаться.

А как трогательны его переживания и уверенность, что питомцы его поймут!)

«Я попросил ребят не смеяться и не обращаться ко мне по имени и отчеству, так как они не совпадали с фамилией, именем в справке.

Помню, Тамара Калюжная, с которой мне пришлось потом укладывать в паре парашюты, сказала:

— Николай Петрович! Значит, вас теперь будем называть Лешкой.

И свалилась от смеху с сиденья на пол. Смеялись все. И я тоже.

Я еще раз попросил их не смеяться над этим на аэродроме.

Приехали на аэродром благополучно. Было построение. Вызывали всех пофамильно. Назвали и мою новую фамилию. Я сделал шаг вперед и сказал: «Я!»

Кое-кто не выдержал. Все-таки было порядочное шевеление в строю. Но быстро стихло. Так как уже называли другие фамилии.

Потом получили парашюты.

Потом укладывали парашюты.

Потом утомительные часы ожидания. Сначала прыгали десантники, потом — пожарники, потом спортсмены и уже потом новички — перворазники.

Потом я попал в первый десяток. Заходил в самолет последним, прыгал первым.

День был отличный, весенний, мартовский. Кажется, это было 29 марта. Ровно в 4 часа дня мы были в воздухе, на АН-2. Перед прыжком я сказал ребятам:

— Сейчас, когда мы будем прыгать, в Москве начал свою работу съезд партии...

По глазам ребят понял, что они подумали: «Только учитель даже перед прыжком за несколько секунд обязательно что-нибудь напомнит».

Все молчали. Я-то их хорошо понимал. Им было не до съезда. Каждый думал о своем.

Прыжки совершили все благополучно. Разговоров было много».

(Он не описал самый прыжок, то есть самое интересное для читателя. По опыту я уже знал, что так и будет. Во-первых, он писал мне и был уверен, что я и без него все это знаю. Но, во-вторых, так вообще пишут

все «бывалые люди». Они, как правило, не считают нужным сообщать профессиональные подробности. Им кажется это лишним и скучным. Они пишут: «Я покинул борт машины и раскрыл парашют», или: «Я дернул за кольцо, и купол наполнился воздухом». Когда я рассказывал о своем первом прыжке с аэростата, «колбасы», я заметил, что при раскрытии купола скорость падения так резко замедляется, что какой-то момент кажется, будто летишь вверх. Несколько человек, прыгавших побольше, чем я, сказали мне с удивлением:

— А ведь верно...

Просто они были заняты другим.)

«Возвратившись в город, я написал на ватмане объявление: «29 марта в честь открытия съезда КПСС группа учащихся нашей школы в составе (перечислил все фамилии) совершила прыжки с самолета АН-2. Самочувствие парашютистов нормальное». Объявление повесил у входа, в вестибюле. Никто не прошел мимо, все читали до конца, даже вслух.

А парашютисты, стоя рядом, чувствовали себя почти космонавтами.

Такой непедагогический поступок я мог бы совершить и сейчас, в 52 года, хотя врачи уже давно не рекомендуют мне заниматься прыжками с парашютом.

Потому что к радикулиту, стаж которого исчисляется с 1955 года, добавилось новое название — остеохондроз. Потом, два года тому назад, подвела моя голова (когда-то, в 45-м, немного был контужен), закружилась. Пролежал два месяца в больнице. Новое название — склероз головного мозга. Еле ходил на работу первые полгода. Стыдно было, что не могу работать по-прежнему, стыдно было за беспомощное состояние. Сейчас, спустя два года после больницы, чувствую себя получше. Стал больше двигаться, ходить побыстрее. Работаю. Домой прихожу, валюсь с ног. Потом встаю, начинаю все снова.

Ребята, встречаясь со мной, вспоминают о прыжке. Но Лешкой меня не называют. А по-прежнему — Петровичем.

Какие наши годы, все еще впереди!..»

А потом шли стихи.

Недавно одна моя знакомая рассказывала мне, что читала в еженедельнике популярную статью известного медика.

— Увидела в конце стихи и сняла очки! — сказала она с негодованием. Иными словами, самоустранилась. Будто телевизор выключила.

Я, разумеется, очки не снял.

Шли пожелания здоровья, а потом — «Стихотворение, написанное под впечатлением встречи ветеранов в г. Лодейное Поле». Стихотворение длинное, в целом не слишком удачное, но несущее внутри себя искренние, энергичные строки:

Я помню вас, друзья-товарищи мои!
Беседы наши, песни на привалах.
У Балатона жаркие бои.
И на альпийских перевалах.

Кончалось оно так:

Уж тридцать с лишним лет окончились бои,
И над страною знамя мира реет.
Отчизна не забудет вас, товарищи мои,
И нашу славу ветер не развеет.

Ниже было добавлено:

«Писал для себя. Нравится о чем написано и о ком. Как написано, тоже нравится, но не все. Знаю, что для печати не годится. Переписываю от руки и посылаю однополчанам».

Это письмо получил я из города Новосибирска, от Николая Петровича Налимова.

ДОМ НАД КЛАДБИЩЕНСКОЙ СТЕНОЮ

Кладбище было старинное, ухоженное,— закрытое кладбище. Хоронить разрешалось только в родственные могилы, к своим. Аллеи и дорожки чистые, разметенные, а надо всем этим печальным пространством вздымались мощные стволы лип, ясеней, кленов, сходящихся вверху свежей листвой. Кладбищенская зелень.

Все здесь было солидное, основательное, прочное, словно подчеркивающее непрочность самой человеческой жизни,— громоздкие гранитные и мраморные памятники, семейные склепы, каменные ограды и кресты. И контора кладбища была давняя, помпезная, с многими латинскими цифрами на фронтоне, обозначавшими год постройки, который редко кто умел правильно определить.

Но, странное дело, в одном ряду со старыми непостижимым образом оказывались могилки свежие, теперешние, почти одинаковые, увенчанные скромными стандартными плитами. Они сурово напоминали о том, что людская жизнь и сейчас обрывается постоянно.

Но о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, свидетельствовал дом, построенный в конце пятидесятых, в противоположной стороне от входа, прямо за кладбищенской стеною. Он относился к категории строений, которые принято называть «хрущобами», но сейчас был окрашен в терракотовый цвет, столь гармонично сочетающийся с зеленым.

Дом стоял рядом со стеною, в двадцати метрах от крайних могил.

Сперва, когда еще приезжали со смотровыми ордерами, это обстоятельство сильно смущало. Но не отказываться же! Отказался только один — по личным мотивам.

С фасада перед домом тянулся переулочек,— поблизости булочная, дальше продмаг, парикмахерская

и изящная будка на углу с постоянно не работающим телефоном-автоматом. Но с другой стороны — балконы и окна выходили на кладбище — как в парк. Как если бы в Нескучный сад.

Сначала люди были подавлены этим соседством. Неудобно было ссориться, ругаться, кричать. А потом привыкли, почти не замечали, в комнатах гремели телевизоры, на балконах — магнитофоны и транзисторы. И все-таки иногда слух словно включался на другое — доносилось женское рыдание, сдержанные прощальные слова. А такты шопеновского марша, слышимые даже сквозь двойные стекла зимой, незаметно стали самой привычной мелодией, постоянно вертелись в голове.

Но ведь и кладбище — не только прямое страдание. И потрясения от потерь сглаживаются за давностью лет. В хорошую погоду, в выходные, особенно весной, кладбище заполнялось оживленными людьми с лопатами, лейками, цветочной рассадой. Они поправляли могилки, а потом многие тут же поминали усопших,— этим законным ритуалом венчался их неторопливый, целительный для души труд.

Постепенно в доме стали появляться и быстро подрастать дети. Они воспринимали кладбище, как изначально данную, единственно возможную картину. Такое же естественное чувство испытывают родившиеся возле моря, на опушке леса или в степи. В любом случае это неотъемлемая территория их детства.

Мальчишки там играли. Между вертикальными пластинами плит, за склепами и памятниками было удобно прятаться. Интересно было читать надписи на надгробьях.

Когда они еще подросли, им впору было ходить туда с девочками целоваться. Они не боялись кладбища. К тому же здесь всегда можно было,— не зимой, конечно,— вручить своей избраннице свежий пион или гвоздику.

Цветы вообще становились тут кое для кого промыслом. Потом догадались,— пошла мода, прежде чем класть на могилу, отрезать цветок от стебля.

Теперь кладбище производило впечатление только на гостей, выходивших на балкон просвежиться.

Как-то у Боровенковых гуляли свадьбу. Молодые сидели на виду, оба слегка ошеломленные — невеста,

измененная белым подвенечным платьем и фатой, бледная милая девочка, уже на третьем месяце, и он в черном костюме и с локонами до плеч.

В двух — в большой и в меньшей — комнатах едва поместились. Танцевать, конечно, было невозможно,— потом они еще спустятся вниз со своим м а г о м. А пока они пели.

Старшие начинали:

Куда ведешь, тропинка милая...—

и молодежь знала, подхватывала.

А тетя жениха, прибывшая на свадьбу из Киева, запевала свою, лихо дирижировала. Пышная блондинка, лет сорока с небольшим, она представлялась всем, независимо от возраста: «Оля»,— и энергично протягивала руку. Фамилия ее была — Кубрик.

Она привезла песню, которую здесь еще не слышали:

Ты ж меня пидманула...

А за распахнутыми окнами и дверью балкона печально рокотал оркестр. Он приближался. Красный гроб везли впереди на специальной каталке. Потом гроб подняли на плечи. Оркестр смолк, и стали слышны — разноголосый птичий щебет в листве и песня в доме над кладбищенской стеною. Хоронящие временами поворачивали головы, взглядывали в недоуменье. Застучал молоток, забивающий гвозди. Могильщики стали опускать на веревках гроб, и стоящие близко, как это всегда бывает, страшились, чтобы он не перевернулся. Потом рабочие в четыре лопаты начали кидать вниз землю, и провожающие тоже бросили по горсточке.

А в доме рядом белокурая киевлянка Оля Кубрик взмахивала рукой, и гости радостно подхватывали:

Ты ж меня пидманула,
Ты ж меня пидвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела...

Опять заиграл оркестр.

И эти две волны, сталкиваясь, завихрялись, вместе уносились в высоту.

ЗНАКОМЫЙ СТАРИК

Старик? Нет, это не обо мне. Хотя и себя мог бы так назвать на законном основании. А я не старик, что ли? Но все-таки — не обо мне...

Время имеет явную тенденцию к выравниванию, сближению.

Между нашими погибшими на войне товарищами и нами теперешними — бездна. Они покинули эту землю восемнадцати-, двадцатилетними. Они, в большинстве своем, не знали, что такое любовь, что такое женщина. Они не представляли себе, что значит иметь детей, тем более — внуков. «Что в жизни успели? Отдать за Отчизну ее».

И вот их сверстники, люди когда-то одинаковой с ними судьбы, прожившие потом целую жизнь и уходящие лишь теперь, как бы становятся с теми, юными, в один ряд, догоняют их, подстраиваются.

Это откатывается до предела волна одного и того же поколения.

А в поколениях обычных, благополучных?

Дистанция между только что родившимся ребенком и десятилетним колоссальна. Между десяти- и двадцатилетним — меньше, хотя тоже велика. Дальше она стремительно сокращается. Семидесятилетний зачастую мало чем отличается от восьмидесятилетнего. Они тоже уже в одном ряду.

В последние годы люди, которые старше меня на десять — двенадцать лет, не кажутся мне старыми. Что это? Привыкание к возрасту? Скорее все-таки — момент, когда возрастные грани почти совсем стираются. Младшие рывком догоняют старших.

Итак, знакомый старик. Тогда ему исполнилось семьдесят. Я, встретив, поздравил его.

— Да! — сказал он значительно.— Вышел на финишную прямую...

— Ну,— утешил я,— можно еще и по виражу пройти, по повороту...

Он не ответил, не слишком понял. Видимо, выражение это — на финишную прямую — у кого-то позаимствовал, но беговую дорожку или полотно трека себе не представлял.

Но вот уже лет пять-шесть прошло, а руку жмет твердо, и, главное, глаза — живые, цепкие.

И не поймешь — сколько ему. Живет, говорят, один, а аккуратный, присмотренный,— может быть, кто-нибудь и есть у него.

Очень любит, когда ему говорят, что он хорошо выглядит. В этом что-то наивное, женское, нужное ему бесконечно. Без таких комплиментов он уже не может, ловит их, впитывает.

Когда умирают люди моложе его, он хоронит их со странным чувством удивления и собственной прочности.

Однажды он был на кладбище в весенний поминальный день.

Идя по аллее, искал нужную могилу, мельком взглядывая на таблички с трехзначными уже номерами участков, и думал о том, что к слову «участок» больше подходит прилагательное «садовый», чем «кладбищенский».

И вдруг он сделал для себя поразительное открытие. Он неожиданно понял, что так же, как первый класс школы или призыв в армию властно собирает воедино самых различных одногодков, так и смерть объединяет ушедших в одно время, не только в один год и месяц, но в один день,— и на кладбище они лежат рядом, и с надгробий это ужасающе бросается в глаза.

Он уже нашел нужную дорожку. Впереди тянулся серый, из прессованных щитов, забор, а за ним, вдали, перелесок, дымка, шоссе.

Здесь — край кладбища, места для новых могил нет, и можно подумать, что смерти больше не будет.

СЕРАФИМ

Это он для меня Серафим. Даже, если угодно, Симка. А для вас-то он Серафим Васильевич. Он был начальником колонны автокранов. Работа на нервах, на крике. Автохозяйство, правда, помещалось в его деревне Машково, здесь, под Москвой. В трех минутах от дома. Машково — в честь какой-то неведомой Машки. А поблизости есть еще Марусино.

Существует такое понятие: предпенсионный возраст. Люди, вошедшие в его слои, резко разделяются на две категории. Первые думают: скоро черта, как бы не погнали, и вторые: только бы дотянуть и — привет!

Серафим относится ко вторым. На другой день после дня рождения он уже уволился. Я был на его юбилее, на официальных проводах. Говорили о нем сердечно, подарили от предприятия маленький переносной телевизор. И все руководители заканчивали выступления одинаково:

— Не уходи! Поработай еще хоть немного! (Или соответственно на «вы».)

А он свое:

— Нет, нет, сил уже нет.

А здоровый мужик,— когда обнимает при встрече, поражаешься железной хватке его мускулов, облапит, сдавит, и ждешь терпеливо, пока не отпустит. Вырываться бесполезно. Только скажешь:

— Симка, осторожно, очки в нагрудном кармане...

Живет в деревенском родительском доме, хозяйство на ходу. Живут вдвоем — с милой и рассудительной женой Анной. Она была медсестрой, поблизости, в больнице, сейчас, понятно, тоже на пенсии. Единственная дочь Инна, очень похожая на отца,— отдельно, в Москве, с мужем и двумя мальчишками.

Серафим рассказывает:

— У нас две коровы (одна ремонтная), две свиньи, кот, собака...

Анна продолжает:

— Два телевизора, два холодильника. И нас двое...

Он:

— Мясо сдаем государству, по четыре десять за кэгэ. Молоко по сорок одной копейке литр, комиссионное. Приемный пункт рядом, у соседки. Ей выгодно, она получает по сорок шесть. На рынок не вожу, там обдерут (он употребляет более сильное слово). Собрали в этом году тонну картошки, триста кэгэ свеклы — для коровы, моркови — двести пятьдесят...

Хозяин!

— Сено кошу, сухой, хоть бы что, а зять молодой, а весь мокрый. Он хочет побыстрее, побольше взять и выдыхается. По канавам косить тоже не может. А я любую кочку обкошу. Как хороший парикмахер, знаешь, хоть одни бородавки на лице, побреет чисто, а другой сразу обкровенит...

Главная Симкина черта — нетерпеливость.

Когда-то приехали к нему, выскочил с лаем пес из будки. Серафим тут же загнал его обратно и заткнул конуру первым, что подвернулось — стоявшим поблизости ведром,— оно точно подошло.

— Давай, проходи.

Однажды поехали в подшефную школу, где помещается музей нашей воздушно-десантной бригады,— Аркадий Зайцев с сыном Толей (десантником следующего поколения), Николай Чибисов, с которым мы были в одной роте, а он почему-то называет меня на «вы».

Симка должен был подсесть по дороге, в Люберцах.

Я ему объяснил, на какой примерно электричке мы поедем. Встречаемся на платформе «Фабричная», у головного вагона. Если нас или его нет, договорились подождать следующего поезда.

Сели в Москве уже перед отправкой, в последний вагон. Народу много, идти по составу невозможно. Вылезли на «Фабричной», прошли вперед,— никого. Стали ждать. Электрички здесь останавливаются не все. Повалил снег. Однако ребята ждут терпеливо. Второй поезд — Симки нет.

Пошли к школе, до нее с километр. И вот глазам своим не верим: Серафим в нетерпении расхаживает по школьному двору.

— Ты же сказал: ехать в первом вагоне! — оправдывался он.

— Я вот сейчас выступлю и скажу: «Дети, не будьте такими, как Серафим Васильевич...»

Мы поломали школьникам весь их график. Но встречавшая нас учительница Эльза Евгеньевна и ребята все-таки были рады, что мы наконец появились.

Там на «уроке мужества» Сима неожиданно прочел мои стихи о войне. Но что значит неожиданно,— это же он не первый раз. Он читает мои стихи вслух только при стечении публики,— на встрече однополчан, на своем юбилее или вот в школе. Иногда он в них что-нибудь изменяет, как я заметил, вполне сознательно.

У меня есть «Баллада о натурщице», и в ней строчки:

А кожа цвета лилий,
Изысканно бела.
Да и по части линий
Точеная была.

Серафим читает: «Да и по части женских линий». Я поинтересовался, зачем он это делает. Он ответил:

— Чтобы было понятней...

Он знает мои стихи, но не потому, что любит поэзию, а потому, что любит меня.

Однажды, давно уже, сидели мы с ним в нашем писательском клубе. Проходил Окуджава, увидел меня, подошел поздороваться.

— Познакомься,— сказал я.— Это мой друг, однополчанин, Серафим Вихлипин. А это — Булат Окуджава.

— Прямо так вместе и были? — спросил Булат.— Приятно, приятно...— И удалился.

— Это кто? — осведомился Симка.

— Я же сказал — Окуджава.

— А он кто?

— Неужто не знаешь? Булат Окуджава! Поэт, певец. Сам поет свои песни под гитару. Неужели не слыхал?..

И тогда он произнес свою знаменитую (для меня) фразу:

— У нас всё краны́...

Однажды Серафим предложил мне:

— Давай выпьем на брудершафт.

Часто он обращается ко мне: «Почтеннейший...» или: «Любезнейший...»

Когда звонит, всегда начинает с вопроса:

— Как жизнь молодая?..

Вот совсем недавний наш телефонный разговор: Серафим:

— У тебя ноги на улице мерзнут?

я:

— Мерзнут.

— Может, у тебя обувь холодная?

— Обувь теплая.

он:

— Может, носки холодные?

я:

— Теплые.

он:

— А руки мерзнут?

— Нет.

он:

— А у меня и руки мерзнут.

я:

— И уши не мерзнут. Я наушники у шапки ни при каком морозе не опускаю.

он:

— Да? А может, они у тебя меха касаются...

я:

— Не касаются.

он (после паузы):

— Нет, у меня все конечности мерзнут...

Боже, сколько мы с ним повидали!

Я закончу свой рассказ стихами, которые он тоже знает наизусть. Называются они — «На встрече фронтовиков».

День прошел, и вечер длинен,
Но, как прежде, мы сидим,
Дорогой мой Серафим,
Боевой мой друг Вихлинин.

Годы ветром отнесло,
Словно лодку от причала.
Можно б все начать сначала,
Да обрющено весло.

Меж домами гаснет зорька.
Погоди ты, Серафим.

Получилось: помним столько,
Что не верится самим.

Помним, помним, помним, помним, —
Видно, в этом наша суть, —
По лесам, болотам, поймам
Простирающийся путь.

Сима, Сима, друг мой Сима,
Посоветуй, как нам быть.
Что-то стоит позабыть.
Помнить все невыносимо.

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Делегация собиралась лететь в Болгарию. А мне ужасно захотелось не полететь, а поехать. Ну, что все летаем,— раз и там! Нет ощущения протяженности пути, самого расстояния. А ездим, скажем, в Ленинград. Но ведь здесь как: «Стрела» отходит за пять минут до полуночи, пока устроился, улегся, пока, если удастся, уснул,— пора вставать. И заснуть, расслабиться, мешает именно это ощущение кратковременности путешествия. Поезд прекрасный, но его комфорт невозможно вкусить и оценить в полной мере.

Почти то же самое при поездке в Ригу.

А здесь, до Софии, все-таки двое суток. Но ведь все спешат. Я, однако, забросил удочку, предложил Сидорову:

— Женя, давайте поедем поездом, отоспимся, посмотрим в окно, поговорим вволю...

Он, человек достаточно деловой, неожиданно согласился.

И вот декабрьским снежным вечером я заезжаю за ним, не спеша, заблаговременно, потом мы отправляемся на Киевский вокзал, и длинный состав, чувствуется,— теплый внутри и уютный, уже стоит у перрона. Несколько вагонов пониже, словно более утопленных по отношению к платформе,— и мы в таком поедем.

Слегка мешая друг другу, устраиваемся в тесном купе, укладываем вещи. Едва не касаясь шапкой потолка, появляется Ян Френкель,— пришел проводить,— ведь что это за вагонная дорога без проводов, и вот все уже позади, поезд, набирая ход, идет в ночь, в мороз.

Уже поздно, пора ложиться, наверное, и вдруг доносится, почти по-домашнему, женский голос из другого конца коридора:

— Чайку не желаете?..

Эта фраза повторяется с перерывами несколько раз, постепенно приближаясь, и вот каждый из нас уже

держит в пальцах ручку фирменного подстаканника, и мы прихлебываем чай, совсем не дурной по таким дорожным условиям.

Поезд идет ходко, но опущена донизу клеенчатая шторка,— и что там, за окном?

Мы укладываемся не торопясь, со вкусом,— впереди еще долгий путь. Сидоров, как младший, взбирается наверх.

Наши товарищи по этой поездке сейчас в Москве, суетятся, толкутся в гостинице. А мы уже едем.

Еще целые сутки до Кишинева, где войдет к нам в вагон улыбающийся Коля Савостин с молдавскими гостинцами. Еще целые сутки... А поезд идет сильно и плавно.

Просыпаемся с приближением к Киеву. Яркое морозное утро. Тьма любителей подледного лова на Днепре. И над холмами в морозно-солнечной дымке контуры города.

Молодой болгарин спрашивает в коридоре:

— Какая это остановка?

Ему объясняют.

— О! — восклицает он.—Великий футбольный город!..

Для него это только город киевского «Динамо».

Кажется, совсем еще недавно скорый шел сюда из Москвы сутки. Но, простите, была и своя прелесть в медленной езде, в длительных стоянках. Сейчас сколько стоит поезд, даже на больших станциях? Десять минут? А то и пять, и две минуты. А раньше паровоз пополнял запас воды у водокачки, догружал в тендер уголь. Стоянки — по расписанию — пятьдесят минут, час, час десять. Прямо на платформе к приходу поездов накрывались столы, борщ еще дымился,— можно было спокойно, с толком, пообедать. Пассажиры брились в вокзальных парикмахерских, стриглись. Гуляли вдоль состава в полосатых пижамах, а женщины в длинных халатах, в шлепанцах на босу ногу. Набирали в чайники кипятку. Это действительно были с т а н ц и и, почти в прежнем, старинном, классическом понимании.

Но все равно кто-нибудь обязательно не успевал, бежал, садился на ходу, опаздывал.

Вагонов-ресторанов пугались,— в ту пору народ вообще побаивался ресторанов: слишком чопорно, дорого. Предпочитали брать еду в дорогу с собой. Эти

знаменитые вареные куры и мятые крутые яйца! А соленые огурцы и дымящуюся картошку продавали бабы на каждом полустанке.

Я здесь не касаюсь, понятно, голодных, суровых лет, карточек, военных и мирных,— там особое дело, иная дорога.

А одна пожилая женщина, уже недавно, рассказывала мне, что когда она ездила из своего южного города к родне в Сибирь, то в день отъезда засаливала две большие банки — огурцов и помидоров и ставила их под лавку. К моменту прибытия они обычно поспевали.

Конечно, она ездила в плацкартном или в общем вагоне.

Помните эти дощатые вагоны — довоенные и сразу после войны? Люди законно занимали и третьи, по сути багажные, полки; другие — боковые, раскладывались и вдоль стен, по стенке, по ходу движения. Вероятно, все это и было тем, что именовалось когда-то: третий класс. А второй? Это, наверное, мягкие. Кстати, я что-то давно их не встречал. Может быть, их уже и нету. Всё купированные, или, как их впоследствии стали называть,— купейные. И, наконец, «СВ», в моем детстве — «международные»,— вполне подходит нам сейчас,— мы же, как-никак, едем за границу. Вот это — бывший первый класс. Модернизированный, конечно.

Можно сказать с уверенностью: ни из одного вида транспорта мы не наблюдаем такой сменяемости картин, такой обозримости, такой панорамности, как из окна поезда. Важно и то, что это близко, рядом.

Этот широкоформатный, непрекращающийся, по большей части немой фильм, летящий перед глазами. Его можно смотреть с любого момента. Случается в нем и свое однообразие, но разве редко повторяется сама жизнь! Все эти заснеженные поля и леса, города и деревушки, очереди машин у перееездов, заиндевелые лошади на сельской дороге, дети около школы, завод, деревенское кладбище, замерзшие люди, ждущие на платформе местной электрички, и опять поля, поля — Россия, Украина, уже Молдавия — весь этот сжимающий сердце бесконечный простор!

Неожиданно вспомнил: когда-то давным-давно около большой станции увидел из окна вагона очень длинный пакгауз,— возможно, с легковоспламеняющимися материалами. По стене шли предупредительные над-

писи — некоторые заметно выцвели: «Просим не курить». «Не курить». «Курить воспрещается». «Курить строго запрещается». «Брось папиросу!»

Целый сюжетный ряд. Словно обращение к одному и тому же охламону, который не реагирует. А ведь писали разные люди, в разное время.

Мы говорили с моим добрым попутчиком обо всем на свете, но самый этот поезд, вагон, простор за окном непостижимым образом настраивали на воспоминания. А вспоминать о том, куда ты в детстве или в молодости ездил, значит рассказывать про свою жизнь.

На неожиданно заснеженном софийском перроне нас ожидал у вагона болгарский писатель и журналист Любен Георгиев. Мы переночевали в гостинице «Рила» и назавтра встречали своих товарищей в аэропорту.

УЛИЦА

Городская улица, ее Слово. Написанное или звучащее...

Некоторые, в том числе большие писатели, утверждают, что учились читать по уличным вывескам. Действительно, раньше ведь рядом с надписью обязательно было что-то и нарисовано: калач, сапог, картуз. Это, собственно, и было главным — даже еще в моем детстве. А теперь малыши упоенно читают по складам на улице, когда уже умеют, знают буквы, пускай и не все.

Помню, с внучкой невозможно было гулять, она выдергивала руку, выворачивала шею: «Га-сты-рон-ом»... «Об-ув, увь»... «Юри-дич-еск-ая ко-нс-ул-уль»... Но тут мы уже проходили мимо.

Все это в порядке вещей.

А вот взрослый, опытный взгляд видит только избирательно,— то, что ему требуется, то, что он ищет. Бытует такое дурацкое выражение: в у п о р н е в и ж у. И это — о большинстве.

А ведь чего только нет! Осмотритесь! «Немерный лоскут». Как хорошо, ловко сказано, как эти два слова к месту рядом.

Или, тоже близко,— «Раскрой ткани». И тут же придумывается, в шутку, конечно: идет человек с работы или еще лучше — из окна троллейбуса увидел, пришел домой, говорит:

— Раскрой ткани!

Жена смотрит подозрительно:

— Какие тебе еще ткани раскрыть?..

— Да не раскрыть. Раскроить! Раскрой ткани!

И дальше, смеясь:

— Пришел к Тане.
Раскрой ткани.

— К какой еще Тане?

— Да ни к какой! Рифма какая!

Это же все видеть нужно. И слышать тоже. Обязательно!

В Юрмале на переговорном пункте народу полно: день холодный, не пляжный. Кабинки — на Москву, Ленинград, Киев, Минск, на города Прибалтики. Это автоматы, а есть еще по предварительному заказу, и голос в динамике объявляет — кому в какую кабину. И тут же телеграммы принимают и меняют деньги на пятнадцатикопеечные. Слитный, густой звуковой фон, и сквозь него — отчетливый, звонкий женский голос: «Гепюра много, кремплина нет!..» Это сообщается не один раз, потому и запомнил. И ведь не как большинство, не про погоду кричит, а передает в свою тьмутаракань здешнюю конъюнктуру. Я и очереди ждал — слышал, и дверь за собой плотно закрыл, и трубку крепко прижал к уху, а в другое все равно, как нацеленная радиоволна, как позывной: «Гепюра много, кремплина нет...»

Я поговорил (все в порядке!), выбрался из этой духоты на свежий, чистый, влажный воздух, вздохнул с облегчением и зашагал, а в голове все крутится одно и то же.

И я пружинисто шел под эти слова, и напевал их про себя на какой-то старый солдатский мотив, и прибавлял к ним другие:

Летит дорога
Сквозь белый свет.
Гепюра много,
Кремплина нет.

И — вся рота, разом, под левую ногу:

Ге-пю-ра много,
Кремплина нет.

И дальше в том же роде:

Мы смотрим строго,
Но шлем привет...

Ну, а рефрен известен.

Уже на нашей территории встретились знакомые женщины.

Я подошел и заявил без обиняков:

— Гепюра много, кремплина нет...

Они были явно заинтригованы.

Я же, откровенно говоря, совершенно не представлял себе, чем же отличаются друг от друга эти материалы.

И еще похожая история. Гуляли вдвоем с внучкой (она была тогда дошкольницей) по Ленинскому проспекту. А здесь у нас есть почти всегда безлюдный и потому несколько таинственный фирменный магазин «Пианино. Рояли».

Мы проходили мимо, а молодая женщина в телефонной будке громко разговаривала с кем-то. «Я выписала пианино,— взволнованно сообщала она и советовалась, колебалась: — Не знаю, брать или не брать?..»

Конечно, я был уже опытный человек, и благодарная слушательница находилась рядом.

— Я выписала пианино.
Не знаю, брать или не брать? —

подхватил я тут же и закончил — за невидимого собеседника:

— Повремени немного, Нина,
Пока научишься играть.

Это четверостишие надолго вошло в обиход нашей семьи.

Звуки города... Даже те времена, когда разрешалось сигналить, порой слышатся смутно, приглушенно, словно сквозь сон.

В один из таких нереальных синих дней — кажется, стоял март, самый его конец,— мы с тобой, молодые, медленно, расслабленно шли по бульвару, почти брели. Нет, не в обнимку, тогда так не ходили. Скорее всего, под руку. А навстречу нам то и дело попадались офицеры,— где-то поблизости был их штаб или управление. И первый же из них, не доходя нескольких шагов, вздрогнул, подтянулся, вскинул пальцы к фуражке. Мы отнеслись к этому как к должному, такой уж был волшебный день. И остальные, как бы в подтверждение, тоже приветствовали нас,— лейтенанты четко и даже слегка обозначая строевой шаг, майоры и подполковники более свободно и не так торжественно.

А мы неспешно двигались сквозь этот синий день, шли ни о чем не говоря,— мы уже обо всем договорились.

Наконец я обернулся. Вплотную за нами столь же неторопливо шествовал пожилой генерал.

Того места почти уже не узнать, все переделали, перестроили, но синий слепящий день стоит в памяти, и звучит в ушах навсегда отдаленный гул тогдашнего города.

ПОЭМА О ЛОПАТЕ

В сознании каждого солдата сразу после личного оружия и боекомплекта идет малая саперная лопата, ведь она по сути тоже оружие. Висит справа, оттягивая и без того нагруженный ремень, ударяя черенком по ноге при беге. Я получил ее когда-то совершенно новенькую, в чехле защитного цвета, крытую толстым слоем густо-зеленой заводской окраски. Даже на черенок попало две капли.

Правда, плотное и частое соприкосновение с землей, с грунтом, скоро содрало с лопатки ее начальный лягушачий цвет, открыв стальную сверкающую сущность. Еще бы! Сколько я выкопал ею окопов и окопчиков, «ячеек одиночного бойца». В этом официальном уставном выражении всегда слышалось мне что-то грустное: о д и н о ч н о г о, в то время как я ч е й к а наоборот предполагала нечто коллективное — пчелы, соты.

Конечно, у саперов были настоящие, большие лопаты, штыковые и совковые, ведь им приходилось в кратчайший срок сооружать блиндажи для командования и всевозможные земляные укрепления. То же самое артиллеристы,— попробуй-ка за одну ночь укрой, спрячь орудия. Но и малой лопатке доставалось,— непросто отрыть окоп для противотанкового ружья.

Когда-то профессиональные землекопы,— до войны и сразу после нее эта специальность была широко распространена,— работали в брезентовых перчатках. У солдата летом перчаток нет. Сперва ладони покрывались пузырями, волдырями, которые тут же лопались, вытекала жидкость, под тонкую кожицу набивался песок, ладони жгло и саднило. Кожа сходила, как та заводская краска, постепенно заменяясь железной твердостью настоящих мозолей. Точно так же любые сапоги и ботинки перестали натирать нам ноги.

Мы уже были в состоянии пройти сколько угодно, мы уже могли выбросить сколько угодно земли.

В этом у меня и сейчас нет ни малейших сомнений.

Осенью сорок третьего года в Донбассе, поблизости от Красноармейска, мы три ночи лежали в степи под крыльями «Дугласов», ожидая посадки для десантирования в Крым. Кучно, каждый на боку, лежали с полной боевой выкладкой, надев десантные ранцы, парашюты, оружие. Операция откладывалась и в результате вовсе не состоялась — по причине нелетной погоды.

Уже темнело, когда батальон снял парашюты, сдал все лишнее и пошел строем к смутно виднеющейся на вечернем небе роще акаций.

И тут прозвучал приказ: вырыть землянки. Отправили людей в ближайшие деревни за топорами, пилами и, конечно, за лопатами,— малой лопаткой землянку не сделаешь.

В полном мраке стали размечать переднюю линейку; стараясь быть в контакте с соседями, начали копать, каждая землянка — на взвод. Работали всю ночь, по очереди, ничего не видя и не понимая.

Наконец, весь в тумане, заколебался рассвет, и мы рассмотрели плоды трудов наших. Котлованы под землянки были готовы, но расположены как попало, сикось-накось, будто в нарочитом кошмаре. Однако нашего сурового комбата это не смутило, он приказал валить акации, делать перекрытия и нары.

Но и после отдохнуть нам не удалось. Следующий приказ — поротно в Красноармейск, в баню! Те восемнадцать километров налегке прошли шутя. А баня превзошла все ожидания. Наверное, это была моя лучшая баня за войну: аккуратная, уютная, чистая, с отменной парной.

Обратно, домой, шли в отличном настроении. Да, да, д о м о й,— то, что мы построили в темноте минувшей ночи, уже представлялось нам нашим домом, и без этого общего естественного ощущения войну вообще невозможно было бы перенести.

Ввалились в землянку,— а чтó, землянка как землянка! — и только взялись за сухой паек,— новая команда: все забрать, уходим отсюда. Сначала в Красноармейск, а потом, кажется, в Горловку.

Комбат приказал старшинам срочно вернуть инструменты обратно по деревням, но разве восстановишь, что у кого брали, да еще в темноте.

Не раз вспоминал я о нашем комбате, не раз говорил о нем со своими армейскими сотоварищами. Неужели он знал, когда затевал все это, что мы так быстро уйдем оттуда? Не может быть. Да нет, знал твердо! Он просто не терпел, чтобы люди были не заняты.

Чего только не бывало на войне, а эта история запала, запомнилась.

Ну, а в сорок шестом вернулся, время голодное. Нужно вскопать огород. Отец получил девять соток. Прямо скажем, немало, но я решил: подумаешь! Вскопать ведь, а не выкопать, не выбрасывать землю, не углубляться, что самое трудное.

Пушок ранней зелени, начало мая. Я натянул перчатки, стал копать. Лопата, правда, была неважнецкая: тупая, ржавая, плохо укреплена на черенке. Но ведь, как известно, плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Почва оказалась жесткая, и первым делом заболела ступня. А потом и спина, и руки,— на другой день особенно. Не тот стал, не тот, а ведь всего полгода прошло, как я был дома.

Вскопал, конечно, но через силу. И тоже не забыл.

И все-таки более всего помнится малая саперная. Я ее точил, когда случалась возможность, чистил,— она у меня сияла. Жаль, что сейчас нет дома такой лопатки.

А недавно подарил один бывший десантник самодельную лопату из радужно мерцающего титана, прочную и на удивление легкую. «Может, покопаетесь,— говорит,— на участке, если время найдется. Для удовольствия».

Вот это точно — для удовольствия.

Борис Николаевич Полевой рассказал мне однажды во время заграничной поездки, что он как-то, будучи в Швеции, купил садовую лопату. Прельстился необычной конструкцией: при копке одно лезвие тупится, но второе одновременно затачивается.

Лопата была изящная, компактная, но в чемодан все-таки не влезла, и, ожидая посадки в аэропорту, Полевой держал ее в руках. Его провожал известный шведский профессор, борец за мир, и на них все пялились. Что это за странный пожилой господин с лопатой?

За несколько минут до объявления рейса подошел

человек в форме и очень учтиво обратился к Полевому:

— Простите, пожалуйста, чтó это у вас?

— Лопата.

— Как, просто лопата?

— Садовая лопата.

— Извините, пожалуйста, можно, мы ее возьмем и вернем Вам через две минуты?

— Сделайте одолжение...

Действительно, через две минуты лопата была возвращена крайне сконфуженным служащим.

— Они думали, у меня там брильянты или наркотики,— снисходительно посмеивался Полевой.

...Как мы гордимся своей работой, ее самым скромным результатом, ее нехитрыми плодами в иной, не в нашей профессиональной области, а главным образом, в сфере физического труда: тот посадил рябину, вскопал грядку, этот смастерил стеллаж, просто вбил гвоздь. Но и наоборот: люди, для которых такая, р у ч н а я, работа — профессия, лелеют малую возможность или даже мечту что-либо написать, нарисовать, хотя бы прочитать, и нешуточно себя за это уважают.

БУТЫЛКА

Незадолго до войны в училище сделали ремонт, в казарменной огромной спальне установили на бетонном полу новенькие железные койки, между ними — тумбочки. Внутри тумбочек — личные вещи, а сверху аккуратно складывалось на ночь обмундирование. Сапоги рядом, возле койки.

По ночам приходили поверяющие, светили фонариками, убеждались в полном порядке.

Потом — война. Число курсантов резко возросло, их пришлось помещать по двое на каждую одноместную койку. Спали валетом. А призывы учащались, приемы в училище тоже. Убрали тумбочки, до предела сдвинули койки. Вдоль окон установили стеллажи для обмундирования. Что там творилось во время подъема! Обязательно кто-нибудь, ища свою гимнастерку, отбрасывал в сторону чужие. Да и как ее угадаешь, свою, среди десятков точно таких же. Но ведь прошло время — узнавали. С полувзгляда, безошибочно.

Казарма все очевиднее не вмещала прибывающих курсантов. А койки на складе были. И вот придумали — двухэтажная койка. Верхняя крепилась на приваренных стальных углах. Теперь на той площади пола, где прежде по утрам или во время тревоги управлялся один, теснилось четверо.

Впереди нас ожидали нары — в эшелонах, землянках, блиндажах,— это самое лучшее, что можно было себе представить, самое сладкое — сон на нарах, не на земле, не в снегу. Но училищу общие койки по-прежнему были вновинку.

Я почти не знал парня, с которым делил казенное ложе, не помнил его лица и голоса. Иногда на занятиях замечал с удивлением: где-то я его видел? Мы с ним никогда не разговаривали. Некогда было разговаривать. Коснешься щекой подушки, и тут же проваливаешься, до утра, до трубы.

Но приятель у меня все-таки был — Юматов. Откуда, что,— совершенно не помню. Юматов — и все. В части — наиболее близкий человек обычно напарник по котелку. Повар наливает суп или кладет кашу на двоих. Это объединяет необыкновенно. И все остальное, что подворачивается одному из напарников в непредугадываемой солдатской жизни, тоже обязательно делится на двоих. А как же иначе?

Но ведь в училище котелков и, следовательно, напарников нет. Едят в столовой, каждый из отдельной алюминиевой миски. Здесь приятели возникают по каким-то менее объяснимым причинам,— как, впрочем, и вообще в жизни.

Юматов. Почти никто не называл друг друга по имени,— только одни фамилии звучали. А командиры в училище и фамилий не имели,— для нас, конечно. Фамилии их были словно засекречены,— только звание или должность. Комбат, ротный, старшина, взводный, помкомвзвод, сержант.

Сержант, командир отделения, был невысокий, плотный, после госпиталя. Голос хриплый, сипящий, сорванный, почти шепот. Но командовал — все слышали.

Сержанты в конце учебы тоже выпускались офицерами, чаще всего лейтенантами. А большинство курсантов — младшими лейтенантами. Инкубаторными, как тогда говорили. Производство их действительно было четко отлажено, и вылуплялись они птенцами.

В день выпуска, после подписания приказа, наступало любопытное положение, когда бесправные вчера еще курсантики с одной стороны, а с другой командиры отделений и помкомвзводы уравнивались — все становились офицерами. В тот вечер сержантов традиционно, скорее символически, били,— за прежние обиды и измывательства. Должен, однако, сказать, что сам я не дождался этого волнующего момента,— училище было переформировано, и я вместе со многими другими убыл в часть.

Но что нашего сержанта никто пальцем не тронул — можно поручиться.

А раньше, когда мы еще были курсантами, нас отпускали по воскресеньям за проходную, если приезжал кто-нибудь из родственников.

Стояла зима, и потому стучались в окрестные домики, просились посидеть в тепле, повидаться, поразговаривать. Никто не отказывал. А прибывшие издалека и ночевали, конечно. Это было некое чувство всеобщности, единства.

Впоследствии я спал во множестве сел и деревенек, разбитых и сохранившихся,— не спрашиваясь у хозяев, входили в избу, падали вповалку на пол, хоть на два часа, хоть на час, хоть на пятнадцать минут. Вся сельская Россия была как один постоялый двор — там, конечно, где сами дворы уцелели.

Около училища я столкнулся с этим впервые.

Однажды мы сидели в таком доме,— Юматов со своим братом капитаном, тут же, чуть в сторонке, и я с отцом. Отец привез несколько сухарей и кусочек шпига. Я съел это у него на глазах,— он уверял, что уже пообедал. А когда стали прощаться, отец вынул из портфеля и сунул мне бутылку водки. Она стоила тогда бог знает сколько.

— Возьми,— сказал он,— может быть, пригодится.

Первым моим порывом было отказаться, но я постеснялся и растерянно втиснул ее в брючный карман, под шинель.

Потом брат Юматова и мой отец проводили нас до проходной. Дальше мы шли вдвоем по училищному двору, козыряя старшим по званию. В кармане у меня слегка побулькивало. Порой мне казалось, что эта бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью — против танков.

Вернувшись после войны, я как-то спросил у отца, зачем он сделал мне этот столь необыкновенный и опасный подарок. Отец объяснил, что моего дружка — одноклассника отпустили на краткую побывку,— он тоже служил близко,— а в благодарность он должен был привезти писарю и старшине по бутылке водки. Моя мать, услышав об этом, замучила отца: отвези нашему, может, и его отпустят...

Это из училища-то!

Конечно, и Юматову, и мне доводилось несколько раз пить водку,— на вечеринках с девочками, на проводах в армию. Но ведь по стопочке!

Если бы мы с Юматовым распили вдвоем эту бутылку, наши останки вряд ли удалось бы собрать. Правда, мы бы физически не смогли ее одолеть.

Мы поднялись на второй этаж и остановились возле вешалки. Я снял шинель — бутылка в брючном кармане стала заметна. Юматов загораживал меня. Мимо проходили курсанты.

И тут я увидел нашего отделенного.

— Товарищ сержант! — крикнул я.

Он повернул голову. Я кивнул ему, приглашая подойти. Он удивленно приблизился.

— Откройте сумку,— сказал я шепотом, почти как он.

Он удивился еще больше, но выполнил мое указание. Я с облегчением втолкнул туда бутылку. Он застегнул сумку и неторопливо отошел. А меня распирало радостное чувство избавления от опасной улики.

Окна уже тускло синели, дневальные опускали светозащитные шторы. Но до ужина было еще далеко. Потом сержант подошел и задышал в ухо своим сипящим шепотом:

— Когда пить будем?

Я пробормотал:

— Да нет... Это вам...

Хотел сказать: тебе, но язык не повернулся.

Сержант только глянул и ничего не ответил. Он не был обрадован, он был разочарован нашей неподготовленностью к жизни, впервые, может быть, понял, что мы еще дети, и вряд ли это его к нам особенно расположило.

ВСТРЯСКА

Семья моя была на юге, и друзья пригласили меня отобедать, здесь же, в поселке. Стоял теплый ясный день начала лета, шумящий чистой еще листвой. Звали к четырем. Я взял в передней палку и щелкнул выключателем, ища кепку. Свет не зажегся. «Лампочка перегорела»,— подумал я и один за другим машинально проверил другие выключатели, оказалось, не было тока. Это мне не понравилось.

Дни, понятно, тянулись длинные, светлые, ну, в крайнем случае не почитаю на ночь. Смущало другое: холодильник. В маленьком холодильничке «Ладога-4» помещалась еда, дня на три. Как писали когда-то в мобилизационных повестках, «иметь при себе продукты питания на трое суток». Холодильник слабенький, скоро потечет.

Однако делать было нечего, и я отправился. Идти было с километр. Узкая асфальтовая дорога виляла, змеилась,— настоящий серпантин, хотя и на ровном месте. С одной стороны вплотную смешанный лес, с другой — тонущие в зелени дачи.

Шумел ветер, и гибкие лиственные вершины создавали особый шипящий звук,— порою казалось, что сзади идет машина, и я часто оглядывался.

Мне уже были до́роги — этот наклоненный к пруду участок, этот дом и все, кто был связан с ним, потому что мне дорог был человек, живший здесь прежде.

Любил я и его соседа, тоже давно покинувшего этот мир. Он прислал мне когда-то замечательное письмо, а внизу стояло название места отправления,— именно это,— что делало меня как бы особенно причастным к нему. Простой дом его с пушистым ливанским кедром перед входом казался, благодаря крутизне улочки, выше надстроенного, куда я шел сейчас.

Хозяева, вместе с деловитым пудельком Кешей, уже ждали меня во дворе. Ветер усиливался.

— Свет есть у вас? — спросил я, едва поздоровавшись.

— Горит вполнакала,— ответил хозяин с пониманием.— А может, и вчстверть. Я звонил: авария на линии...

Мы вошли в дом.

— Пожалуйста, садитесь,— пригласила хозяйка звонким голосом.— Все готово.

Разговор поначалу крутился вокруг этого события.

— Когда ток отключают, плохо — холодильник за ночь размораживается.

— И как только раньше без холодильников жили?

— Ну, за городом были погреба,— сказал я и вспомнил, как в конце зимы заготовляли на речке лед, распиливали пилами на равные кубы, обсыпали опилками и развозили по дворам. До новой зимы хватало.

— А в городе?

— Не представляю. Продуктов, наверное, мало было, впрок не покупали...

Ветер шумел. Кеша забеспокоился, залез под стол.

В окошко было видно, как раскачивались березы, далеко заходя вершинами друг за друга. Несколько отломившихся веток простучало по крыше, упало на дорожку.

— Вы не думайте,— пояснил я,— это им полезно, деревьям. Это они кровь разгоняют. Вроде зарядки. А отпадает больное, слабое — закон природы. Это проверка такая, диспансеризация.

— Что-то шуму очень много от такой зарядки.

— Так ведь постепенно,— продолжал я философствовать.— Сперва легкая разминка. Потом трусцой. Многие поэты писали, что деревья идут, движутся. Помните: «Уходят ветлы, как слепые без палки и поводыря». Но здесь, скорее, бег на месте. И наклоны, и другие упражнения. В общем, хорошая встряска...

Постепено стало стихать, вверху ярко заголубело.

— Саша, узнай насчет света.

Он позвонил, вернулся:

— Делают. Аварийка пришла. Там начальника какого-то из Мосэнерго дача, так что все будет в порядке.

Мы вышли. Дорожка к калитке была усыпана мелкими ветками, поперек валялся здоровенный березовый сук. Саша оттащил его в сторону.

Потом хозяева пошли прогуляться и заодно проводить меня. Асфальт тоже был в обломках ветвей, а в лесу многие березки,— большей частью они,— не упали только потому, что повисли на плечах подруг. Казалось, что дело это поправимое, потому что они еще были густо зелены. Орешник вдоль дороги выглядел так, будто кто-то непомерно высокий, схватив его за верхние ветки, согнул до земли, хотя смысла в этом не было, орехи еще и не думали созревать.

Вблизи от наших ворот уже горел фонарь на столбе. Потом я увидел резко переломленную пополам рухнувшую большую березу. Остаток торчащего из земли ствола был остро зазубрен, сердцевина гнилая. Все равно она была уже не жилица.

О произошедшей беде мы узнали чуть позже. Видимо, нас задело лишь самым краешком смерча, прошедшего по нескольким областям. Он сметал крыши, поднимал в воздух и уносил автомобили, отрывал от земли и отбрасывал на полкилометра многотонные краны. Уцелевшие свидетели страшных безумств стихии не смогут забыть этого никогда.

А у нас, собственно, ничего.

Но на другой день кто-то спросил:

— А вы были за синим домом?

Дело в том, что на соседнем с нашим холме стоит выкрашенный в синий цвет большой бревенчатый дом, весьма замысловатой по нынешним временам постройки.

Говорят, что когда-то его занимал управляющий владельца здешних угодий, теперь он заселен множеством жильцов, разводящих вокруг него клубнику и различные цветы на продажу.

Я выбежал через противоположные, нижние, ворота. Обе наши любимые ели были на месте: одна — просто ель, вторая — с двойной вершиной — ель-красавица. За ней синел дом. Я, как обычно, обошел его справа, и все было, как всегда,— оградки и пленка огородиков, облупившийся вход, висящие на гвоздях потемневшие цинковые корыта, врытые в землю детские качели. Все цело.

Я глянул чуть влево и обомлел.

В тридцати метрах от дома, загораживая дорогу, параллельно лежало не менее десятка огромных стволов: березы сломаны у основания, ели вывернуты с

корнем, и эти корни с набившейся в них землей возвышались над поверженными стволами.

Не только старый синий дом, но и стоящие сразу за упавшими исполинами два маленьких домика были совершенно невредимы. И дальше, по ходу падения стволов,— кусты и деревья даже не наклонены, не примяты, не погнуты.

Это было как после артиллерийского налета неслыханной, исключительной точности. Да и тогда бы это было невозможно,— такая нацеленность.

Это тоже была встряска, но встряска сознания.

А люди уже копошились, несли пилы, примерялись, - нужно было освободить дорогу.

ПОЛНОЙ МЕРОЙ

Первая военная осень. Маленький городок среди глухих сосновых лесов и болот. С вечера строгое затемнение. Фронт не дошел сюда и не дойдет, городок ни разу не бомбили, но тяжелые воздушные армады врага тянутся над ним по ночам — на Горький.

Первая военная осень. Наши всё отступают, многих, наверное, уже нет на свете.

Начинается голодное время. Не каждый это еще понимает. Только что введены карточки, а огородов ни у кого нет, они появятся лишь ко второму военному году.

Мать послала меня на рынок, за картошкой.

— Возьмешь одну меру.

— Может, две?

— Одну. И так тяжело, надорвешься.

Если бы она знала, сколько мне скоро придется грузить на себя! На войне никто не скажет: поднимай поменьше, сынок...

Я прихватил мешок и пошел.

«Возьмешь одну меру». Легко сказать. Неделю назад картошки было сколько угодно, а сейчас на всем рынке, в разных его концах, три подводы и рядом с каждой не хвост очереди, а просто толпа,— картошка кончалась.

Весь рынок состоял из серых от времени, длинных дощатых столов и лавок. Ни навесов, ни весовой, ни весов. Картошку отпускали м е р о й. Что такое мера? Мера и есть. Алюминиевая помятая посудина,— не то кастрюля без ручек, не то ведро без дужки. Считалось, что вмещает она пуд.

Перед войной мера картофеля стоила пять рублей, теперь — десять. Но ведь не купишь. Некоторые брали сразу по мешку, переваливали его в тачку и возили на столь популярном тогда драндулете: одно колесо, две ручки.

Появилась еще телега с картошкой, но и народу за это время сильно прибавилось. Потом еще. Мужик начал сгружать мешки за прилавок, ему кинулись помогать, он не обращал на это внимания. Наконец он вскрыл мешок, насыпал первую меру и негромко объявил передним:

— Пятнадцать рублей...

Очередь ахнула. Сзади не слышали, стали переспрашивать, тоже возмутились.

— Не будем брать! — крикнули ему.— Стой с ней!

— И постою,— отвечал он, спокойно закуривая.

Но прошло совсем немного времени, когда из середины очереди выделился усталый хмурый человек с брезентовой сумкой, приблизился к началу и сказал:

— Я не могу стоять. Сыпьте.

Его поступок выглядел предательством, и очередь брезгливо смотрела, как мужик насыпает ему картошку, берет деньги, вновь наполняет меру.

Вскоре не выдержал еще кто-то, потом опять, и наконец очередь пошла по порядку.

Подъехала следующая подвода. Ее хозяин не торопясь осмотрелся, подошел к торгующему, вернулся, тоже закурил и заломил свою цену — двадцать.

И история повторилась. Но, покупая и эту картошку, люди не догадывались, что скоро ее цена покажется им баснословно низкой, что они еще находятся во власти своих довоенных представлений и не знают, что через короткое время буханка черного хлеба будет стоить с рук сто рублей, а потом и двести.

Тут со стороны лесной дороги показалась ещё одна телега, высоко груженная мешками с картофелем. Мужик, держа вожжи, шагал рядом, а следом спешили люди, вышедшие навстречу и теперь стремящиеся на ходу установить подобие очереди.

Мужичок был средних лет, и немножко старили его не слишком привычные в ту пору светлые усы.

Он распряг лошадь, задал ей сена, начал разгружать телегу, и опять добровольцы из очереди вызвались помочь.

Он стоял по ту сторону длинного пустого прилавка, за его спиной громоздились мешки. Он взрезал перочинным ножиком нитки, которыми был зашит мешок, взял алюминиевую меру и сказал:

— Десять рублей.

И вдоль очереди, повторяясь, зашелестело одно только слово: совесть.

Он торговал быстро и даже весело. Он торопился.

— Ты бы, мать, еще кисет принесла,— говорил он бабке, у которой была неудобная узкая сумка, и очередь подобострастно смеялась.

Люди быстро освоились. Кто-то уже сетовал, что одна его картофелина упала и укатилась под прилавок.

Хозяин ответил веско:

— Я и так вам сыплю полной мерой!..

А я потом не раз думал о нем.

Может быть, он не разобрался в происходящем или уходил назавтра в армию, или его мучило какое-то предчувствие? Кто ответит?

Стояла осень сорок первого года. Вся война, по сути, была еще впереди.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Во времена моего детства и отрочества материальная сторона жизни у нас в семье, невзирая на все трудности, не играла сколько-нибудь заметной роли. Насколько помню, у отца десятилетиями был один и тот же выходной костюм. Мать шила у самых недорогих портних (тогда платья почему-то не покупали готовыми, а шили) и из самых простых тканей.

В те поры, когда у нас бывали деньги, они почти целиком уходили на еду. На это не жалели.

В домах у некоторых знакомых мальчиков была хорошая мебель, ковры и прочие предметы тогдашней роскоши, но это никогда не производило на меня впечатление. А у нас мебель была казенная, по сути канцелярская, взятая отцом на заводе, на время работы, напрокат.

В студенческие годы тоже: некоторые жили в отличных просторных квартирах, занимая в них отдельные комнаты. И опять же это ничего не значило. Они это понимали тоже.

Вообще взять у родителей можно не все.

Вот я знаю несколько интеллигентов в первом поколении. Точнее было бы сказать: это люди, первыми в своем роду получившие высшее образование.

Отец и мать одного из них приехали в двадцатые годы в Москву из рязанских деревень — каждый, разумеется, отдельно. Может быть, это было примерно то же самое, что сейчас называется — по лимиту, лимитчики. Поступили на фабрику, там познакомились и поженились. Отец был столяр или, как стойко говорят — стóляр. Мать специальности не имела, потом получила тоже.

Родились у них мальчик и девочка — хорошие, московские уже, ребята, пережили войну,— налеты, бомбежки, недоедание. В эвакуацию семья не поехала. Ничего деревенского в них уже не было, даже черточки, детальки. Но что еще удивительней — в родителях

тоже: пропало начисто, они были городские рабочие люди. А вот родня, навещавшая их, была сугубо деревенского склада. Не только дед, приезжавший из родных мест, но и тоже укоренившиеся в Москве тетки и дяди: у тех это било в глаза. А эти жили в неправдоподобно громадной квартире,— четырнадцать семей,— там было, по позднейшему выражению одной дамы,— две уборенки. Как в вагоне. Вообще я думаю, что общий вагон, с третьими полками и убираемыми на день боковыми местами — не что иное, как барак на колесах.

Прошло время, кончилась война. Отец вернулся живой и здоровый. Снова начал мастерить по вечерам этажерки и табуреточки. А позднее долго делал книжный шкаф,— уже повсюду можно было купить, и недорого, полированные румынские полки, а он с упорством мастера продолжал свой труд и окончил его.

А его сын, мой друг, окончил институт, начал работать — хорошо, с охотой, выдумкой,— защитил диссертацию, выдвинулся, стал крупным специалистом. Главное добро в доме было — книги.

Но речь не о нем уже, а о его сыне. Тоже хороший парень, и тоже после десятилетки надо поступать в институт. Отец мог устроить в свой,— хотя сам там не работал, но регулярно читал лекции для приезжавших усовершенствоваться. Да и старых друзей среди руководства было много. Но не стал. Принципиально: пусть сам! Нам никто не помогал!..

Малый не добрал полбалла. Отслужил, причем как-то с удовольствием даже,— характер легкий, уживчивый. Вернулся, начал работать и поступил на вечернее отделение. Но ведь какое упорство нужно иметь! Тянул-тянул, за три курса сдал — и все, устал, другие интересы, молодой еще, погулять хочется.

Отец негодовал долго, не мог смириться, переживал. Почему он, да и сестра его тоже, сумели, да в каких условиях,— а этот что же!

Потом ничего, привык. Сын работает, занят счетно-вычислительными устройствами, все в порядке.

А действительно, в чем дело? Появление интеллигента в первом поколении совсем не гарантирует, что так же будет и во втором, что дальше уже само собой пойдет продолжение. Наоборот,— здесь черта, которую можно переступить в ту или иную сторону. И ничего

такого нет. Это как в хоккее: скажем, «Кристалл» или «Автомобилист» выбьются из первой лиги в высшую, поиграют годик и — обратно. Но ведь все-таки в первую! И опять там на главных ролях.

А квартира у сына в бытовом смысле даже лучше, современней. И книг немало,— из тех, что у отца не помещаются. И вообще те, кто устраивается позднее, у них больше возможностей, новшеств, вариантов. А то, что когда-то было хорошо, теперь может выглядеть даже скромным.

ИСПОРЧЕННЫЙ ВИТЬКА

Когда я ходил во второй класс, нашими соседями по квартире была семья: муж, жена и двое мальчишек,— Витька учился со мной, Валька — в первом. До школы было минут двадцать, но мы выходили за час, шли с остановками, отвлечениями, не торопясь. Иногда даже опаздывали.

Валька обычно молчал, но зато Витька не закрывал рта. Что он молол! Он говорил о женщинах,— не о девчонках, а именно о женщинах и о своих отношениях с ними. Он рассказывал совершенно фантастические вещи, потрясающие подробности. В них немыслимо было поверить, многое просто невозможно было понять, но чувствовалось, что и сочинить это нельзя тоже. В дальнейшем я с изумлением осознал, что истории его были вполне допустимыми, достоверными, но в иной, взрослой жизни,— так и осталось невыясненным, откуда у него все это бралось.

Во всяком случае, он был увлечен этим куда более, чем уроками.

Однажды догнали по дороге девушку и долго шли сзади, в шаге от нее. Витька с пониманием рассматривал ее фигуру, а потом сказал, не понижая голоса:

— Хорошую женю отрастила.

Я не понял:

— Какую Женю?

Он популярно объяснил.

Девушка обернулась и смерила его удивленно-презрительным взглядом:

— Ах ты, шибздик!

Он смело смотрел на нее — как на ровесницу.

А как-то попалась навстречу молодая пара: верзила-муж вел под руку беременную жену. Потом в таких случаях стали говорить: сильно беременную.

Поравнявшись, Витька обратился к нему одобрительно:

— Молодец! Здорово накачал.

Тот сперва не понял, затем дурацки хохотнул и тут же, рассвирепев, кинулся за Витькой,— да разве догонишь! — Витька этого ждал и был уже за забором, в заглохшем чьем-то саду, где мы часто играли по дороге из школы.

Каким-то образом о Витькиной болтовне стало известно и взрослым,— соседки называли его испорченным мальчишкой. Отец лупил его нещадно.

Но он был словно обуян этой, двигавшей им страстью.

Если в пруду, мимо которого мы ходили, купались или собирались купаться женщины, он тут же подкрадывался, прятался за кустами. О школе он забывал напрочь. Валька, топчась поодаль, обреченно ждал его.

Еще помню, торчала в стороне от дороги дощатая уборная с двумя дверями и крупно намалеванными на них буквами: «М» и «Ж»,— за каждой дверью по одному «очку». На наших глазах в уборную вошла женщина, и Витька тут же пустился к другой двери.

— Там щель! — успел он крикнуть взволнованно.

В перегородке действительно имелась щель и еще был выбит сучок в доске.

Витька исчез за дверью и пропал. Женщина уже вышла, покосилась на нас, обдернула юбку и удалилась, а его все не было.

Мы приблизились. Витька уронил в «очко» кепку и теперь пытался вытащить ее, но без всякого успеха. Вид у него был хмурый,— потеря кепки не предвещала дома ничего хорошего. Они с Валькой стали искать палку или крючковатую ветку, я подождал их немного и пошел один. Появился Витька ко второму уроку, с мокрой, отмытой в пруду кепкой в руке. Пахло от него соответственно.

Потом мы переехали оттуда, я иногда вспоминал обоих братьев, особенно старшего, с его рассказами, но все реже и реже.

И вот уже после войны я был с друзьями на стадионе «Динамо», только что кончился матч, и мы спустились на уютную площадку перед Северной трибуной, когда меня окликнули. Я обернулся и узнал его в ту же секунду. Удивительно, что прошло не так много лет,— двенадцать или тринадцать. Но еще поразительней, что тогда мы были совсем детьми, учились во втором классе, а сейчас я уже, кажется, давно вернулся с войны.

У него было открытое, довольно привлекательное лицо, а рядом с ним стояла тоже симпатичная девушка. Мы ведь тогда так воспринимали — девушка.

Но он сказал:

— Знакомься. Моя жена.

И тогда я глянул на нее внимательней. Я сразу вспомнил это приклеенное к нему словечко — испорченный,— подумал, что вот теперь-то, наверное, развернулся вовсю, и подсознательно понял, что ищу того же в ней. Ведь она — ему под пару — тоже должна быть испорченной. Однако в ней я этого не увидел. В ее облике скорее сквозила какая-то наивная доверчивость. Она ничего о нем не знала. Мне даже стало ее жалко. Впрочем, возможно, я и ошибался.

Моя компания, покуривая, терпеливо ждала меня. Им не было скучно,— они обсуждали игру и посматривали по сторонам,— в толпе мелькало немало футбольных и прочих знаменитостей.

— Валька? — переспросил Витька.— Живой.— И записал мне свой телефон красивой авторучкой.— Звони. Увидимся.

— Обязательно,— сказал я, зная, что не позвоню.

Если бы встретил его одного, то, может быть, как-нибудь позвонил бы от нечего делать. А так — не захотелось.

ВРАТАРИ

Бывает, писатель так развернет сюжет, такие предложит ситуации для своих персонажей, что не только умудренный критик, но и простодушный читатель не верит: «Да нет, это уж слишком. Таких совпадений в жизни не бывает».

Автор убеждает: «Да это из жизни и взято».

Но они стоят на своем: «Неправдоподобно!»

Были два футболиста. Они играли в двух разных командах, которые сейчас назвали бы супер-клубами или великими командами. Тогда это были просто лучшие команды.

И еще была молодость, только что отгремевшая война, едва снятые солдатская шинель и погоны. Был людской водоворот у Восточной трибуны, драгоценный билет, смятый в кулаке, радующая глаз ранняя зелень поля, особенный футбольный воздух, сладко кружащий голову...

Они выходили друг против друга лишь дважды, от силы три раза в сезон. Но они отлично знали друг друга. Они никогда не соприкасались в игре. Они занимали места на противоположных концах поля. Они были вратарями.

Они противостояли ловким, быстрым, могучим нападающим. Они бросались в гущу ног, под чудовищные удары. Они, как на пружинах, взмывали в воздух, перебрасывая свистящее ядро мяча через перекладину. Они распластывались в непостижимых горизонтальных прыжках, чтобы в нижнем углу накрыть мяч наглухо. Они принимали на себя прямолинейные жестокие мячи, обжигающие ладони. Они мгновенно разгадывали коварные замыслы и перехватывали неожиданные передачи.

Разумеется, не всегда им все это удавалось. «Игра есть игра»,— философствовали обозреватели. «Мяч круглый»,— говорили на трибунах.

Трибуны любили их, восхищались ими, прощали промахи. Впрочем, у нападающих именно промахов всегда случается больше.

Как истинные индивидуальности, они были совершенно непохожи друг на друга.

Один — даже невысокий для вратаря, но взрывной, прыгучий, длиннорукий. Как ни странно, верховой мяч, казалось, представлял для него меньшую угрозу, чем низовой. Это была европейская знаменитость. Слава его долго еще не стихала на Британских островах. «Тигр», «пантера» — почтительные прозвища, полученные им там, за границей. И действительно, в мягкости, эластичности его повадки проглядывало нечто кошачье.

Второй — крупный, стройный, мощный. Прежде он был борцом. В его игре привлекали открытость, почти простодушие. Но это не значило, что ему легко было забить. Его отличало поразительное хладнокровие, отсутствие нервозности, душевное здоровье. Если он пропускал досадно легкий мяч, «пенку», что случается со всяким, можно было с уверенностью сказать, что на дальнейшей его игре это не отразится. Редкие ошибки не выбивали его из колеи, ничуть не смущали внутреннего равновесия.

Несколько лет стояли они в воротах своих блистательных команд. Это были счастливые годы — для них, для футбола и для нас тоже. Между ними и нами существовала остроощутимая двусторонняя связь. Поэтому они так играли, поэтому переполненные трибуны дышали и замирали в лад их выходам и броскам.

Они появлялись друг против друга не более трех раз за сезон: по разу в каждом круге первенства и еще — если так складывалось — на Кубок. Но в этих трех схватках от них зависело очень многое.

Потом, как это неминуемо случается, они сошли, исчезли — не только с поля, но и из поля нашего зрения. Но не забылись. Они и теперь стоят перед глазами — как живые.

Впрочем, первый вскоре вернулся. Наметанный зрительский глаз мгновенно схватывал его, обвешанного фотоаппаратами, спешащего вдоль газона своей чуть косолапящей походкой. Он и здесь резко выделялся. За воротами он провел гораздо больше лет, чем в воротах. Потом на его уход тоже обратили внимание.

Странно, они заболели почти одновременно, одной и той же неизлечимой болезнью. Мало того, они попали в одну больницу. Это произошло не потому, что больница была ведомственная или для спортсменов, нет, так вышло совершенно случайно, их определили туда по месту их жительства. По воле случая они оказались и в одной двухместной палате. Это был словно запоздалый знак судьбы, гримаса неведомой жеребьевки.

Более четверти века прошло с той поры, когда последний раз выходили они друг против друга на нежную зелень поля, вступали в свои вратарские площади с дочерна выбитой травой, и стихал стадион в волнующем ожидании.

Потом появился некролог, поразивший многих.

Андрей Петрович Старостин рассказал мне, что этот по-прежнему могучий с виду человек пришел в диспансер своего клуба и пожаловался известному спортивному врачу на неважный сон и самочувствие.

— Может, стоит поехать куда-нибудь, отдохнуть?

— Все, Володя, сделаем.

Его послали на рентген и увидели, что он обречен.

Другой за неделю до конца нашел в себе силы покинуть больницу и заявился на стадион. Тот же Старостин увидел его с трибуны и порадовался: «А говорили, Лешка плохой». Но кто-то столкнулся с ним лицом к лицу и подтвердил горько: «Плохой Лешка!..»

А я все думаю, как они лежали на соседних койках, о чем говорили — перед лицом своей беспомощности, боли, смерти.

Так ушли они навсегда — почти легендарные герои нашей молодости.

ФУТБОЛ ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ВПОСЛЕДСТВИИ

Ноябрьским дождливым вечером включил телевизор, увидел каскад мокрых пустых скамеек, но камеру повели вправо, и на центральной трибуне обнаружились тесно сидящие, словно греющие друг друга зрители. Их, вероятно, было немного, но выглядели они слитно, кучно, решительно. Ими нельзя было не восхищаться. И я с некоторым удивлением подумал, что и я ведь когда-то был из их числа, тоже созванивался с друзьями, брал плащ или зонтик, стоял в очереди к билетной кассе. А вокруг текла, бурлила, закручивалась толпа, сдержанно ржали лошад конной милиции, свистели мальчишки.

Словно не со мной все это было, словно это был не я...

* * *

Демобилизовался я в сорок шестом, в декабре,— ни то ни се: в институт подавать опоздал, следующий набор только летом.

Выправил паспорт, получил карточки, встал на комсомольский учет. Предстояло устраиваться куда-то, выбирать институт, готовиться, поступать. Все предстояло... Но была еще одна ожидаемая радость: весной футбол, второго мая открытие сезона.

Не много сохранила память из того дня. Помню, что было прохладно, я был в шинели. Помню, что купил билет с рук — с приплатой чудовищной, но без раздумий. Помню, как протискивался сквозь толпу, пока не попал в поток, понесший меня к восточной трибуне. Играли ЦДКА — «Спартак». Счет 1:1. Кто забил — не помню. Боброва не было, но был Федотов. Были Гринин, Николаев, Никаноров. А у «Спартака» — Леонтьев, Василий Соколов, Тимаков, Рязанцев. Остальных не помню. Да это и не важно. Важно сохранившееся в

душе ощущение происходящего со мной и другими события.

Может быть, потому, что это была первая для меня игра после войны? Легко ответить утвердительно, но нет! Ощущение это возникало еще долго, после многих матчей.

Народ валил валом, как на серьезное зрелище. Таковым оно и было. Кого я только не встречал на футболе,— знаменитейших артистов, генералов, писателей! Ходить на футбол было принято. Много лет спустя, на юбилее Андрея Петровича Старостина, я разговаривал в перерыве с Бобровым, подошел Михаил Иванович Жаров, расцеловался с ним и воскликнул:

— Помните, вы приходили ко мне с тем крайком, ах, ты, как его, маленьким?!

— С Деминым, с Володей,— подсказал Бобер.

— Да, да, ах, ты, боже мой, как жаль его! — сокрушался тот совсем по-жаровски.

Сейчас нет уже ни Жарова, ни Боброва, ни Юры Трифонова, который тоже был в тот вечер, ни Сереги Сальникова, ни многих других.

И ведь что поразительно, о чем нельзя не сказать! Стадион «Динамо» делал полные сборы при встрече всех московских команд друг с другом, также с тбилисцами, а кроме того, с каким-либо иногородним клубом, нашумевшим в текущем сезоне, будь то «Зенит», куйбышевские «Крылышки» или кишиневская «Молдова». На многие игры просто невозможно было попасть: эти завихрения толпы — от метро до касс, эти гроздья мальчишек на железной ограде!

И в то же время театры были вполне доступны: Малый, МХАТ, Большой. Билеты туда даже распространяли по предприятиям и институтам! И это при том, что еще не покинули сцену выдающиеся корифеи. Как это сочетать, чем объяснить поистине всенародный послевоенный порыв на трибуны стадиона? Жаждой борьбы, непредсказуемостью исхода, потребностью в многотысячном единении?

Потом наступил обратный процесс: стадионы пусты, театры переполнены.

Говорят, футбол стал жертвой телевидения. Это неверно. Телевизоры КВН появились в 1949 году. На крохотный экранчик смотрели сквозь линзу, а проще — сквозь прозрачный резервуар, наполняемый дистилли-

рованной водой. И где ее только брали, в аптеках, кажется! Впрочем, экраны такого размера, безо всяких линз, вновь вошли в обиход, только и сам «ящик» соответственный.

Потом начали выпускать телевизоры побольше, и совсем большие, и цветные в том числе, и были они уже в каждом доме, а народ на стадионы все валил. В середине шестидесятых в Лужниках на большинстве игр яблоку упасть негде было.

Нет, истинному ценителю футбола требуется дышать этим воздухом, иметь возможность разом видеть все поле, а не тот его кусочек, который покажет оператор. А повторы ему не нужны, ему достаточно самих голов.

Тогда, после войны, на футболистах были длинные и широкие трусы, почти шаровары. Сейчас бы это выглядело комичным, а тогда ничуть: кто длинноног и строен, все равно было видно. Футболки с воротничком и длинным рукавом (Башашкин рукава всегда закатывал). Высокие гетры и обязательные щитки под ними. Сейчас футболист, играющий без щитков, со спущенными гетрами, напоминает мне женщину, не носящую лифчика. И то, и другое веяние времени.

Вратари стояли в кепках. Помните знаменитую кепку Яшина? Теперь вратарских кепок не встретишь. Почему? Объяснение простое: раньше играли при дневном освещении и один тайм, как правило, против солнца. Мощные осветительные устройства появились позднее. Теперь эти чуть склоненные над Лужниками или «Динамо» могучие мачты видны издалека. Сердце радуется, когда они в сумраке бросают слитный свет на зелень газона. Но, беда, лужниковский стотысячник не заполнялся больно уж давно.

Полный комплект не на трибунах, а только на поле.

Вот вспомнил о вратарских кепках и подумал, что ведь хоккейные-то вратари — теперь представить дико! — долго играли без масок. Словно в цирке воздушный гимнаст без страховки. А полевые игроки, как потом мотоциклисты или монтажники, не хотели надевать каски, всячески уклонялись от этого. То же бывало и на войне — от бравады или неопытности. Зато теперь в снаряжении хоккеиста при необходимости дополнительные защитные устройства: прозрачный щиток перед глазами, решетка, закрывающая челюсть.

Прежде спорт развивался и жил бесхитростно, зависимый от времени года. Кончался футбол, начинался хоккей. Многие играли и там, и там, и одинаково блистательно,— достаточно вспомнить того же Боброва. Теперь это невозможно: играть бы пришлось одновременно.

Хоккей, правда, не сразу, порой отчаянно сопротивляясь, все же ушел под крышу и прижился там, стал зрелищем в зале, как бокс или баскетбол.

А вот футбол, что ни говорите, выглядит под крышей искусственно, как искусственное покрытие, на котором играют. Футболу нужен воздух, трава, грязь на трусах и лицах, мокрый мяч, утоптанные и выбитые вратарские площадки, клочья дерна, земля между шипами. Это необходимо не только футболистам, не только зрителям. Это необходимо самому футболу.

Но деваться некуда, зима долгая, приходится скрываться в такие манежи.

Зима длинная, но и сезон длинный. Впрочем, зима такая же, как была, а сезон все продолжительней.

Раньше заканчивалось первенство, начинался розыгрыш Кубка. Сильнейшие, что называется, на ходу, да и другим путь не заказан: вспомним сокрушавшую всех подряд до самого финала команду города Калинина.

Финальный матч устраивался обычно восьмого ноября. А дальше уж хоккей — и русский, и потом — с шайбой.

Теперь ни один рядовой любитель и знаток футбола не объяснит вам — как и когда разыгрывается у нас Кубок.

Мы сетуем на то, что сроки европейских кубков не слишком нам подходят. Но с в о й - т о Кубок проводим в самое неудобное время, каждый сезон по-другому, и в результате часто видим случайных участников финала и не сильнейший клуб-обладатель.

Да, бывали громкие победы в международных турнирах: Олимпиада в Мельбурне (1956),— тогда олимпийцев встречали в Москве почти как челюскинцев,— Кубок Европы в Париже (1960), кубковые триумфы динамовцев Киева и Тбилиси.

Особенно привлекали в прежнем нашем футболе — вера в себя, бесстрашие. В 1958 году на первенстве мира наша сборная попала в одну подгруппу с Бразилией,

Англией и Австрией. И хоть бы кто дрогнул, усомнился. Мы, что ли, хуже!

И вышли в следующий круг.

* * *

Поздняя осень 1984 года. Одни игры на газонах, только что и не до конца освобожденных от снежного покрова, другие на рафинированном синтетическом покрытии. Попробуй приноровись! Но стараются. «Зенит», «Спартак», «Днепр», минчане играют сейчас хорошо, более того — сражаются. Но сопровождающие их путь обязательные роковые срывы и спады не дают возможности смотреть на их будущее с большей уверенностью. Это все равно как если бы замечательный артист или целый ансамбль время от времени играли бы свой спектакль из рук вон плохо. Но ведь так не бывает, просто не может быть с актерами высокого уровня и класса. А с футболистами, увы...

Отдельно — о ЦСКА. Странная, обидная судьба. Все в прошлом. Удивительно, что это происходит в спортивном обществе, где в с е игровые виды на самом высоком уровне.

Некоторые пытаются объяснить горькие неудачи давним (1952) несправедливым расформированием команды. Полно, команда А. Башашкина и А. Петрова уже в 1955-м выиграла Кубок. А в 1970-м, когда тренером был В. Николаев, ЦСКА вновь стал чемпионом. Нет, это новое, затяжное, бесконечное падение. Давно бы уже пора дернуть за кольцо и раскрыть купол.

Существует выражение: многомиллионная армия болельщиков. Определенный штамп. Но в данном-то случае это действительно армия — основные приверженцы ЦСКА. Как можно огорчать их столь долго!

И опять об Андрее Петровиче Старостине, бывшем капитане сборной страны и «Спартака». Это человек и спортсмен исключительного вкуса, такта, благородства. Он находится в возрасте достаточно серьезном, но работает, ездит в Управление футбола или в Федерацию.

Насколько я понимаю, он никогда и никуда в своей жизни не рвался. Он рвался только к мячу или с мячом.

И вот недавно он, чуть посмеиваясь, рассказал мне и моей жене, что когда он едет по утрам на работу, то буквально врывается в вагон метро. Врывается, чтобы занять место. А заняв, тут же уступает его — одной из женщин, попавших в вагон после него.

К сожалению, пример этот не подхватывается молодыми гражданами пассажирами. Те не замечают стоящих перед ними женщин и стариков, читают газеты, или делают вид, что спят, или просто не смотрят по сторонам.

И все-таки это пример. Именно так — собственным примером — он показывал, как нужно играть, как нужно терпеть, как нужно вести себя на поле и за его пределами.

* * *

Перечитал написанное и вдруг подумал: а хорошо бы созвониться с друзьями, взять зонтик, не побояться возможного разочарования.

Впрочем, сезон уже кончился. Может быть, весной?..

ФУТБОЛЬНЫЙ ВЕТЕР

Футбольный ветер нашей молодости... Он волновал, как морской или степной, оседал на губах, щекотал ноздри. Он гудел в ушах. И скольких людей помню я на этом ветру, самых разных людей, связанных и объединенных воедино футболом.

После войны у нас были две бесспорно классные команды — ЦДКА и московское «Динамо». Повидав впоследствии немало всякого футбола, я совершенно убежден, что это были команды высочайшего мирового уровня. Блистали в разное время — прочно, основательно, не на год,— «Спартак», «Торпедо», тбилисцы. Да и у других команд случались счастливые времена. И еще почти везде, и в «Локомотиве», и в куйбышевских «Крыльях», и в обеих ленинградских командах, и у ростовских армейцев, были игроки — игрочки, игрочищи, профессора,— посмотреть на игру которых приходили десятки тысяч, вне зависимости от результата. Что уж говорить! Но те две стояли отдельно, выше всех, неколебимо.

Теперь такая команда — одна. Да нет, я не являюсь ее сторонником,— но одна, нелепо с этим спорить.

Киевское «Динамо» — команда безупречно подобранная, подогнанная, составленная как хорошая коллекция, где каждое поступление оправдано и идет в экспозицию, а не в запасник. Ведь Чанов, Заваров, Беланов, да и других можно назвать, не свои, но сколь точно они были выбраны. Лобановского можно только поздравить с такими приобретениями. О доводке, шлифовке я не говорю,— это само собой разумеется.

Киевское «Динамо» — команда, столь страдающая от грубости соперников, от потерь своих техничных игроков.

Вот ведь как все изменилось! Помню времена, когда киевлян боялись как грубую команду. Помню киевского защитника, умышленно, расчетливо прыгнувшего обеими подошвами, всеми шипами, на ногу лежащего

на земле Валентина Бубукина. Не хочется его называть, много чести. А игравший в том же клубе еще раньше костолом, жестоко калечивший Боброва и Федотова! Его имени сейчас почти никто и не знает, а они остались в футболе навсегда.

Сергей Сальников, сам футболист очень техничный, рассказал мне однажды, как тот защитник, не в силах справиться с Бобровым, подло, сзади, сшиб его и швырнул на гаревую дорожку. Бобер не успел уберечься и проехал лицом по шлаку. Он чуть не заплакал: назавтра ему предстояло жениться. Но он встал и не бросился жаловаться судье или с кулаками на противника, хотя сам был парень атлетичный, он утер лицо рукавом майки и сказал обидчику:

— Посмотри на табло!..

Там стояло — 2:0. Ясно, что в пользу Боброва.

Теперь страдают сами киевляне. Что поделаешь, это оборотная сторона высокого уровня и класса. Приходится терпеть.

Судейство бесспорно стало строже и, главное, нагляднее. Предъявленную игроку желтую (предупредительную) или красную (удаляющую) карточку видят все. Стали официально предупреждать и за нарушения, прежде считавшиеся безобидными: затяжка времени, перехват мяча руками, откатка мяча. И самое страшное здесь не мгновенное наказание, а последствия,— я бы сказал, последующее поражение в правах: автоматический пропуск одного, двух или даже четырех матчей.

Давно замечено, что наши футболисты в международных встречах очень часто нарываются на строгость зарубежных судей, страдают из-за собственной несдержанности или самых пустяковых, необъяснимо-нелепых проступков. Недавно один наш комментатор, ведя репортаж, горячо возмущался:

— Ну что же это такое! Мы им говорим, говорим: не нарушайте! А они нарушают. Что же они, не слушают нас, что ли?..

Какая наивность! Да, не слушают они вас и не будут слушать. Воспитать их сможет только строгость с в о е г о, отечественного судейства. Невозможно привыкнуть играть как бы по разным правилам.

Впрочем, чем выше квалификация судьи, тем более он дает поиграть, не свистит то и дело, хотя и дер-

жит ход матча в своих руках. Он как хороший редактор, который не подчеркивает карандашом каждое второе слово, не меняет запятую на точку, а точку на точку с запятой, он доверяет автору, уважает его, дает ему почувствовать собственную ответственность. Но и рукопись, разумеется, должна быть хороша.

2 июня 1986 г. Мексика. Ирапуато. 30° жары. Чемпионат мира по футболу. Матч СССР — Венгрия. 6:0.

После игры судья Л. Аньолин (Италия) шел с поля, обмахиваясь сложенными в виде веера желтой и красной карточками. Они ему понадобились, кажется, только для этого.

Хочется вернуться к Всеволоду Боброву. Конечно, это был удивительный футболист, и хоккеист тоже. Как он шел к воротам — через переплетение ног или клюшек, подавляя своей непонятной неудержимостью. У него был дар забивать, когда особенно нужно,— то есть решающие голы и шайбы. Что он выделывал тогда своими разбитыми, не раз оперированными ногами! Так он играл в Финляндии, на первой для нас Олимпиаде, против футболистов Югославии. А потом? Казалось, все, конец, стар Бобер, надо уходить, но он в хоккее стал еще первым чемпионом мира и олимпийским чемпионом. А затем, придя тренером в «Спартак», не будучи спартаковцем, да и, в отличие от Бескова, не став им, почти на одном самолюбии поднял и вытащил хоккейный «Спартак» в чемпионы.

Да, Бобров... Устроишься, бывало, на трибуне, выходят команды, смотришь: здесь он или нет? Эх ты, черт, нету! И каждый понимает: значит, не может, врачи не пускают, опять какой-нибудь молодец (или даже известно — какой) постарался в защите, зацепил Бобра, знал, куда ударить. Или — радость: вон бежит. И Федотов здесь, и остальные. Сейчас будет дело.

Еще было у него, конечно, редкое обаяние, широта, благородство.

Я обрадовался, услыхав, что Юрий Власов любил больше всех в спорте Боброва. Казалось бы, что́ их могло сближать, кроме того, что оба большие спортсмены? Власов же совсем другой — и в своей внутренней сосредоточенности, и в интересах вне спорта. Однако привлекало, видимо, то, о чем я уже сказал: открытость, душевность.

Выступая на одном из юбилеев Андрея Петровича Старостина, Бобров рассказал о приезде в послевоенные годы в Москву по семейным делам старшего Старостина — Николая Петровича. Он тренировал тогда команду в отдаленном районе страны, посещение столицы было ему запрещено, как и остальным братьям. Он приехал незаконно, нелегально. Знаменитый и влиятельный Бобров отчасти опекал его в Москве, почитал это за честь. Они были даже на футболе.

Бобров сказал:

— В правительственной ложе на «Динамо» сидели трое: член правительства, я и заключенный...

Так и сказал, публично, хотя и не в зале, а среди своих — на банкете. Под членом правительства он имел в виду, как все поняли, В. И. Сталина, основоположника спортивного общества ВВС, души не чаявшего в Боброве. Это был авиационный генерал, который, командуя воздушными парадами, сидел всегда в правом кресле, то есть на месте второго пилота, и которого заглазно некоторые, даже еще тогда, называли просто по имени: Вася. Бобров по каким-то своим соображениям, кажется с кем-то не поладив, перешел из ЦДКА в ВВС, благо это было тоже военное общество. И не он один, а и Шувалов, и Бабич, и Виноградов, и Жибуртович,— вся первая ударная пятерка нашего хоккея. Правда, тогда не было цельных пятерок, были тройки форвардов и пары защитников. И футбольная команда собралась у них приличная,— почти все они играли и там. И очень сильный велосипед... ВВС разоряли остальных как птичьи гнезда. Приглашенных прежде всего прельщали отдельным жильем. Короче говоря, если бы и дальше так пошло дело, ВВС превратились бы не только в суперклуб, как «Реал» или «Ювентус», но и в суперобщество. Постепенно все бы лучшие туда перешли.

Этого не случилось по общеизвестным причинам.

А так-то ведь возможности были неограниченными. Мой друг Марк Бернес поведал мне когда-то такую историю. Морозным зимним вечером раздался у него дома телефонный звонок, и уверенный голос, поинтересовавшись, не занят ли артист, доверительно сообщил, что его приглашают к товарищу Сталину. Прямо сейчас. Он сказал:

— Мы скоро за вами заедем...

Марк, по его словам, обалдел, испугался, но в то же время краем сознания, облегченно, хотя и с оттенком разочарования, сразу понял, о каком Сталине идет речь. Это подтвердилось, когда он увидел лётную форму заехавшего за ним офицера. Бернес был необыкновенно популярен, а среди летчиков еще и дополнительно — со времен своей роли в фильме «Истребители» и песни там.

Ехали долго, на дачу, в машине почему-то оказалось холодно, и, едва сели за стол, Марк налил себе рюмку, для сугреву, хотя обычно был к этому равнодушен. Однако сосед задержал его руку: «Да вы что! Не по команде...» Тут действительно поднялся хозяин и провозгласил первый тост — за отца и учителя! — после чего можно было держаться вполне вольно. Компания была сборная,— военные, артисты. Был там и Бобер. Они с Бернесом всегда испытывали друг к другу явную симпатию.

...Много знакомых лиц и просто знакомых можно было встретить на футболе. С иным столкнешься и удивляешься: почему он здесь? Но были люди, посещавшие стадион регулярно, знатоки, завсегдатаи. Скажем, среди литераторов... Молодые еще поэты Евг. Евтушенко и Роберт Рождественский. Они ходили, разумеется, раздельно. А вот драматурги почему-то чаще всего вместе,— обсуждали, смаковали, чувствовали себя гурманами. Старейшиной у них был Алексей Николаевич Арбузов, а рядом располагались Исидор Шток, Леонид Малюгин, Александр Гладков, Леня Зорин... Тесно примыкал к этой сугубо театральной публике и прозаик Юра Трифонов. Они и на чемпионаты мира вместе ездили туристами, и на Олимпиады. Для Арбузова все это вообще составляло половину жизни. Вот вижу его на Рижском взморье, в старой еще столовой на дюнах, слушающим во время обеда репортаж. Перед ним стоит на столе, среди тарелок, редкость по тому времени — японский транзисторный приемничек, проводок тянется к уху. Арбузов рассеянно ест, увлеченно внимая тому, чего не слышат другие,— вздохам стадиона, волшебной скороговорке Синявского.

Когда вступили в строй Лужники, я большей частью ходил туда с Яном Френкелем. Приезжали заранее, гуляли вдоль реки. Деревца, высаженные на территории, были совсем еще тоненькие. Народ валил валом.

Вот тогдашние клубы вполне могли быть на самоокупаемости.

Почему-то чаще всего встречали мы там сурового с виду Бориса Панкина.

О Трифонове. Недавно приезжавшая в Москву женщина, профессор Калифорнийского университета, занимающаяся творчеством Трифонова, спросила:

— Правду говорят, что ему не хватало денег, и он вынужден был писать о спорте?..

Какая чепуха! Если уж на то пошло, то как раз увлечение спортом отнимало ужасно много времени. Не только посещение матчей,— мы с ним, например, без преувеличения, часами говорили по телефону о футболе. Да и не только по телефону,— ведь жили несколько лет в одном подъезде,— его квартира находилась непосредственно под моей. И не со мной же одним он о спорте говорил. В ущерб работе? Не думаю. Это было скорее не просто увлечением, но и средством снятия напряжения, сверхнагрузок.

А написал о спорте он в общем-то немного. Вот на полке, среди прочих, подаренных им, весьма скромная книжечка «Игры в сумерках» с кратким предисловием Андрея Старостина (издательство «Физкультура и спорт», 1970). Надпись на титульном листе: «Дорогому Косте — другу и болельщику. Ю. Трифонов. 26 авг. 70 г.»

В недавно опубликованном его давнем уже рассказе говорится, впрочем, о том, что эта страсть с годами поослабла, и даже странно вспомнить, сколь сильно она жгла. Это верно, у меня тоже похожее ощущение. Причина, полагаю, не только в возрасте, занятости, усталости, но и в самом футболе. Тем не менее и в последние годы Юра звонил порою вечером, пропустив последние известия,— например, после театра,— и спрашивал своим, только по первому впечатлению флегматичным голосом:

— Не знаешь, как там сыграли?..

Не хватало этой малости, чтобы спокойно лечь спать.

Но это уже в конце...

Ну, а что же те два футбольных гиганта, те две сверхкоманды послевоенных лет? Иногда они выбивались повыше, особенно «Динамо», потом опять, не в состоянии удержаться, срывались, соскальзывали. И вдруг, четверть века спустя после Победы, они под-

тянулись, подобрались, пошли как бывало, плечо в плечо, оставив остальных сзади. Тренировали их бывшие корифеи, свои блестящие игроки — В. Николаев и К. Бесков. Зима выдалась ранней, последние московские матчи играли по снегу.

Так и пришли они к финишу — вровень, и победителя должна была решить дополнительная встреча — в Ташкенте.

Оказалось, что даже две,— первый вечер окончился ничейно.

Главную, драматичнейшую, игру запомнили многие. Показывали ее из Ташкента прекрасно, впервые у нас — крупно скамейки запасных, тренерские, столь меняющиеся лица.

Трифонов был спартаковцем, своего интереса к этому матчу не имел, он мог смотреть спокойно, развалясь. А я-то за армейцев. Однако просто для поддержания накала пошли мы с ним в пари (он в данном случае — за «Динамо»), заложились на ужин. То есть проигравший угощает второго ужином,— без ограничений в заказе. И не одного, а приглашается и Андрей Петрович,— для еще более профессионального анализа и разбора.

Когда счет был 3:1 в пользу динамовцев и до конца оставалось девятнадцать минут, Юра позвонил мне: «Извини, старик»,— сказал он с пониманием. «Что делать!» — ответил я и положил трубку.

Матч окончился со счетом 4:3 в пользу ЦСКА. Это были поистине звездные минуты армейского клуба.

Дня через два-три мы пришли втроем в ресторан нашего писательского Дома. Народу было мало.

— Тоня,— обратился я к официантке,— какой там есть французский коньяк?..

— Совсем-то уж не раздевай! — улыбнулся Юра.

Что еще сказать? Мы интересовались не только футболом и хоккеем. Мы, если угодно, вообще знали спорт, были, что называется, широкими специалистами.

И все-таки футбол!..

У нас часто говорят, что это народная игра, и подчас забывают, что футбол — народное зрелище. Прекрасно понимал это Иван Алексеевич Лихачев, легендарный директор московского автозавода,— сперва еще АМО, потом ЗИСа. Теперь это ЗИЛ —

в его честь. Лихачев, между прочим (мир тесен!), был довольно долгое время соседом Твардовского по дому, его квартира находилась за стеной, балконы рядом.

Это был поистине народный директор, член партии с семнадцатого, красногвардеец. Он понимал, что рабочим для хорошего настроения нужна своя классная команда. Торпедовцев любила и вся Москва. Еще бы! Там играли в послевоенные годы сам Понамарев, братья Жарковы, Гомес, Мошкаркин, пришедший из «Спартака» Акимов. Впоследствии накатилась новая торпедовская волна мирового класса — Стрельцов, Иванов, Метревели, Воронин, Маношин... Но это потом.

Владимир Мошкаркин, известный футболист, в дальнейшем ответственный секретарь Федерации футбола, рассказывал мне, как вскоре после войны вся команда попросилась на прием к Лихачеву — по жилищному вопросу.

Пока рассаживались, он бросил недавно смещенному за какую-то провинность бывшему торпедовскому капитану:

— Ну, что пригорюнился? Ты ведь только с горшка упал, обмарался немножко. А если я упаду, представляешь?..

Все сдержанно засмеялись. Он умел говорить с людьми.

Они высказали свои просьбы. Он помолчал с минуту, задумавшись. Потом резко встал:

— Ну, пошли!..

Они удивились и спустились вместе с ним. Внизу их ждал автобус. Лихачев повез их к баракам, где жили, скученно, тесно, бедно, рабочие горячих цехов. Среди них было еще немало женщин, подростков. Он ходил по баракам, там было темно после дневного света,— команда за ним. Он здоровался, беседовал с людьми, многих он знал в лицо и по имени-отчеству. Он просил еще потерпеть, обещал, что скоро построит для них дома, и они понимали его и верили. Кое-кто постарше обращался к нему на «ты», по давней рабочей традиции.

Потом Иван Алексеевич и футболисты вышли из барака и сели в автобус. Ни он, ни они на эту тему больше не говорили.

Тот эпизод Мошкаркин запомнил на всю жизнь. И другие, наверное, тоже. Это был урок того, что они с народом, что они для народа.

...Футбольный ветер. Нет-нет да просвистит он в ушах, далекий, наивный ветер моей молодости.

Мне доводилось общаться с людьми из большого футбольного мира, со всенародными любимцами. Это всегда выходило не специально, а естественно. В их бесхитростных рассказах (как, надеюсь, и в этом моем) всегда было полно живых деталей и подробностей. Что это, мелочи? Да нет. За ними, думается, встает неповторимое время. Не вспомнишь, не расскажешь — многое пропадет, потеряется.

ПО ГРИБЫ

Пойдемся по грибы,— сказал поэт. Так и вижу эту картину. Женщины в халатах, даже в шлепанцах, лениво, поздно, с детьми. В руках полиэтиленовые мешочки. Такие скорее говорят не по грибы, а за грибами,— как в булочную за хлебом,— будто грибы наготове, ждут... Дачники.

А где же охота, страсть? Промысел, наконец,— пусть любительский, непрофессиональный? Знакомые рассказывали, ездили на машине за шестьсот километров, жили в школе, привезли сто пятьдесят килограммов белых. Можно и так. А я когда-то ездил с Володей Угловым в его деревню, под Дмитров, с ночевкой. Кое-что набрали, он даже сфотографировал меня, увлекшегося, на корточках, перед грибом, с ножиком в руке. Можно подумать, что я позирую. Но ведь тоже скучно как-то.

В раннем детстве, в заводском поселке, бегал с матерью за опятами. Хорошо помню: это была еда, ведь еще не отменили карточки,— те, давние, начала тридцатых. Да и в войну, пока еще был дома, притаскивал по полумерной корзине маслят и лисичек.

Однако я не о том. Вспоминаются другие утра.

Просыпаюсь еще в темноте,— будильник не понадобился. Домашние спят. Наливаю чаю из термоса, беру корзинку, выхожу. В ней еще завтрак с собой — жена положила.

Тьма движется, рвется, в ее разрывах густой, плотный, почти неподвижный туман. В него боязно входить — как в воду. Эти ощущения на всю жизнь остро знакомы мне по войне и армии, по ранним постам и дозорам.

Сейчас это место, конечно, плотно застроено, а тогда сразу кончилась улочка, и уже картофельное поле, бугристая тропинка среди ботвы. Слоеный туман пластами, а справа что-то темнеет совсем невдали. Это дубовая роща.

Осенью, уже в середине октября, гуляли там както — мы с женой и пятилетняя дочка. Октябрь стоял литой, чистый, дубы еще прочно держали ржавеющую листву, на земле меж стволов ее было немного. И вдруг я увидел гриб. Разумеется, белый. Я не поверил глазам: может быть, лист лег так обманно? Нагнулся — боровик, самый настоящий.

— Галя, иди сюда,— позвал я дочь, и пока она подбегала, а потом ахала,— я, не меняя положения, огляделся. Так и есть: еще два. Я выкрутил их из земли все три, как выкручивают электрические лампочки. Они были крепкие, приятные не только на взгляд, но и на ощупь, без одной червоточинки.

— Я тоже хочу-у,— протянула дочь.

— Ищи,— ответил я ободряюще, потому что, выпрямившись, увидел еще один. Но как я ни наводил дочку на гриб, она его не замечала, да и жена тоже. А я не мог ждать, потому что, боясь потерять его из виду, чуть отступил, и краем глаза опять обнаружил два. Всего, в течение получаса, я нашел там одиннадцать крупных сильных боровиков. Обе мои спутницы — ни одного. Их глаза словно что-то околдовало. Но они огорчались недолго: это была наша общая удача.

Дочка, как будто знала, взяла с собой на прогулку маленькую плетеную корзиночку с куклой или совком. Мы, опростав ее, с трудом расположили нашу добычу. Корзинку несла жена и, споткнувшись, уронила ее. Грибы раскатились, у одного отлетела шляпка.

Сейчас я оставил дубовую рощу в стороне, пересек бетонку и пошел осинником вдоль дороги, а не вглубь, совершая этот краткий прочес чисто инстинктивно. И я был вознагражден. Уже стало светло, во всяком случае, можно было различить, что́ у тебя под ногами. И вот среди хвощей я увидел высокий, на длинной, мощной ноге, яркий, как очищенная морковка, подосиновик. Лиха беда начало! Я аккуратно срезал его, еще раз поразившись грибной загадке леса. Вчера днем, при ярком свете, я, гуляя, проходил здесь и готов был поклясться, что его не было. Откуда же он взялся? Не мог же он вымахать такой за одну ночь!

Я пересек придорожную полоску осинника и вышел к соснячку.

Раньше тут, у края большого леса, была свалка, потом ее разровняли, разгребли, а по́верху лесничество

высадило молоденькие сосенки. Теперь они распушились и стояли сплошным плотным массивом, их мягкие ежики касались друг друга. Разумеется, после прохода по осиннику мои брюки, заправленные в кирзовые сапоги, были совершенно мокры, что особенно чувствовалось коленями. Теперь же, когда я вломился в соснячок, на меня обрушились с упругих лап целые ушаты воды. Зато под ногами была россыпь маслят — маленьких, крепких, скользких. Я целился на гриб более серьезный, но решил не пренебрегать и ими, больно уж они были аппетитные. И потом, ведь неизвестно: наберешь ли что вообще. Выбравшись, я отряхнулся всем телом — так отряхивается вылезшая из речки собака. Пиджак на мне, понятно, был бросовый, но в правом наружном кармане, как всегда, лежала записная книжка, которая отчасти пострадала. Я, правда, ее сразу вытащил и оттряс с нее воду. Именно по ней оказалось возможным узнать, что это было летом пятьдесят шестого года. Там сохранилось только что написанное мною стихотворение. Если бы кто-пибудь рассказал мне тогда о его дальнейшей судьбе, я бы не поверил и только отмахнулся. И никто бы не поверил. Но нашелся человек, увидевший в нем будущую песню. Не стану говорить, насколько оно, положенное на музыку, распространилось. Скажу только, что его автор получил, без преувеличения, десятки тысяч писем. На Всесоюзном радио они помещались в огромных, стоящих у стены, мешках. Главным образом, письма от людей, которым помогла в жизни эта песня.

Зачем я сейчас об этом говорю? Просто думаю, что в том мокром соснячке новое стихотворепие могло быть безвозвратно смыто со страницы.

Через десять лет эту покореженную, в потеках, книжку выпросил у меня критик, составляющий домашний литературный музей. Подари да подари! Я отдал, тем более, что был ему обязан. Он, правда, переснял для меня две странички со стихотворением.

Бедняга, он рано умер.

А один известный прозаик рассказал мне как-то, очень давно, как ездил вместе с Твардовским в Сталинград, на Волго-Дон, жил с ним в одной комнате, и днем, когда поэт задремал, а его записная книжка лежала на столе, вырвал из нее на память листок (он утверж-

дал, что листки плохо держались) с автографом стихотворения «К портрету» («Глаза, опущенные к трубке»).

Вряд ли Твардовский не заметил пропажи, но ничего не сказал.

...Тем временем я уже был в настоящем, глухом и глубоком, лесу. И грибов в моей корзине, висящей на плече, сильно прибавилось. Сперва я еще держал в уме — сколько их, сладко вспоминал, как нашел каждый, ясно представлял их себе в своей корзине, но потом сбился со счета. Я проходил столь непохожие друг на друга разные секторы леса — как бы отдельные леса́ — и брал только белые (их попадалось немного), подосиновые и подберезовые. Все, идущее в засол, я оставлял, да и иное, годящееся на жарево,— скажем, густо попадавшиеся ломкие сыроежки. Я их попросту не замечал, настолько мое зрение было настроено на другой режим. Однажды я, присев, взял гриб, по привычке огляделся и совершенно случайно заметил в шаге от себя замершего крупного ежа. Было хорошо видно, как он дышит.

То же самое и со слухом: он как бы отключен. Лишь изредка,— словно вынули заглушки,— хлынет в уши птичья разноголосица. Только ноздри жадно вбирают стойкий грибной запах.

Лазание на карачках под еловыми лапами, сдирание с лица липкой паутины, раздвигание кустов, оттягивание ветвей — без конца. Все это прекрасно. И однажды, не тогда, а через много лет — надоело. Захотелось войти в лес не отягощенным конкретной престижной задачей, а увидеть, услышать, вобрать в себя все это. Жена сказала как-то: это у тебя от радикулита... Я засмеялся: может быть, но лишь отчасти. Не поясница болит — душа.

Но ведь и времени сколько прошло! Более чем четверть века спустя я написал:

После дождичка в четверг
Тьма опят и сыроежек.
Но смотрю не вниз, а вверх,
Где сверканье высей свежих.

Где такая синева
Над намокшими стволами,
Что стремлюсь туда сперва
С благодарными словами.

Именно так — в лесу и вверх посмотреть хочется!..

А тогда я все брал и брал грибы, один другого лучше. И как давно сбился со счета, так давно и с дороги сбился. Вернее сказать, не с дороги — с пути. Должен признаться: я неважно ориентируюсь на местности. Врожденного компаса внутри у меня нет. Я обнаружил это еще в детстве, а во время войны не раз должен был прилагать самые напряженные усилия, запоминая приметы и ориентиры. Это относится не только к лесу, но и к городу. Чуть отвлекся,— все, заблудился. Хорошо, что в армии мы редко бываем одни.

А тут сперва еще держишь себя в руках, прикидываешь, примериваешься, но вскоре, естественно, про все забываешь. Опомнишься: куда это меня занесло? Ясно одно — не знаю. С опытом твердо усвоил для себя: не идти туда, куда *кажется* нужно идти,— это-то уж верная ошибка.

И все-таки убежден: одному по грибы ходить лучше, чем компанией. Соревновательный зуд здесь неуместен.

Тихо. Только птицы поют. Ни поезд не прослушивается вдали, ни машины. Корзинка полная, поставил ее в траву, сам сел рядом. А хорошо!

Встретится кто-нибудь, совестно спросить: где я? А кто встретится? Лес мрачный, давно уже никого не было. Или попадется вдруг на тропинке мужик с собакой,— вздрогнешь от неожиданности,— он зыркнет взглядом и пропал. Или женщина, та вскинет глаза настороженно, строго,— мало ли что.

Через много лет рассказали ужасную историю: здесь, на краю городка, в лесочке, изнасиловали вечером в темноте девушку — старшеклассницу — ее же сверстники. Как это чаще всего случается, их быстро задержали. Среди них был тихий вежливый мальчик, хорошо знавший ее и ее родителей. Он не предполагал, что это она. Поэтому на суде ему было особенно *неудобно*. Так и сказал.

Скрытен лес. Чего только там не бывает! — словно освобождается что-то в душе: и хорошее, и плохое.

...Сжевал хлеб с сыром,— мало положили. Поднял корзину за лямку из широкого эластичного бинта, укрепил на плече, пошел. И тут лес кончился. Открылось поле высокой ржи с васильками в ней и деревушка невдали, загороженная этой рожью. Я не выдержал,

опять опустил корзинку и сел на пенек. Одежда на мне давно уже высохла. Я сидел и смотрел на поле ржи, на васильки, на серые крыши деревни, на синее, с плотными мелкими облачками, небо над спокойной землей.

Потом я отыскал тропинку через поле, вошел в деревню, все еще не догадываясь в какую, пошел вдоль улицы и, лишь увидев вывеску сельпо, понял — где я.

Мне еще хотелось есть, я нашел в кармане трехрублевую бумажку и несколько белых монеток и поднялся по высоким ступенькам. В магазине имелись чешские мужские костюмы, французские кофточки, отечественные электроинструменты, тома Большой серии «Библиотеки поэта» и целая батарея «Боржоми». Кроме того, был хлеб, сахар, конфеты, крупы, рыбные консервы и разные разности.

Денег у меня хватило на двести граммов медовых пряников и бутылку «Боржоми», которую мне отпустили с нескрываемым недоумением.

Вскоре я уже шагал по дороге. До дому было девять или десять километров. Транспорта не наблюдалось. При выходе из деревни мне попался последний в этот день гриб. Он торчал даже не на обочине, а скорее на краю самой дороги, утоптанной до последней твердости. Крепкая прямая ножка и сверху на нее плотно натянута темно-оранжевая купальная шапочка. Вот такой он был, отважный грибок — подосиновик. Я не мог оставить его там в одиночестве.

Корзина моя, прикрытая сверху листьями орешника, была тяжелая, мучила плечо. Но ведь своя ноша не тянет.

Я шагал по дороге и представлял себе, как войду в свой дом, как в кухне поставят на табурет мою корзину и с восторгом начнут вынимать по одному отборные, столь знакомые мне экземпляры, как я буду тотчас вспоминать каждый, слушать похвалы и снисходительно улыбаться домашним.

БИЛЛИАРДИСТЫ

Деталь детства, двора, пионерского лагеря. Не главная, конечно, но запомнившаяся — биллиард. Маленький, крохотный даже. Вместо кия — палка, совсем не гнущаяся, почти одинаково толстая с обоих концов. И никелированные блестящие шарики от подшипника — как из какой-нибудь машины. Пустишь пару вдоль борта, и они оба охотно, юрко заворачивают в лузу. Неинтересно, потому что и выиграть, и проиграть можно только чисто случайно.

А потом — война. И между прочим, в конце, в Вене, кажется, увидел мельком странный биллиард — без луз и с тремя разноцветными шарами. И опять иная жизнь, и через много лет Прибалтика, Дубулты, ветреное дождливое лето, дощатый неуютный «Клуб», но в нем два настоящих с т о л а, два биллиарда и две партии шаров, тоже настоящих, слоновой кости.

Тридцать лет спустя я захотел купить телефонный аппарат с электронной памятью — «Елта», и знаменитый генеральный директор сказал: «У нас есть трех цветов: коричневый, красный и слонкость...»

Так вот, если вам говорят: с л о н к о с т ь, будьте уверены, что это не слоновая кость, а пластмасса. И биллиардные шары теперь тоже чаще всего пластмассовые, желтые, рыхлые даже по виду. И отскок у них, конечно, не тот, старые биллиардисты говорят о них: «Как из ваты...»

Впрочем, выросли уже многие игроки, которые легко привыкли к ним, поскольку никогда не встречали натуральных.

А те, чудом сохранившиеся, были из слоновой кости, правда, не в идеальном состоянии, изрядно побитые, со щербинами. А кажется, у «семерки» после хорошего удара выскакивал время от времени изнутри острый клин, тоже костяной, естественно.

Все это фактически не запиралось, и однажды шары пропали. Заявили в милицию, и та без тру-

да задержала в Риге двух мальчишек, пытавшихся продать их на рынке. После этого случая ключи от биллиардной нужно было брать у администратора.

Публика была пестрая в смысле игровой подготовки,— одни прошли когда-то выучку, другие ничего не умели. А кии ужасные, немеленные, без наклеек. Зато звучало: «стол», «через всю тележку», что означало: через все поле. Или: шар ножки свесил, то есть готов упасть в лузу. Сетки под лузами, плетенные из шнура сачки, куда должны падать шары, иногда прорывались, и шар пролетал как баскетбольный мяч сквозь кольцо и рушился на пол с оглушительным грохотом. Унизительная обязанность вынимания из лузы шаров противника. Впрочем, иные предпочитают вытаскивать добычу сами, взять шар, еще раз взглянуть на номер, подержать в ладони, поместить на свою полочку.

Я постоянно играл там с известным артистом, в ту пору исполнявшим в театре роль великого поэта. Иногда, прогуливаясь в одиночестве по берегу, с плащом на руке, он отчетливо принимал и фиксировал его позы.

Мы же с ним тоже словно участвовали в одном спектакле — двух актеров. Мы играли на интерес. Он играл лучше меня. Когда я начал выигрывать все чаще, соперничество это постепенно расстроилось.

Как бывает в нашей работе, различные подробности и впечатления незаметно откладываются в памяти и душе, чтобы впоследствии — разумеется, не всегда и не полностью — вырваться наружу.

Не скоро написалось это стихотворение — «Слоновая кость». В нем нет ветра, дождя, Прибалтики, деревянного клуба, народного артиста, украденных шаров. Это все отошло в сторону.

Из биллиардного шара,
Надколотого при ударе,
Обломок бивня из нутра
Торчит, с другим обломком в паре.

Осколок бивня, как ребра,—
На память о бойцовском даре
Биллиардиста иль слона.

И островом уходит в дали
Стола зеленая страна.

Шаров коническая гроздь.
Удара сильного гримаса.
Пощелкивает кость о кость,—
Вы слышите, что не пластмасса.

Это пощелкивание и сейчас стоит у меня в ушах, и идет оно не из Прибалтики.

В Центральном Доме литераторов биллиардная долгое время, пока не было нового здания, размещалась наверху, на антресолях,— потом эту комнату отдали библиотеке.

И вот внизу, в Дубовом зале, проходит какой-нибудь вечер или собрание, а там кто-то открыл дверь и сразу прикрыл, но пощелкиванье благородной полированной кости донеслось явственно.

Впоследствии биллиардная благополучно переехала в подвал нового, пристроенного к старинному, дома.

Приятное это зрелище — настоящая, удобная, солидная биллиардная. Знатоки произносят, разумеется: бильярдная, бильярд. Кии, стоящие в пирамиде, как оружие. У иных — по большей части у игроков заурядных,— кии свои, индивидуальные, в футлярах и чехлах. Они слегка пружинят в руке, как хорошее удилище, спиннинг. Иногда они понизу даже инкрустированы. Зелень сукна, уютные абажуры над столом. В этом что-то давнее, дачное.

Особенности каждого стола, известные завсегдатаям. Лузы бывают тугие или легкие, податливые. Нрав каждой нужно знать, как характер женщины.

Номера на шарах. Играют, понятное дело, в пирамиду. Перед началом маркер устанавливает шары, чтобы крупные были с п р я т а н ы внутри треугольника. Заказы перед ударом. «Двенадцатого от двух бортов в левый угол». «Восьмого к себе в середину». Упадет не туда — не считается. Падающий в лузу «свой» или шар, перелетающий через борт,— пять очков. Минус пять, разумеется. Все это элементарно. А вот Василий Барахвостов, профессионал, он жил этим, опубликовал в журнале «Наука и жизнь» (и не в одном номере) как бы пособие для начинающих: перечень ударов, «винтов» и «подкруток», да еще с рисунками.

Одно время у меня п р о р е з а л а с ь к л а д к а. Как ни ударю — все там. Но оказалось, и это не главное. Главное — не дать забить, искусство о т ы г р ы ш а. У истинного мастера «свой» шар всегда около од-

ного из коротких бортов. Я после каждого своего удара направлялся туда, где были все шары, пока мне не посоветовали: «Ты не ходи, жди его здесь».

И точно. Партнер убаюкивал меня, как выражаются тут, не бросался, терпеливо выжидая своего шанса, моей ошибки. Знатоки говорили: «ла́вит». В результате мне это надоедало, и в какой-то момент я терял бдительность, подставлялся.

Играли постоянно одни и те же, свои,— писатели, артисты, выросшие длиннорукие писательские дети. Здорово играли мои институтские приятели — Вадим Сикорский, Семен Сорин. Конечно, тренированность, опыт, но в конце концов способности тоже нужно иметь.

А до войны проводился даже официальный чемпионат СССР по биллиарду. И наш маркер Николай Иванович Березин был чемпионом. Выступал он за «Спартак». И вообще, с кем он только в жизни не играл,— с Чкаловым, с Маяковским!

Таких, как я, он почти не замечал, даже не отвечал на вопросы и приветствия. Иногда, когда бывал свободен стол, он играл со мной, давая мне чудовищную по огромности фору, и все равно выигрывал. Он был уже стар, у него тряслись, ходуном ходили руки с кием. И тем не менее — попадал.

Так он относился ко мне до тех пор, пока я не зашел туда с Андреем Старостиным.

— Андрей Петрович! — бросился к нему Березин.— Здравствуйте. Хотите сыграть?..— и тут он заметил, что мы вместе.

— А вы... желаете? — спросил он меня впервые.

Потом наш Дом посетил Гагарин, почти сразу же после полета. Я выступал на этой встрече, подарил ему пластинку с песней «Я люблю тебя, жизнь», а он, сияя, тряс мою руку.

На другой день Николай Иванович сказал мне:

— У вас нет фотокарточки, где вы с Юрием Алексеевичем? Надпишите мне на память, если можно...

С тех пор, когда я иногда заходил в биллиардную, он бросался к грифельной доске с фамилиями записавшихся и ставил меня над ними, первым.

— Он уже был сегодня, я совсем запамятовал,— объяснял он недовольным. Вступать с ним в конфликт не считалось хорошим тоном.

Впрочем, постепенно я уже остыл к биллиарду. Может быть, понял, что на это уходит слишком много времени, а ощутимых результатов не видать, или попросту надоело.

Когда Николай Иванович Березин умер, болтали, что он оказался миллионером. Уверен,— чепуха! Знаете этот бродячий сюжетный штамп: голодная старушка-побирушка спала на матрасе, набитом купюрами не самого малого достоинства, что обнаружилось, конечно, тоже после кончины. Досужие байки завистливого обывателя.

Разных известных людей встречал я там, в биллиардной. И среди них, нечасто, хорошо знакомого поэта, моего товарища,— как мне всегда казалось, игрока по натуре. Он и в этом деле знал толк. И потом ведь влечет,— постоять, словцом перекинуться не с кем попало. В своем клубе.

И вдруг узнаю, через много лет, что у него на даче — с т о л. Не с шариками же подшипниками, наверно, но, может, с пористыми пластмассовыми шарами, дрянным протертым суконцем? Не похоже. И вот встретил его как-то, и он пригласил зайти.

Стол был первоклассный, не придерешься. Светлела по зеленому полю россыпь шаров, а рядом, на зимнем окошке, громоздились, как у всех нас, рукописи, черновики, книги. Хозяин предложил сыграть, я, естественно, не мог ему соответствовать.

Идя от него, я сочинил несколько строк, записал шутя, просто для памяти, сейчас с трудом отыскал этот листочек.

Были артисты —
Биллиардисты.

Все же был пресен
Гений Березин.

Мало в нем флёра,—
Только лишь фора.

В ком-то задатки,—
Нету загадки.

В общем, другое
И дорогое

Ищется в этом.
Вот нам и ведом

Трепетный Саша —
Белая сажа...

Почему белая сажа? Ну, как бы вам объяснить... Превосходный поэт, интеллектуал, пишет стихи, переводит грузинских поэтов, смотрит на морозный закат за окном. Потом берет кий в правую руку, ощущая его приятную легкую тяжесть, прочно ставит на сукно растопыренные пальцы левой, плавно кладет на них кий и объявляет заказ, не вслух, про себя. Шар, помедлив, валится в лузу,— может быть, и не тот, что заказан. Какая, собственно, разница? Поэт отводит локоть назад, бьет снова. Шары отскакивают друг от друга с характерным сухим треском. Он играет.

В комнате еще не совсем темно, и он не зажигает лампу. Отсутствие партнера ему, видимо, тоже ничуть не мешает.

Потом он кладет кий поперек стола, включает свет, придвигает табуретку к подоконнику и продолжает работу.

О КУРАХ, ПЕТУХАХ И ДРУГИХ ПТИЦАХ

Когда нашей дочери было четыре года, мы постоянно жили в девяноста километрах от Москвы, в маленьком домике под огромными липами. Двухсотлетняя липовая аллея — это было единственное, что сохранилось здесь от прежней, усадебной, дворянской жизни.

До Москвы ходил паровик, медленно, нудно,— без крайней надобности не ездили.

Однажды дочка заболела,— то есть что значит однажды, дети болеют не однажды! — скажу: когда она заболела в тот раз и уже стала выздоравливать, доктор порекомендовал для восстановления сил сварить ей куриный бульон. Битая птица в городке почему-то не продавалась, и купили на местном рынке двух курочек, одна из них оказалась петушком. Были они молоденькие, беленькие, тощенькие,— инкубаторская продукция.

В нашем доме, разумеется, не нашлось человека, который бесстрашно решился бы лишить их данных им, пусть и таким поточным способом, молодых жизней. Пока что парочку поместили на кухне, в фанерном, окованном по краям жестью, ящике с клеймом «Чай Грузия», взятом нами когда-то для перевозки книг в продуктовом магазине.

На рассвете петушок попробовал прокукарекать, хриплым, еще не поставленным голосом. Только этого нам не хватало! Но и это не все. В ящике обнаружилось яйцо. Не золотое,— вполне простое. Но яичко! На другое утро опять, и так каждый день. Это обстоятельство окончательно решило их судьбу: пусть живут, ладно.

Наступила весна, еще холодно, кое-где ледок, но их выпустили около дома. Они выглядели исключительно дружной парой, а он оказался настоящим кавалером. Если он находил что-нибудь лакомое, какое-либо осо-

бое зернышко или корочку, он не склевывал это с самодовольным петушиным видом, а всегда звал ее, хотел угостить, заботился. Она же не бросалась со всех ног, а сдержанно принимала знаки его внимания.

Держали кур и соседи. Но то были настоящие, породистые, пестро-серые круглые куры. А петух! Золотогрудый, с пышным разноцветным хвостом и с гребнем, лихо сдвинутым набок. Он не считался специально забиякой, но готов был постоять за себя, за свой гарем, за свои владения.

Прошлым летом я видел случайно, как во двор завернули гуси. Они валко шли по кучерявой приканавной травке вдоль липовой аллеи,— вожак впереди. Пародия на вольный и стремительный поднебесный строй. И тут вожаку вздумалось, неизвестно зачем, войти в калитку. Это был крупный, мощный гусак. Остальные последовали за ним.

Петух заметил маневр вовремя и мигом загородил гусаку дорогу. Тот остановился, явно обескураженный. Петух угрожающе вытянул шею, гусь на это не реагировал. Тогда петух кинулся на него, гусак отбросил его основаньем крыла, как плечом: «Чего ты!» Он был больше петуха в три раза. Петух кинулся опять, гусак снова отшвырнул его, однако постоял, подумал и медленно развернулся. Вся его компания двинулась за ним.

Вот такой был петух.

Сейчас хозяева тоже выпустили его с курами. Двор был один, и они паслись шагах в двадцати от наших. А наши так и ковырялись парочкой. Они не смели приблизиться к их обществу, как существа иной расы, низшей цивилизации.

Но постепенно осмелели. Особенно она. Вышагивая голенастыми ногами, она уже поклевывала что-то рядом с теми, аристократками. Она неважно смотрелась около них, эдакая простушка, выскочка. Но сама она этого уже не чувствовала.

А недавний ее друг теперь пребывал в одиночестве. Правда, порой он забывал о своей гордости, звал ее, делая вид, что нашел нечто необыкновенное, и она снисходительно приближалась, рассматривала, но скоро уже перестала верить его приемам. Она толклась уже в самом центре того пестро-серого клана. И разноцветный роскошный петух, заходя бочком и чертя крылом

по земле, порою оказывал и ей знаки своего кратковременного царского внимания.

И тут наш петушок-однолюб воистину озверел. Он бился с прекрасным властелином куриного мира буквально на смерть, иногда с временным успехом. Такова была его страсть и ненависть. Но силы оказывались слишком неравными.

Он был уже без одного глаза, с расклеванным в клочья жалким гребешочком, битый, расхристанный. Он, как собака, стал бросаться на людей. С ним нужно было что-то делать, и его отдали знакомой больничной санитарке, которая, поохав над петушиной судьбой, сунула его в мешок.

Курочка его исчезновения не заметила. Когда же мы переехали оттуда, она так и осталась в соседском избранном стаде.

А спустя... сами решайте, спустя сколько лет, мы, живя поблизости, стали регулярно гулять с внучкой около Цирка на Ленинских горах. Впрочем, это только так называется — «на Ленинских горах» — на самом деле до самих г о р, до обрыва над Москвой-рекой, отсюда довольно далеко.

Когда стоит хорошая, теплая погода, во внутренние дворики цирка выпускают различных животных, и публика — просто такие же, как мы — смотрит на них сверху. Там чистят холеных элегантных лошадей,— и как чистят! — они давным-давно уже сияют шкурой, а их все чистят и чистят. Там весело перелаиваются ученые собаки. Там в переносных брезентовых бассейнах с легкостью носятся друг за другом огромные сивучи, морские львы. Когда им это надоедает, они, поражая своей тяжеловесной, но безусловной грацией, переваливаются с помощью ластов через край и рушатся на специальные столы-стеллажи, на которых греются, нарочито, играючись, огрызаясь друг на друга.

Внучка, как и остальные дети, в восторге.

А там, внизу, еще три медвежонка, за решетчатой дверью клетки на колесах. Двое играют в глубине, а один сидит, свесив задние лапы наружу сквозь железные прутья. Лапы у него как в валенках.

По проспекту летят машины, прокатываются троллейбусы,— никто и не подозревает, какое поблизости зрелище.

Еще мы видели, как медвежат прогуливали на газоне между цирком и музыкальным детским театром, как они учились лазать на березы. Им было по пять месяцев.

А однажды мы шли по лужку, сбоку от цирка, а чуть отступя от здания, под кустами жасмина, бродили две цирковые курицы и с ними важный, крупный, очень самостоятельный петух. Тут же под кустами сидели и болтали тоже явно цирковые ребята, дети артистов, им, видимо, поручили выгулять кур. Петух время от времени приподнимался на цыпочки и громко, победно кричал, а потом продолжал вести себя как ни в чем не бывало.

— Дедушка, можно я подойду поближе, посмотрю, как он кукарекает? — спросила дисциплинированная внучка.

Я, разумеется, разрешил. И вдруг, обернувшись, увидел, что моя внучка застыла на месте, а петух налетает на нее, агрессивно размахивая крыльями возле ее плеч. Она стояла невозмутимо, совершенно неподвижно, лишь слегка отвернув лицо,— потом она объяснила, что вспомнила, как ей говорили: если на тебя нападает собака, не следует от нее убегать.

Я бросился на помощь. До них было метров пятнадцать. Я бежал быстро и был уверен, что петух испугается и отскочит в сторону. Но не тут-то было. Он встретил меня без тени страха. Я размахнулся ногой, как делают, когда бьют по футбольному мячу, и нанес удар, хотя, конечно, и не в полную силу,— больше обозначил. Он же, не сходя с места, ловко ударил сбоку лапой по моему ботинку, так, что я вполне почувствовал это прикосновение.

— У него лапы как у избушки на курьих ножках,— сказала внучка, когда мы отошли. Она совсем не испугалась.

А я неожиданно вспомнил петухов из детства ее матери.

Фонтаны перед цирком не работали, а по зеркалу искусственного пруда, скорее, бассейна, плавал красавец-селезень.

«А этот почему здесь выгуливается?» — с удивлением подумал я, и тут селезень оторвался от воды, легко и очень быстро набрал высоту и пошел-пошел, над крышами, над «Женской одеждой», «Кулинарией»

и «Рыбой»,— туда, за улицу Строителей, и растаял в слабой синеве.

Это был дикий селезень. Он не имел к цирку никакого отношения.

Чего только не увидишь в Москве!

* * *

На Рижском взморье, в Майори, шли по тихой улочке Юрас две женщины. Я знал их обеих, особенно одну из них, жену моего друга.

Было малолюдно, вдали играли мальчишки. Вдруг она вскрикнула и схватилась за голову: ей показалось, что в нее чем-то бросили,— может быть, маленьким камешком. Но идущая рядом приятельница ясно видела, что это был не камешек. Это была п т и ц а, клюнувшая ее спутницу в голову. Сняли косынку, там, среди волос, был хорошо виден след, красная царапина.

Они, несколько потрясенные, пришли к ужину, начали всем показывать и рассказывать. Поверить было бы невозможно, даже при наличии ранки, если бы не свидетельница, женщина уравновешенная и вполне реалистическая.

Муж пострадавшей расстроился, его утешали. Я предложил написать Василию Пескову, с которым знаком, и спросить его мнение. Кто-то высказал гипотезу, что атака произведена в связи с тем, что косынка в горошек, и птица приняла его за настоящий. Другие резонно отвечали, что к иным женским шляпкам прицеплены целые гроздья ягод, и ничего, никто на них не покушается.

Тогда я сказал:

— Послушайте, Машенька, не огорчайтесь. Просто эта птица, я не знаю ее названия, приняла вас за свою, за такую же, как она. Это могло произойти только оттого, что вы живете естественно, бесхитростно и словно слились с природой, растворились в ней. А это же прекрасно. Не огорчайтесь, Машенька!..

МАЛЬЧИК

Мальчик, маленький, лет шести, вышел из дому с санками. На нем был ладный черный тулупчик, схваченный сзади, в поясе, мелкими складками; с белым барашковым воротником и такой же оторочкой понизу. Сейчас бы это казалось модной, изысканной вещью.

Мальчик за веревку выкатил санки из калитки и остановился наверху сверкающего снежного склона. Под синим небом снег слепил глаза, плотный, крепкий. И ребят было полно, больших и маленьких, на лыжах и с санками. Склон тянулся длинно, раскатывал и уносил далеко.

Мальчик лег животом на свои санки и сразу же резво покатил под уклон, только ноги в серых валеночках касались снега, он ими правил, рулил.

Где-то посредине склона, когда он уже разогнался вовсю, стояли на лыжах, он их заметил, большие ребята и девочки. Тут его слегка занесло, он удержал равновесие, но следом попалась выбоина, санки пошли на одном полозе, и его выбросило в снег. Он упал ничком и услышал, как они засмеялись.

Он долго лежал лицом вниз. Потом ему крикнули: «Эй, ты, вставай, чего разлегся!..» Потом кто-то пошевелил его ногой.

Через полчаса, может, и через час, двое таких же, как он, постучались к его матери.

— ...лежит на снегу и не встает.

Она сперва не поняла:

— Как — лежит? Почему?

— Мы не знаем.

— И что, давно?

— Давно...

Она побледнела:

— Он обо что-нибудь ударился?.. Там не было какой-нибудь лопаты?

Они не ответили.

Но она и не ждала их ответа. Она выскочила, как была, от керосинки, в туфлях на босу ногу, с голыми руками. Она издали увидела его и бежала, съезжала со склона — сидя, на коленях, вскакивая и падая, врезаясь каблуками в крепкий снег.

Упав около него, она потянула за плечо, переворачивая, с ужасом ожидая увидеть мертвенно-белое, неживое лицо, и увидела малиново-красную родную рожицу с уже высохшими следами от слез.

Она потом, и в старости тоже, иногда вспоминала эту историю и добавляла:

— А? Обиделся. Каково самолюбие! А я так даже не простудилась...

И еще — года через полтора. Он тяжело болел, два месяца провел в больнице, выжил чудом, и дома ему тоже был прописан строжайший режим. Ни резвых игр, ни резких движений.

Наконец он, немощный как старичок, впервые один отошел от дома, приблизился к пруду. Пруд находился с другой стороны. Собственно, это был небольшой прудик, летом он почти совсем пересыхал, но сейчас стояла весна, и он был полон до краев талой, тяжелой, словно выпуклой водой.

А мальчишки катались на плоту. Несколько мокрых бревнышек, между которыми проступала вода, было на скорую руку связано толстой проволокой и скреплено с одной стороны скобами.

Плот как раз находился у берега, и один знакомец, который, наверное, ничего не знал о его болезни, окликнул мальчика.

И тот, не колеблясь ни секунды, ступил на бревна. Двое ребят оттолкнулись длинными шестами, и плот с удивительной плавной стремительностью отдалился от берега. Пруд оказался глубоким, шесты едва доставали дна. И мальчиком владело удивительное ощущение сладкой, непоправимой безвозвратности.

Испытывал ли он подобное впоследствии? Наверное.

При первом прыжке с парашютом, в любви, при литературном дебюте.

Этим мальчиком был я, а прошло с той поры уже более полувека.

Снежный день



СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ

Детям не все понятно в жизни взрослых, потому что они еще не были взрослыми. Взрослым не все понятно в жизни детей, потому что, хотя они и были маленькими, они иногда забывают об этом.

1

Журнал принесли вечером. Колю как раз послали вниз за вечерней почтой. Раньше почтальоны опускали письма и газеты в ящик на дверях квартиры,— Коля этого не помнил,— но пока они объезжали весь дом, уходило очень много времени, и тогда сделали ящики для всех — внизу.

Коля взял ключ от ящика и вышел на лестничную площадку. Ему уже разрешали самостоятельно ездить в лифте. Он учился в первом классе и был уже не таким легким, чтобы даже самые сильные могли поднять его одним пальцем, нажимая на кнопку вызова.

2

За большим окном лестничного проема смутно качались голые ветви, было совсем темно.

Он несильно нажал на кнопку, будто поманил пальцем, и лифт с какого-то другого этажа радостно бросился к нему. Он кинулся со всех ног, со всех лап, как искусственный механический пес.

Лифт подкатил и остановился. И это был уже не пес, а освещенный изнутри маленький домик или кабина звездолета. Коля взялся за дверную ручку, смело шагнул внутрь и защелкнул дверь за собою. Теперь он протянул руку — это был самый важный момент,— надавил на нижнюю кнопку и провалился вниз, как на па-

рашюте, как под парашютным куполом. Это ему дед однажды объяснил: «Довольно похоже».

А дед у него был участник войны, десантник. Лучший Колин друг — Толя с третьего этажа сказал про его деда с одобрением: «Мировой дед!»

Это было давно, и Коля не понял, что это значит. Тогда Толя ответил отважно: «Лучший в мире».

3

Когда-то Коля гулял с дедом за городом, где бегали, играя, незнакомые мальчишки, и дед придумал такие стихи:

Ребятишки на лугу
От меня тикают,
Но догнать их не могу:
Ноги отекают.

— Знаешь, что значит: тикают? — спросил дед.— Значит: убегают. По-украински.

Но Коля и сам догадался.

— Дед, а дед,— сказал он, подумав.— А разве ноги у тебя отекают?

— Да нет,— ответил дед,— это я так, для рифмы. Они просто болят, они ведь у меня немножко пораненные.

Когда говорили, что он в деда, Коля очень гордился.

4

Коля отомкнул ключиком жестяную крашеную дверцу и сразу увидел, что ящик набит плотнее, чем каждый вечер. И действительно, между двумя газетами был втиснут журнал. Его детский журнал.

Коля опять вошел в кабину лифта, сказал про себя: «Пуск!», нажал на кнопку с цифрой «4» и покуда поднимался, хотел перелистать журнал, но успел только раскрыть — лифт уже остановился.

Он позвонил в дверь,— приятно, когда сам можешь достать до звонка, прошел в большую комнату, отдал газеты отцу, а сам устроился в кресле около лампы. Он стал листать журнал, склонив свою белобрысую голову. Несмотря на позднюю осень, на его курно-

сом носу проступали веснушки. Его голубые глаза были в маленьких золотых точечках, словно тоже в веснушках.

5

Он стал читать новую сказку, которая начала печататься в журнале с продолжением. Называлась она «Лесная история». Он прочел:

«Жили-были два зайца: Кот и
Медведь. Пошли два зайца Кот
и Медведь в лес по ягоды.
Видят...»

(Продолжение в следующем номере).

Ему очень понравилось. Он прочитал еще раз, потом позвонил по телефону и сказал:

— Здрасьте! Попросите, пожалста, Толю. Ты журнал получил? Читал? «Лесная история». У, здорово!..

Отец повернул голову и спросил:

— Что там здорово? Ну-ка покажи!..

У него было плохое настроение еще со вчерашнего дня. Дело в том, что вчера проиграла папина хоккейная команда. Если бы команда знала, как папа переживает, она бы никогда не проигрывала. Но, к сожалению, команда даже не знала, что она папина.

6

Папа прочитал и стал совсем хмурым:

— Что это такое? Что это значит: «два зайца: Кот и Медведь»? — спросил он у сына.— Кто они, эти люди? Или эти, как их?..

В это время в комнату вошла мама, остановилась сзади, положила руку на Колино плечо, а потом слегка поворошила пальцами ему волосы на затылке. Ладонь и пальцы у нее были легкие, прохладные, ему было приятно и хотелось, чтобы так продолжалось долго, может быть, всегда.

— И почему это написано: «видют»? — уже обра-

щаясь к ней, спросил папа.— Опечатка? Не думаю. Вот так и пишут. И, наверное, деньги за это получат... А ты, Николай,— совсем неожиданно закончил он,— давай-ка сюда свой дневник!..

Коля с неохотой освободился от маминой руки, вышел и вернулся с дневником.

7

— Так, ну-ка, посмотрим,— громко, с удовольствием говорил папа.— Что это? Опять четверка? Вот вам и два зайца: Кот и Медведь.

— Была такая картина «Опять двойка». Помнишь? — улыбнулась мама и вновь пощекотала сына за ухом.

— Конечно. Это была хорошая картина.

— А четверка — хорошая отметка, — вставил Коля.

— Бывают лучше,— буркнул папа.— А это что еще: задание по математике: «принести палочки». И это называется задание на дом! Ступай. Спокойной ночи...

— Пойдем, сынок, попьем чайку. А там и спать,— позвала мама.

— Заниматься надо побольше, поупорней,— смягчаясь, сказал вслед папа.— Только титаническим трудом можно чего-то добиться в жизни...

8

На кухне было тепло, уютно. Спокойно светила настольная лампа. А за окном качались тени лип и тополей.

— Надо бы деду позвонить,— говорил Коля, потягивая чай из чашки,— вот ему бы сказка понравилась. Мам, а тебе понравилось?..

— Она же не кончена. А деду звонить не надо. Он себя сегодня плохо чувствовал,— наверное, будет перемена погоды.

— Ноги болели?

— Да, конечно.

9

Глаза у Коли совсем уже слипались, он только добрёл до постели, разделся и сразу же заснул. Ему снилось, что они с дедом гуляют в глухом лесу, им встречаются разные звери, но Коле не страшно, с дедом ничего не страшно, хотя деревья качаются и гудит ветер. Потом постепенно все шумы утихли, и возникли новые равномерные, шаркающие или скребущие звуки за окном. Под эти звуки Коля сладко спал, под эти звуки он и проснулся.

10

Мама легонько трясла его за плечо:

Детки, в школу собирайтесь!
Петушок пропел давно.

Коля потерся щекой о подушку, захотел перевернуться на другой бок и пока переворачивался, проснулся. Он вскочил, сделал зарядку, умылся и начал проверять ранец: все ли положил? Это его дед научил — чтобы ничего не забывать дома. Правда, дед советовал проверять ранец с вечера, перед сном.

И тут Коля вспомнил, о чем они говорили с мамой, и вышел на кухню:

— А дед звонил?

Дед вставал рано и иногда звонил по утрам, интересовался, как идут сборы в школу. Звонил он, главным образом, по субботам, потому что в субботу папа и мама не работали, и дед боялся, что они проспят и не разбудят Колю. А Коля возмущался такой несправедливостью: взрослые в субботу отдыхают, а дети должны учиться. Но это было и причиной его гордости.

11

— Уже звонил.

— Как чувствует?

— Сегодня дед чувствует себя хорошо. Говорит, хоть в лыжный поход.

— Почему в лыжный?..

Они разговаривали, а мама жарила ему яичницу, намазывала масло на хлеб, наливала чай.

— Почему? Да ты что, сынок? Посмотри в окно.

12

Коля отдернул штору и ахнул. Было еще не вполне светло. Но, добавляя света, буквально на всем, что попадалось на глаза, лежал пушистый слой нового, белого, чистого снега. Снег лежал на крышах ближних и дальних домов, на сквере, на сиденьях и спинках скамей, на ветвях лип, тополей, рябин и сирени. Снег покрывал стоящие внизу автомобили: «Волги», «Москвичи», «Жигули» и «Запорожцы». Снег засыпал дорожки и тротуары, и их до сих пор расчищали. Снег заполнял все, он выпал даже в маленькой, но прекрасной и такой знакомой стране Балконии.

13

— У, здорово! — прошептал Коля.— Зима! — и в ушах у него засвистел встречный ветер, а в глазах засверкал мелькающий снежный склон. Он сильно разогнался и потому с трудом объехал девочку, которая стояла внизу, держа за веревочку санки. Но он все-таки разминулся с ней и удержался на ногах, подняв облако снежной пыли.

— Ранец проверял? — спросила мама.

В ранце не оказалось дневника, он остался вчера вечером в большой комнате. Коля тихонько открыл дверь,— папа еще лежал, а спал или нет — не было видно. Зато хорошо был виден дневник на столе, и Коля на цыпочках направился к нему.

— Снег идет? — спросил папа.

— Уже пришел,— ответил Коля, и прикрыл двери.

14

Коля надел ранец и, спустившись всего на один этаж, нажал на кнопку звонка и пошел по ступеням

дальше вниз, почти не замедляя хода. И в ту же минуту хлопнула дверь, послышался знакомый топот ног на лестнице, и его догнал дорогой друг и сосед Толя.

— Привет! — сказал он.

— Привет!..

Они были даже немного похожи друг на друга. Иногда их принимали за братьев. Только волосы у Коли были очень светлые, а у Толи — потемнее, но зато у Толи не было веснушек, а была над бровями челочка и пока еще не хватало двух передних зубов.

— Пошли?

— Пошли!

15

Есть люди, которые выходят из дому в последнюю минуту и прибегают в школу к самому звонку. Наши друзья любили выйти заблаговременно, не торопясь.

Открылась дверь подъезда, и их ослепило на миг яркое, снежное, такое непривычное утро. Возвращались с прогулки соседи с собаками. Некоторых жильцов Коля различал по их собакам, особенно издали, из окна. Хозяин ведь может надеть другое пальто и шапку, а собака уж какая есть. У них в доме были хорошие собаки. Был старый бульдог Бемс, страшный только с виду, был серый сеттер с пушистым хвостом Фалько, был тоже охотничий пес — коричнево-белый спаниель Рем, самый умный и симпатичный пес в доме. А у дяди Пети с седьмого этажа была обыкновенная дворняга, зато звали ее Джонни.

Сейчас все они шли довольные, возбужденные первым снегом.

Коля и Толя уважали собак еще и за то, что они не любят кошек. Дело в том, что на первом этаже у Стеллы Ивановны Жбановой из пивного ларька жила черная хищная кошка Васса. Однажды с ветки упал маленький воробьеныш, еще почти не умевший летать, и Васса стрелой кинулась на него. Воробьи с гневным щебетом тучей кружились над ней, но кончилось бы все это плохо, если бы не Толя, находившийся поблизости. Он схватил палку и отогнал Вассу.

16

Сейчас Васса сидела на листе фанеры, выдвинутом из открытого жбановского окна, и нежилась среди снежного утра. Она щурилась, гибко покачивалась, как пантера, и двигала своим длинным упругим хвостом.

Толя подпрыгнул и хотел ударить по опущенному в этот момент хвосту, но было слишком высоко. И тут же раздался хриплый голос:

— Ты что это? Ты что это делаешь?!

Стелла Ивановна — они ее сразу не заметили — чистила на снегу коврик. На ней была черная кофта, черные волосы гладко причесаны, и лицо выглядело особенно белым, почти неживым, но очень важным.

— За что ты мучишь животных?..— крикнула она Толе.

— За хвост! — вместо него ответил Коля.

Входящий в подъезд дядя Петя услышал и засмеялся. И кажется, пес его Джонни ухмыльнулся.

— Вести себя не умеете! — кричала Жбанова.

— Нет, мы умеем, но еще не очень хорошо,— вежливо сказал Коля.

— Ваша кошка враг живой природы! — добавил Толя.

Жбанова была обескуражена и только ахнула им вслед:

- Ну, злодеи! Все дозволено злодеям!..

17

Друзья свернули направо и направились к школе кружным путем — до уроков оставалось еще много времени. Они обогнули кинотеатр. На утреннем сеансе шла картина «Баба Яга». На афише была приписка: «Дети до 6 лет не допускаются». Они испытали гордость от того, что их это не касалось.

Они шли, обнявшись, по белому чистому снегу и пели. Многие прохожие с улыбкой на них оглядывались. Собственно, пел Коля, а Толя подпевал. Коля пел:

Все дозволено злодеям,

а через несколько шагов то же самое, снова. Потом они спели:

Все дозволено злодеям,
Ти-та-ти, та-ти, та-ти.

А потом так:

Все дозволено злодеям,—
Нам сказали по пути.

Так они спели четыре раза, а потом Коля придумал до конца:

Все дозволено злодеям,—
Нам сказали по пути.
Очень плохо мы умеем
Хорошо себя вести.

И они пели это радостно, хохоча, с упоением.

18

Они подошли к школьному забору. До ворот было далеко, и обходить не хотелось. Толя предложил перелезть. Забор был невысокий, но сам он забраться все-таки не мог, Коля его долго подсаживал. Наконец Толя взгромоздился на забор и прыгнул на ту сторону, но при толчке поскользнулся, и его пальто зацепилось за верх забора. Теперь он висел, не доставая земли, и хохотал. Он был как будто в невесомости.

Коля побежал к воротам, чтобы подоспеть с другой стороны и помочь другу. Но через несколько шагов он заметил дырку в заборе, одна планка была отломана. Коля снял ранец и стал боком протискиваться в щель. Голова прошла сразу, но сам он застрял и пожалел, что не догадался снять пальто. Он вспомнил о друге, сильно рванулся — одна пуговица отлетела, другая сломалась — и он оказался на школьном дворе.

Он поспешил к Толе, подставил плечи, тот уперся

в них подошвами и только тогда сумел расстегнуть пальто и отцепиться.

Они отряхнули друг с друга снег, поспешили к школе, разделись и вовремя успели на урок.

19

Вошла их учительница Елена Васильевна, молодая, красивая. С ней вместе вошел незнакомый высокий человек.

Они все с шумом встали.

— Здравствуйте. Садитесь,— кивнула Елена Васильевна.

И незнакомец тоже поздоровался:

— Здравствуйте, ребята.

— Сейчас у нас, как вы знаете, урок чтения,— сказала Елена Васильевна.— Но мы его проведем не как обычно. К нам в гости пришел,— она повернулась к незнакомцу,— известный детский Писатель. Вы все его хорошо знаете. Он написал много книг. А сейчас в детском журнале начала печататься его новая сказка «Лесная история»...

Вздох изумления и восторга прошел по классу.

Писатель был молодой, как их учительница. И они были, конечно, и раньше знакомы. Елена Васильевна смеялась и была рада. А Писатель деньги уже получил и купил себе джинсовые брюки с заплатой на колене.

20

— Ну, что ж, ребята,— начал Писатель,— над сказкой «Лесная история» я работал длительное время. Сперва собирал материал, потом засел за стол. Сейчас эта работа, в ее журнальном варианте, в основном завершена. Есть вопросы? Поднимайте руку и задавайте смелее...

Вопросов не было. Все молчали, потрясенные.

— А вы расскажите, что дальше будет,— попросила девочка с косичками Люся,— а то долго ждать.

— Так ведь если рассказать, неинтересно будет. Вам и остальным.

— А мы никому не скажем! — закричали все.

— Ну, ладно,— согласился Писатель, посмотрев на Елену Васильевну.— Но я не с самого начала буду, чтобы не затягивать, а дальше, с продолжения...

Он достал из портфеля большую записную книжку и начал читать из нее:

...стоит лесной домик. Они постучали.
Долго никто не отвечал. Они постучали
еще, и из-за двери раздался негромкий
голос: — Кто?
— А ты кто? — спросил Кот.

(Продолжение в следующем номере).

— Ой, еще, дальше, пожалуйста! — закричала Люся, а за ней все остальные.

— Ну, почитайте еще,— сказала Елена Васильевна, улыбаясь: — Видите, какой успех?..

Писатель похмыкал и продолжал:

— Ежик.
Пошли они втроем. Видют, бежит
лисица,— хвостом туда, хвостом сюда.
— Ты, колючий, пошел вон, а вас, зайцы,
я сейчас съем. Испугались?
А Ежик ей в ответ: — Да какие
они зайцы! Это же Кот и Медведь!
Они сейчас знаешь что с тобой сделают?
Вон у Кота хвост с трубой...

21

Писатель так увлекся, что прочитал сразу две главы и лишь тогда остановился.

— Ну, а дальше уж сами прочтете.

— А он ученый? В сапогах? — спросила Люся.

— Кто, кот? Да-да, конечно.

— А кто же они, зайцы или нет? — спросил Коля, вспомнив папу.

— Как вам сказать. Это интересный и сложный вопрос. С одной стороны они, безусловно, зайцы. Но с другой стороны, их не просто так зовут — Кот и Медведь. В них есть черты этих животных, этих персонажей.

— А почему написано: видют? — робко спросил кто-то, и Коля опять вспомнил вчерашний разговор родителей.

— Ну, это, вероятно, опечатка,— сказала Елена Васильевна.

— Конечно, отчасти так. Но и не вполне. Автор хотел показать,— ответил Писатель...

— Автор — это и есть Писатель,— объяснила учительница.

— Да, автор хотел этим сказать, что они, его герои, не совсем грамотные...

— Вот бы они сейчас постучались и вошли,— крикнул Толя.— Кто? Ну, эти. Зайцы. Кот и Медведь. Входят, знакомятся...

В классе стало шумно, многие смеялись, переговаривались. Когда начинали смеяться, то смеялись уже просто так. А некоторые были задумчивы, невнимательны, смотрели в окно, отвлекались.

А за окном ярко горел синий снежный день.

22

Елена Васильевна похлопала в ладоши:

— Внимание, тишина!

— Ребята,— сказал Писатель,— а теперь давайте быстро придумаем очень короткие сказки о разных животных. Вы чем пишете, уже шариковыми ручками? Ну, вот, каждый сочините по сказке, а мы их тут же разберем. А лучшие я обещаю включить в свою новую книгу.— Итак, мини-сказки. Знаете, что значит: мини?

— Юбка,— сказал Толя.

— Не обязательно. Но и юбка бывает мини. Мини — значит очень коротко. Я и сам когда-то такие сказки сочинял, книжки-коротышки,— похвастался Писатель.— Например, заголовок: «Как медведь зайца музыке учил»:

Наступил на ухо.
Вот и вся наука.

Они себе представили, как медведь наступил огромной лапой на длинное ухо бедного спящего зайца,

и не засмеялись. Засмеялась только Елена Васильевна:

— Они не поняли. Это для более старших.— И объяснила: — Существует такое выражение: «Медведь на ухо наступил», это значит, что у человека нет музыкального слуха, он не может спеть мелодию правильно. А медведь в этих стихах учил зайца музыке именно таким способом... Ну, приступайте.

23

Они засопели над своими тетрадками. Толя написал: «Жил-был слон»,— и глубоко задумался. Потом добавил: «И жил-был пони». Больше он ничего не мог придумать, а Елена Васильевна уже стала собирать тетрадки. Тогда Коля прошептал ему в ухо:

— Напиши дальше: «Но его не было видно, потому что слон его з а с л о н я л».

— Ну, посмотрим,— начал Писатель.— А что, неплохо про слона и пони. Вполне.

— А вот Люсина тетрадь,— сказала Елена Васильевна: — «Попросили медведика сесть на своего велосипедика». Так нельзя. Правильно будет написать: «Попросили, чтоб медведик сел на свой велосипедик». Потому что «велосипедик» предмет неодушевленный...

Люся покраснела и прошептала еле слышно:

— Но все-таки немножечко одушевленный...

— А это чья? Это мне очень нравится. Послушайте:

«Жили-были Шарик с Жучкой,
Шарик писал шариковой ручкой».

— Это моя,— скромно сказал Коля.

— Молодчина,— похвалил Писатель.— Как зовут? Коля? Значит, тезка...

Опять многие засмеялись, а кто-то закричал:

— Тетка, тетка!..

— Не тетка, а тезка. Так называют человека, которого зовут так же, как другого. Вот мы с ним тезки. Верно, Лякó?..

Теперь даже Елена Васильевна не поняла, в чем дело.

— Не знаете? — удивился Писатель.— А меня так звали в детстве. Послушайте: Ля-ко́, Ля-ко, Ля-ко-ля — Ко-ля, Ко-ля, Ко-ля...

— Коля, Коля,— радостно закричал класс.

— Но так переворачивать имя совсем не обязательно,— строго заметила Елена Васильевна.

24

А Коля сидел и думал о том, что еще мог бы сочинить сказку про Ремень-самошлеп. Это когда Коля был маленький и шалил, дед говорил, что у него есть Ремень-самошлеп. Правда, Коля никогда этого волшебного ремня у деда не видел.

Или еще. «Спит собака Джонни, просыпается и говорит: «Лапа онемела...» А Рем спрашивает: «А раньше разговаривала?..»

Да еще много можно было бы придумать.

...Они не заметили, что прошел не один урок, а два. И даже звонков не слышали.

— Ну, что же, ребята,— сказал Писатель.— Я был рад с вами познакомиться. Я надеюсь, что вы будете хорошо учиться и выполнять свою задачу. У каждого человека должна быть главная задача. Вот какая у вас главная задача?

— Слушаться,— ответила Люся.

— Конечно, и это,— улыбнулся Писатель.— Но еще: хорошо, добросовестно учиться и всегда делать людям добро. Ну, до новых встреч! Спасибо за внимание.

— И вам большое спасибо. Давайте похлопаем, ребята,— предложила Елена Васильевна.

25

А первый снежный день все тянулся и тянулся, слепил солнцем сквозь оконное стекло, клонил в сон.

Потом была математика: устный счет. Потом — русский язык, и Елена Васильевна диктовала:

— Пишите: Шестнадцатое ноября. Написали число? Теперь с красной строки...

Толя взял красный карандаш и хотел писать им, но Коля вовремя его остановил:

— С красной строки — это просто значит с новой...

— Пишите. Пришла холодная зима. Точка. Написали? Кругом лежит пушистый снег. Точка. Ты неправильно переносишь. Как нужно? Так. Наступили сильные морозы. Точка.

Они устали, умаялись, и Елена Васильевна предложила им напоследок тихонечко, чтобы не помешать другим классам, спеть песенку про Крокодила Гену. И они пели:

К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.

А Коля сказал Толе:

— Дед эту песню не одобряет. Говорит, крокодилы свирепые и даже дрессировке не поддаются, а здесь он добрый. Это очень опасно. И неправильно настраивает подрастающее поколение.

26

В раздевалке друзья разыскали свои пальто, оделись, посмотрели друг на друга. Вид у обоих был не очень-то важнецкий. У Толиного пальто, пока он висел на заборе, лопнула подкладка и теперь торчала сзади, на Колином не хватало двух пуговиц. Но эти мелочи их не смутили.

Друзья не торопились. Они пошли домой, но кружным путем — в сторону метро. За Министерством строился большой гараж, трещала и сверкала падающими синими брызгами электросварка. Они остановились и стали смотреть. Кто-то крикнул им: «Идите, идите, глаза испортите!..» У самих сварщиков на лицах были щитки, как маски у хоккейных вратарей.

— А я когда у отца был на заводе, в мартеновскую печь смотрел сквозь синее стекло,— сказал Толя.— Сталь аж кипит. А жарко!..

— А я когда был,— начал Коля и остановился: — Мы же вместе были...

И они стали так хохотать, что чуть не упали. Действительно, их отцы работали же на одном заводе. Они потому и квартиры-то получили рядом.

Снег уже не был таким чистым, как утром. Он был растоптан, пересечен тут и там следами ног и колес. И только на ветвях деревьев он сиял прежней утренней белизной.

Друзья прошли мимо «Библиотеки», «Кулинарии» и «Рыбы». Рядом с «Точкой коньков и изготовлением ключей» продавались горячие пончики. Они были аппетитные, румяные, обсыпанные сахарной пудрой. Самое же привлекательное было то, что их пек автомат.

— Давай купим по пончику!..

Стали шарить в карманах, и Коля нашел десятикопеечную монету. Ура!

К окошечку стояло несколько человек.

— Без очереди! — крикнул Толя.— Я инвалид войны, имею право...

— Так нельзя шутить,— серьезно сказал Коля.

Они встали в очередь, получили пончики и пошли к метро, пачкая губы и щеки сахарной пудрой.

27

Они любили входить туда, где было написано: «Входа нет». Вот и сейчас они вошли в здание метро с этой стороны, вдвоем толкая тяжелые двери.

Движущаяся лестница выносила снизу пассажиров. Дождавшись момента, когда их поток поредел и прервался, а дежурная в форменной фуражке отвернулась, они один за другим, как десантники, как парашютисты, бросились на эскалатор. Он мощно нес их вверх, а они со всех ног бежали по ступенькам вниз и таким образом оставались на одном и том же месте.

Но в это время прибыл очередной поезд, и толпа, густо заполнив внизу эскалатор, грозно приближалась. Да и дежурная, несмотря на их малый рост, наконец-то

заметила их и скомандовала, хотя и не очень строго: «Это что такое! Марш отсюда!» — и они мигом выкатились наружу.

28

Около метро утоптанный снег превратился в тонкий ледок, было скользко.

— А знаешь какая у нас задача? — спросил Коля.

— Какая?

— Нужно делать людям добро. Хорошо бы, какая-нибудь бабушка упала, а мы бы ее подняли. А?

— Хорошо бы, она сломала ногу, а мы бы вызвали «скорую помощь»,— размечтался Толя.— По телефону. Знаешь какой номер?

— Ноль один? — спосил Коля.

— Нет, ноль один — это пожарники. Звоните при пожаре.— И, поскольку Коля молчал, разъяснил великодушно: — Ноль два — вызов милиции. А вот ноль три — скорая помощь.

— А ноль четыре! — вспомнил Коля.— Знаешь? Ноль четыре — Мосгаз.

— А как звонить, как звонить, знаешь? — кричал Толя.— По автомату, но без монеты. Понял? Без монеты!..

— Знаешь,— вдруг сказал Коля задумчиво.— А зачем ей ногу ломать? Пусть лучше ходит потихоньку, не ломает. Ладно?..

29

Они пошли к дому, завернули за угол и около первой арки увидели маленькую девочку. Она стояла и горько плакала. Коля пожалел, что уже съел пончик.

— Девочка, ты потерялась?

— Нет, у меня потерялась Брошка.

— Почему же ты смотришь по сторонам? Ищи под ногами. Какая она была?

— Она — собака.

Толя захохотал:

— А зачем ее так назвали?

— Когда она была маленькая, я ее вот так при-

жимала к платью,— ответила девочка и опять заплакала.

— Не плачь,— строго сказал Коля.— Найдется. Какая у нее порода?

— У нее нет породы. У нее есть бант...

Они стали спрашивать прохожих:

— Вы не видали маленькую собачку?

Никто не видал, некоторые вообще не отвечали. Наконец одна женщина с сумками указала головой:

— Вон там сидит какая-то у киоска. Тоже плачет...

— Стой с девчонкой! — крикнул Коля другу и побежал вперед. Возле киоска «Союзпечать» сидела на снегу собачка. Она вся дрожала. На шее у нее был повязан голубой бант.

Коля протянул руку и смело погладил Брошку. Больше всего он боялся, чтобы она не убежала. Но она продолжала сидеть и дрожать. Он взял ее на руки и помчался обратно.

— Эта?

Девочка схватила Брошку и побежала под арку. Она была рада такому подарку. Она даже не поблагодарила их.

Но они не обиделись. Во-первых, они сами не всегда, когда нужно, говорили «спасибо», а во-вторых, им было достаточно того, что собака спасена и девочка счастлива. Они сделали доброе дело.

30

У них было хорошее настроение. Из-под Толиного пальто выбивалась сзади подкладка, Колино, застегнутое только на верхнюю пуговицу, развевалось, как чапаевская бурка.

Они шли в обнимку среди синевы первого снежного дня и пели:

Жили-были два зайца:
Кот и Медведь...

и всякие другие песни.

Встречный мальчишка, которого вела за руку мать, посмотрел на них с пониманием и завистью.

А они шли к дому, обнявшись, как два больших друга. Но ведь они были маленькие. Да, конечно, они были маленькими. Но они были большими, настоящими друзьями.

А вокруг них сверкал и слепил им глаза первый снежный день.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ОКНО

ВСТРЯСКА

СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ

Константин Яковлевич
ВАНШЕНКИН

ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ

Рассказы

Редактор М. Вострышев
Художник Г. Ваншенкина
Художественный редактор О. Чернецова
Технический редактор В. Никифорова
Корректоры Г. Попова, Г. Селецкая

ИБ № 5206

Сдано в набор 12.11.87. Подписано к печати 21.07.88. А 10097
Формат 84Х108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура об. нов. Печать высокая с ФПФ.
Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48.
Уч. изд. л. 16,11. Тираж 200 000 экз. (1—100 000 экз.). Заказ 702.
Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Набрано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства Куйбышевского обкома КПСС
г. Куйбышев, пр. Карла Маркса ,201

Отпечатано с готовых диапозитивов на полиграфическом предприятии «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Ваншенкин К. Я.

В17 Любовь по переписке: Рассказы.— М.: Современник, 1988.— 349 с.— (Новинки «Современника»).

Известный поэт Константин Ваншенкин давно работает и в области прозы.

Эта книга писалась и составлялась двенадцать лет. В ней рассказы о любви, о войне, о молодости и зрелости, радостях и горестях жизни.

$\text{В} \frac{4702010200\text{-}226}{\text{М}106(03)\text{-}88}$ 36-88 ББК84Р7

ISBN 5-270-00030-8

В 1989 году издательство «Современник» выпускает в свет книги известных советских прозаиков: